
Спаси
и сохрани
Пасхальные
истории
ОДОБРЕНО ИЗДАТЕЛЬСКИМ СОВЕТОМ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Спаси и сохрани. Пасхальные истории

Владимир Галактионович Короленко, Марина Ивановна Цветаева, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, Александр Иванович Куприн, Николай Семёнович Лесков, Антон Павлович Чехов, Лидия Алексеевна Чарская, Иван Алексеевич Бунин, Евгений Николаевич Поселянин, Дмитрий Васильевич Григорович, Саша Чёрный, Иван Сергеевич Шмелев, Николай Васильевич Гоголь, Клавдия Владимировна Лукашевич, Николай Александрович Колосов, Зинаида Николаевна Гиппиус, Леонид Николаевич Андреев, Надежда Александровна Лухманова

Аннотация
Спаси и сохрани. Пасхальные истории

Вступительное слово протоиерея А. Васильева
Н. В. Гоголь
Светлое Воскресенье
Д. В. Григорович
Светлое Христово Воскресение
В. Г. Короленко
Старый звонарь. Весенняя идиллия
М. Е. Салтыков-Щедрин
Христова ночь
Н. С. Лесков
Фигура
И. А. Бунин
На чужой стороне
А. П. Чехов
Казак
Письмо
Архиерей
Студент
Л. Н. Андреев
Баргамот и Гараська
В Сабурове
Прекрасна жизнь для воскресших
Гостинец
Н. А. Лухманова
Скарлатинная кукла
Н. А. Колосов

Не может быть!

А. И. Куприн

По-семейному

Пасхальные яйца

Московская Пасха

Пасхальные колокола

Инна

М. И. Цветаева

Пасха 1919 года. (Из «повести о сонечке»)

С. Черный

Пасхальный визит

Е. Н. Поселянин

Таинственная ночь

Л. А. Чарская

Пасха мучеников

Глава xx. Больная. Сон. Христос воскресе!. (Из книги «Записки институтки»)

К. В. Лукашевич

Как проводили в нашей семье Страстную неделю

З. Н. Гиппиус

Святая плоть

И звери

И. С. Шмелев

Пасха

Яичко

На Святой
Вербное воскресенье
Чистый понедельник
На святой дороге
У Креста
Под Троицей
У Троицы
Благословение

Аннотация

«Спаси и сохрани!» или «Господи, помилуй!» – шепчем мы в трудную минуту, с надеждой поднимая глаза к образу Спасителя. Стоим ли мы перед иконами в православном храме, или молимся в минуты опасности, когда кажется, что никто кроме Господа уже не может помочь. С надеждой мы молим Бога о помощи и точно знаем, что если не Он, то уже никто не поможет. Большинство литературных произведений рубежа XIX и XX веков основано на христианских идеалах. Этот сборник повестей и рассказов известных русских писателей приоткрывает нам дверь в прежнюю, дореволюционную Россию, где слова Бог и вера, следование евангельским заповедям были органичной основой существования огромного большинства жителей страны. Самый пронзительный в сборнике рассказ Николая Лескова «Фигура». Подгулявший, пьяный казак в пасхальную ночь наносит офицеру тяжелое оскорбление, по правилам воинской чести офицер должен зарубить казака на месте, но он вспоминает

заповедь Бога «не убий» и рассуждает так: «Что сделать? С кем посоветуюсь?.. Всего лучше с тем, кто сам это вынес. Иисус Христос!.. Тебя самого били?.. Тебя били, и ты простил… а я что пред тобою… я червь… гадость… ничтожество! Я хочу быть твой: я простил! я твой …»

«Офицер пощадил казака, был уволен со службы, но душу свою сберег. Будем и мы с вами, читая пронизанные евангельским духом рассказы русских классиков, стремиться оказывать людям милосердие, прощать и любить»

Отрывок из вступительной статьи к сборнику Протоиерея Александра Васильева.

Спаси и сохрани. Пасхальные истории

Допущено к распространению Издательским советом Русской Православной Церкви
Книге присвоен номер ИС Р24-403-0065

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2024

* * *

Пасхальные истории

–

Спаси и сохрани



Москва
2024

Вступительное слово протоиерея А. Васильева

«Спаси и сохрани!» или «Господи, помилуй!» — шепчем мы в трудную минуту, с надеждой поднимая глаза к образу Спасителя. Стоим ли мы перед иконами в православном храме, или молимся в минуты опасности, когда кажется, что никто кроме Господа уже не может помочь. С надеждой мы молим Бога о помощи и точно знаем, что если не Он, то уже никто не поможет.

Так уповали на Господа наши предки, которые с детских лет воспитывались в Православной вере. Глубокая искренняя вера развивала самые лучшие черты характера, которые потом определяли всю дальнейшую жизнь человека, любовь к Богу и к ближнему, милосердие, готовность прощать, прийти на помощь в трудную минуту, отдать последнее тому, кто больше нуждается. Как не хватает этих качеств нам, жителям современного мира! Мира, который забыл христианские идеалы, превратился в общество потребления и вседозволенности.

Мы достигли огромного прогресса в науке,

технике, медицине, пользуемся удобными приспособлениями, которые и не снились жителям прежних времен. Средства массовой информации предлагают следовать разнообразным философским и религиозным течениям и идеям, а человек все равно продолжает искать смысл своего существования. В Евангелии мы, несомненно, найдем ответы на свои вопросы и поймем — в чем смысл нашей жизни здесь, на земле. Преподобный Серафим Саровский говорил, что смыслом жизни православного человека является стяжание Святого Духа.

Большинство литературных произведений рубежа XIX и XX веков основано на христианских идеалах. Этот сборник повестей и рассказов известных русских писателей приоткрывает нам дверь в прежнюю, дореволюционную Россию, где слова Бог и вера, следование евангельским заповедям были органичной основой существования огромного большинства жителей страны. Первые детские впечатления, связанные с церковными праздниками, домашние православные традиции, привычка сверять свои поступки со Священным Писанием — вот основные темы тщательно подобранных произведений этой книги.

Многие из них посвящены самому радостному празднику — Пасхе — Светлому Христову Воскресению. По словам святителя Григория Богослова, Пасха — «праздников праздник и торжество есть торжеств». В этот день Господь наш Иисус Христос воскрес из гроба, «победив смертию смерть». Для христианина с тех пор смерти нет, она только «иного жития начало». С апостольских времен в этот «нареченный и святой день» верующие приветствуют друг друга радостной вестью о воскресшем Спасителе, говоря друг другу: «Христос воскресе!» И отвечают: «Воистину воскресе!»

Иван Шмелев замечательно пишет в рассказе «Пасха» о Страстной неделе, днях подготовки к пасхальным торжествам: «Кажется мне, что на нашем дворе Христос. И в коровнике, и в конюшнях, и на погребице, и везде. В черном крестике от моей свечки — пришел Христос. И все — для Него, что делаем. Двор чисто выметен, и все уголки подчищены, и под навесом даже, где был навоз. Необыкновенные эти дни — страстные, Христовы дни. Мне теперь ничего не страшно: прохожу темными сенями — и ничего, потому что везде Христос».

Так маленький мальчик искренне чувствует присутствие Бога в своей жизни. А ведь Христос

всегда рядом с нами. И Он хочет, чтобы не только в храме, но и в обычной жизни человек оставался с Ним, жил и поступал по-христиански дома, на работе, в транспорте, на улице.

Кажется, что давным-давно, в позапрошлом веке ходили люди на богомолье в Лавру к Преподобному Сергию, но читаем рассказ «На Святой дороге» и чувствуем связь времен: «Лезем на колокольню. Высота-а… — кружится голова. Крутом, куда ни глянешь, только боры и видно. Говорят, что там и теперь медведи; водятся и отшельники. Внизу люди кажутся мошками, а собор Преподобного — совсем игрушечный».

И сейчас стоят в Лавре соборы и колокольня, только вокруг уже не густые леса, а шумный город Сергиев Посад, отшельников не найдешь, но люди все идут и идут в святую обитель. Спросим себя — есть ли в нас милосердие и искренняя горячая вера, такая, как у героя рассказа паренька Феди, который снял лаковые сапоги и отдал их больному мальчику на тележке с надеждой, что тот непременно исцелится у раки Преподобного, встанет на ноги и тогда, Бог даст, сапоги ему обязательно понадобятся. «От горя не отворачивайся… грех это!» — учили тогда детей.

Стоило мещанину Торчакову из рассказа Ан-

тона Чехова «Казак» равнодушно проехать в пасхальную ночь мимо больного казака, пожадничать и не угостить его освященной пасхой, как все его дела и даже семейная жизнь пошли под откос. А одиноких героев рассказа Александра Куприна «По-семейному» в Пасху объединяет неожиданное приглашение, совместная пасхальная трапеза, которую устраивает им соседка — женщина легкого поведения. Христос всегда рядом с нами, и с грешниками в первую очередь.

Но, наверное, самый пронзительный в сборнике рассказ Николая Лескова «Фигура». Подгулявший, пьяный казак в пасхальную ночь наносит офицеру тяжелое оскорбление, по правилам воинской чести офицер должен зарубить казака на месте, но он вспоминает заповедь Бога «не убий» и рассуждает так: «Что сделать? С кем посоветуюсь?.. Всего лучше с тем, кто сам это вынес. Иисус Христос!.. Тебя самого били?.. Тебя били, и ты простил… а я что пред тобою… я червь… гадость… ничтожество! Я хочу быть *твой*: я простил! я *твой* …» Офицер пощадил казака, был уволен со службы, но душу свою сберег.

Будем и мы с вами, читая пронизанные евангельским духом рассказы русских классиков, стремиться оказывать людям милосердие, прощать и любить.

Протоиерей Александр Васильев

Н. В. Гоголь

Светлое Воскресенье

В русском человеке есть особенное участие к празднику Светлого Воскресенья. Он это чувствует живей, если ему случится быть в чужой земле. Видя, как повсюду в других странах день этот почти не отличен от других дней, — те же всегдашние занятия, та же вседневная жизнь, то же будничное выраженье на лицах, — он чувствует грусть и обращается невольно к России. Ему кажется, что там как-то лучше празднуется этот день, и сам человек радостней и лучше, нежели в другие дни, и самая жизнь какая-то другая, а не вседневная. Ему вдруг представятся — эта торжественная полночь, этот повсеместный колокольный звон, который как всю землю сливает в один гул, это восклицанье «Христос Воскрес!», которое заменяет в этот день все другие приветствия, это поцелуй, который только раздается у нас, — и он готов почти воскликнуть: «Только в одной России празднуется этот день так, как ему следует праздноваться!» Разумеется, все это мечта; она исчезнет вдруг, как только он перенесется на самом деле в Россию или даже только припомнит, что день этот есть день

какой-то полусонной беготни и суеты, пустых визитов, умышленных незаставаний друг друга, наместо радостных встреч, — если ж и встреч, то основанных на самых корыстных расчетах; что честолюбие кипит у нас в этот день еще больше, чем во все другие, и говорят не о Воскресенье Христа, но о том, кому какая награда выйдет и кто что получит; что даже и сам народ, о котором идет слава, будто он больше всех радуется, уже пьяный попадается на улицах, едва только успела кончиться торжественная обедня, и не успела еще заря осветить земли. Вздохнет бедный русский человек, если только все это припомнит себе и увидит, что это разве только карикатура и посмеянье над праздником, а самого праздника нет. Для проформы только какой-нибудь начальник чмокнет в щеку инвалида, желая показать подчиненным чиновникам, как нужно любить своего брата, да какой-нибудь отсталый патриот, в досаде на молодежь, которая бранит старинные русские наши обычаи, утверждая, что у нас ничего нет, прокричит гневно: «У нас все есть — семейная жизнь, и семейные добродетели, и обычаи у нас соблюдаются свято; и долг свой исполняем мы так, как нигде в Европе; и народ мы на удивленье всем».

Нет, не в видимых знаках дело, не в патриотических возгласах и не в поцелуе, данном инвалиду, но в том, чтобы в самом деле взглянуть в этот день на человека, как на лучшую свою драгоценность, — так обнять и прижать его к себе, как наироднейшего своего брата, так ему обрадоваться, как бы своему наилучшему другу, с которым несколько лет не видались и который вдруг неожиданно к нам приехал. Еще сильней! еще больше! потому что узы, нас с ним связывающие, сильней земного кровного нашего родства, и породнились мы с ним по нашему прекрасному Небесному Отцу, в несколько раз нам ближайшему нашего земного отца, и день этот мы — в своей истинной семье, у Него Самого в дому. День этот есть тот святой день, в который празднует святое, небесное свое братство все человечество до единого, не исключив из него ни одного человека. Как бы этот день пришелся, казалось, кстати нашему девятнадцатому веку, когда мысли о счастии человечества сделались почти любимыми мыслями всех; когда обнять все человечество, как братьев, сделалось любимой мечтой молодого человека; когда многие только и грезят о том, как преобразовать все человечество, как возвысить внутреннее до-

стоинство человека; когда почти половина уже признала торжественно, что одно только христианство в силах это произвесть; когда стали утверждать, что следует ближе ввести Христов закон как в семейственный, так и в государственный быт; когда стали даже поговаривать о том, чтобы все было общее — и дома, и земли; когда подвиги сердоболия и помощи несчастным стали разговором даже модных гостиных; когда, наконец, стало тесно от всяких человеколюбивых заведений, странноприимных домов и приютов. Как бы, казалось, девятнадцатый век должен был радостно воспраздновать этот день, который так по сердцу всем великодушным и человеколюбивым его движеньям! Но на этом-то самом дне, как на пробном камне, видишь, как бледны все его христианские стремленья и как все они в одних только мечтах и мыслях, а не в деле. И если, в самом деле, придется ему обнять в этот день своего брата, как брата — он его не обнимет. Все человечество готов он обнять, как брата, а брата не обнимет. Отделись от этого человечества, которому он готовит такое великодушное объятие, один человек, его оскорбивший, которому повелевает Христос в ту же минуту простить, — он уже не обнимет его. Отделись

от этого человечества один, несогласный с ним в каких-нибудь ничтожных человеческих мненьях, — он уже не обнимет его. Отделись от этого человечества один, страждущий видней других тяжелыми язвами своих душевных недостатков, больше всех других требующий состраданья к себе, — он оттолкнет его и не обнимет. И достанется его объятие только тем, которые ничем еще не оскорбили его, с которыми не имел он случая столкнуться, которых он никогда не знал и даже не видел в глаза.

Вот какого рода объятье всему человечеству дает человек нынешнего века, и часто именно тот самый, который думает о себе, что он истинный человеколюбец и совершенный христианин! Христианин! Выгнали на улицу Христа, в лазареты и больницы, наместо того, чтобы призвать Его к себе в домы, под родную крышу свою, и думают, что они христиане!

Нет, не воспраздновать нынешнему веку Светлого праздника так, как ему следует воспраздноваться. Есть страшное препятствие, есть непреоборимое препятствие, имя ему — *гордость*. Она была известна и в прежние веки, но то была гордость более ребяческая, гордость своими силами физическими, гордость богат-

ствами своими, гордость родом и званием, но не доходила она до того страшного духовного развития, в каком предстала теперь. Теперь явилась она в двух видах. Первый вид ее — гордость чистотой своей.

Обрадовавшись тому, что стало во многом лучше своих предков, человечество нынешнего века влюбилось в чистоту и красоту свою. Никто не стыдился хвастаться публично душевной красотой своей и считать себя лучшим других. Стоит только приглядеться, каким рыцарем благородства выступает из нас теперь всяк, как беспощадно и резко судит о другом. Стоит только прислушаться к тем оправданьям, какими он оправдывает себя в том, что не обнял своего брата даже в день Светлого Воскресенья. Без стыда и не дрогнув душой, говорит он: «Я не могу обнять этого человека: он мерзок, он подл душой, он запятнал себя бесчестнейшим поступком; я не пущу этого человека даже в переднюю свою; я даже не хочу дышать одним воздухом с ним; я сделаю крюк для того, чтобы объехать его и не встречаться с ним. Я не могу жить с подлыми и презренными людьми — неужели мне обнять такого человека, как брата?» Увы! позабыл бедный человек девятнадцатого века, что

в этот день нет ни подлых, ни презренных людей, но все люди — братья той же семьи, и всякому человеку имя брат, а не какое-либо другое. Все разом и вдруг им позабыто: позабыто, что, может быть, затем именно окружили его презренные и подлые люди, чтобы, взглянувши на них, взглянул он на себя и поискал бы в себе того же самого, чего так испугался в других. Позабыто, что он сам может на всяком шагу, даже не приметив того сам, сделать то же подлое дело, хотя в другом только виде, — в виде, не пораженном публичным позором, но которое, однако же, выражаясь пословицей, есть тот же блин, только на другом блюде. Все позабыто. Позабыто им то, что, может, оттого развелось так много подлых и презренных людей, что сурово и бесчеловечно их оттолкнули лучшие и прекраснейшие люди и тем заставили пуще ожесточиться. Будто бы легко выносить к себе презренье! Бог весть, может быть, иной совсем был не рожден бесчестным человеком; может быть, бедная душа его, бессильная сражаться с соблазнами, просила и молила о помощи и готова была облобызать руки и ноги того, кто, подвигнутый жалостью душевной, поддержал бы ее на краю пропасти. Может быть, одной капли любви к нему было достаточно

для того, чтобы возвратить его на прямой путь. Будто бы дорогой любви было трудно достигнуть к его сердцу! Будто уже до того окаменела в нем природа, что никакое чувство не могло в нем пошевелиться, когда и разбойник благодарен за любовь, когда и зверь помнит ласкавшую его руку! Но все позабыто человеком девятнадцатого века, и отталкивает он от себя брата, как богач отталкивает покрытого гноем нищего от великолепного крыльца своего. Ему нет дела до страданий его; ему бы только не видать гноя ран его. Он даже не хочет услышать исповеди его, боясь, чтобы не поразилось обонянье его смрадным дыханьем уст несчастного, гордый благоуханьем чистоты своей. Такому ли человеку воспраздновать праздник небесной Любви?

Есть другой вид гордости, еще сильнейший первого — гордость ума. Никогда еще не возрастала она до такой силы, как в девятнадцатом веке. Она слышится в самой боязни каждого прослыть дураком. Все вынесет человек века: вынесет названье плута, подлеца; какое хочешь дай ему названье, он снесет его — и только не снесет названье дурака. Над всем он позволит посмеяться — и только не позволит посмеяться над умом своим. Ум его для него — святыня. Из-за

малейшей насмешки над умом своим он готов сию же минуту поставить своего брата на благородное расстоянье и посадить, не дрогнувши, ему пулю в лоб. Ничему и ни во что он не верит; только верит в один ум свой. Чего не видит его ум, того для него нет. Он позабыл даже, что ум идет вперед, когда идут вперед все нравственные силы в человеке, и стоит без движенья и даже идет назад, когда не возвышаются нравственные силы. Он позабыл и то, что нет всех сторон ума ни в одном человеке; что другой человек может видеть именно ту сторону вещи, которую он не может видеть и, стало быть, знать того, чего он не может знать. Не верит он этому, и все, чего не видит он сам, то для него ложь. И тень христианского смиренья не может к нему прикоснуться из-за гордыни ума. Во всем он усумнится: в сердце человека, которого несколько лет знал, в правде, в Боге усумнится, но не усумнится в своем уме. Уже ссоры и брани начались не за какие-нибудь существенные права, не из-за личных ненавистей — нет, не чувственные страсти, но страсти ума уже начались: уже враждуют лично из несходства мнений, из-за противуречий в мире мысленном. Уже образовались целые партии, друг друга не видевшие, никаких личных

сношений еще не имевшие — и уже друг друга ненавидящие. Поразительно: в то время, когда уже было начали думать люди, что образованьем выгнали злобу из мира, злоба другой дорогой, с другого конца входит в мир, — дорогой ума, и на крыльях журнальных листов, как всепогубляющая саранча, нападает на сердце людей повсюду. Уже и самого ума почти не слышно. Уже и умные люди начинают говорить ложь противу собственного убеждения, из-за того только, чтобы не уступить противной партии, из-за того только, что гордость не позволяет сознаться перед всеми в ошибке — уже одна чистая злоба воцарилась наместо ума.

И человеку ли такого века уметь полюбить и почувствовать христианскую любовь к человеку? Ему ли исполниться того светлого простодушия и ангельского младенчества, которое собирает всех людей в одну семью? Ему ли услышать благоухание небесного братства нашего? Ему ли воспраздновать этот день? Исчезнуло даже и то наружно добродушное выраженье прежних простых веков, которое давало вид, как будто бы человек был ближе к человеку. Гордый ум девятнадцатого века истребил его. Диавол выступил уже без маски в мир. Дух гордости

перестал уже являться в разных образах и пугать суеверных людей, он явился в собственном своем виде. Почуя, что признают его господство, он перестал уже и чиниться с людьми. С дерзким бесстыдством смеется в глаза им же, его признающим; глупейшие законы дает миру, какие доселе еще никогда не давались, — и мир это видит и не смеет ослушаться. Что значит эта мода, ничтожная, незначащая, которую допустил вначале человек, как мелочь, как невинное дело, и которая теперь, как полная хозяйка, уже стала распоряжаться в домах наших, выгоняя все, что есть главнейшего и лучшего в человеке? Никто не боится преступать несколько раз в день первейшие и священнейшие законы Христа и, между тем, боится не исполнить ее малейшего приказанья, дрожа перед нею, как робкий мальчишка. Что значит, что даже и те, которые сами над нею смеются, пляшут, как легкие ветреники, под ее дудку? Что значат эти так называемые бесчисленные приличия, которые стали сильней всяких коренных постановлений? Что значат эти странные власти, образовавшиеся мимо законных, — посторонние, побочные влияния? Что значит, что уже правят миром швеи, портные и ремесленники всякого рода, а Божии помазан-

ники остались в стороне? Люди темные, никому не известные, не имеющие мыслей и чистосердечных убеждений, правят мненьями и мыслями умных людей, и газетный листок, признаваемый лживым всеми, становится нечувствительным законодателем его не уважающего человека. Что значат все незаконные эти законы, которые, видимо, в виду всех, чертит исходящая снизу нечистая сила, — и мир это видит весь и, как очарованный, не смеет шевельнуться? Что за страшная насмешка над человечеством! И к чему при таком ходе вещей сохранять еще наружные святые обычаи Церкви, Небесный Хозяин которой не имеет над ними власти? Или это еще новая насмешка духа тьмы? Зачем этот утративший значение праздник? Зачем он вновь приходит глуше и глуше скликать в одну семью разошедшихся людей и, грустно окинувши всех, уходит, как незнакомый и чужой всем? Всем ли точно он незнаком и чужд? Но зачем же еще уцелели кое-где люди, которым кажется, как бы они светлеют в этот день и празднуют свое младенчество, — то младенчество, от которого небесное лобзанье, как бы лобзанье вечной весны, изливается на душу, то прекрасное младенчество, которое утратил гордый нынешний

человек? Зачем еще не позабыл человек навеки это младенчество и, как бы виденное в каком-то отдаленном сне, оно еще шевелит нашу душу? Зачем все это и к чему это? Будто неизвестно, зачем? Будто не видно, к чему? Затем, чтобы хотя некоторым, еще слышащим весеннее дыхание этого праздника, сделалось бы вдруг так грустно, так грустно, как грустно ангелу по Небе. И, завопив раздирающим сердце воплем, упали бы они к ногам своих братьев, умоляя хотя бы один этот день вырвать из ряду других дней, один бы день только провести не в обычаях девятнадцатого века, но в обычаях Вечного Века, в один бы день только обнять и обхватить человека, как виноватый друг обнимает великодушного, все ему простившего друга, хотя бы только затем, чтобы завтра же оттолкнуть его от себя и сказать ему, что он нам чужой и незнакомый. Хотя бы только пожелать так, хотя бы только насильно заставить себя это сделать, ухватиться бы за этот день, как утопающий хватается за доску! Бог весть, может быть, за одно это желанье уже готова сброситься с Небес нам лестница и протянуться рука, помогающая возлететь по ней.

Но и одного дня не хочет провести так человек девятнадцатого века! И непонятной тоской уже

загорелася земля; черствей и черствей становится жизнь; все мельчает и мелеет, и возрастает только в виду всех один исполинский образ скуки, достигая с каждым днем неизмеримейшего роста. Все глухо, могила повсюду. Боже! пусто и страшно становится в Твоем мире! Отчего же одному русскому еще кажется, что праздник этот празднуется, как следует, и празднуется так в одной его земле? Мечта ли это? Но зачем же эта мечта не приходит ни к кому другому, кроме русского? Что значит, в самом деле, что самый праздник исчез, а видимые признаки его так ясно носятся по лицу земли нашей: раздаются слова: «Христос Воскрес!» — и поцелуй, и всякий раз так же торжественно выступает святая полночь, и гулы всезвонных колоколов гулят и гудут по всей земле, точно как бы будят нас? Где носятся так очевидно призраки, там недаром косятся; где будят, там разбудят. Не умирают те обычаи, которым определено быть вечными. Умирают в букве, но оживают в духе. Померкают временно, умирают в пустых и выветрившихся толпах, но воскресают с новой силой в избранных, затем, чтобы в сильнейшем свете от них разлиться по всему миру. Не умрет из нашей старины ни зерно того, что есть в ней истинно

русского и что освящено Самим Христом. Разнесется звонкими струнами поэтов, развозвестится благоухающими устами святителей, вспыхнет померкнувшее — и праздник Светлого Воскресенья воспразднуется, как следует, прежде у нас, чем у других народов! На чем же основываясь, на каких данных, заключенных в сердцах наших, опираясь, можем сказать это? Лучше ли мы других народов? Ближе ли жизнью ко Христу, чем они? Никого мы не лучше, а жизнь еще неустроенней и беспорядочней всех их. «Хуже мы всех прочих» — вот что мы должны всегда говорить о себе. Но есть в нашей природе то, что нам пророчит это. Уже самое неустройство наше нам это пророчит. Мы еще растопленный металл, не отлившийся в свою национальную форму; еще нам возможно выбросить, оттолкнуть от себя нам неприличное и внести в себя все, что уже невозможно другим народам, получившим форму и закалившимся в ней. Что есть много в коренной природе нашей, нами позабытой, близкого закону Христа, — доказательство тому уже то, что без меча пришел к нам Христос, и приготовленная земля сердец наших призывала сама собой Его слово, что есть уже начала братства Христова в самой нашей славянской

природе, и побратанье людей было у нас родней даже и кровного братства, что еще нет у нас непримиримой ненависти сословья противу сословья и тех озлобленных партий, какие водятся в Европе и которые поставляют препятствие непреоборимое к соединению людей и братской любви между ними, что есть, наконец, у нас отвага, никому не сродная, и если предстанет нам всем какое-нибудь дело, решительно невозможное ни для какого другого народа, хотя бы даже, например, сбросить с себя вдруг и разом все недостатки наши, все позорящее высокую природу человека, то с болью собственного тела, не пожалев самих себя, как в двенадцатом году, не пожалев имуществ, жгли домы свои и земные достатки, так рванется у нас все сбрасывать с себя позорящее и пятнающее нас, ни одна душа не отстанет от другой, и в такие минуты всякие ссоры, ненависти, вражды — все бывает позабыто, брат повиснет на груди у брата, и вся Россия — один человек. Вот на чем основываясь, можно сказать, что праздник Воскресенья Христова воспразднуется прежде у нас, чем у других. И твердо говорит мне это душа моя; и это не мысль, выдуманная в голове. Такие мысли не выдумываются. Внушеньем Божьим порождаются они разом в сердцах

многих людей, друг друга не видавших, живущих на разных концах земли, и в одно время, как бы из одних уст, изглашаются. Знаю я твердо, что не один человек в России, хотя я его и не знаю, твердо верит тому и говорит: «У нас прежде, чем во всякой другой земле, воспразднуется Светлое Вокресенье Христово!»

1847

Д. В. Григорович

Светлое Христово Воскресение

1

Было около десяти часов ночи, когда прозвучал первый удар колокола. Звук этот, разливаясь волнистыми кругами посреди полночного затишья, не замедлил проникнуть в избушки, к совершенной радости старушек и дедов, давно уже ждавших заутрени. Не было, впрочем, человека, который не встретил бы с радостным сердцем благовеста. В эту минуту, за пять верст в окружности, в самых дальних лачужках все разом встрепенулось и сотворило крестное знамение. То же самое сделал пахарь Андрей из Выселок, лежавший в каком-то забытьи на своей печке. Заслышав говор соседей, сбиравшихся на улице, он сбросил овчину, спустился наземь, сел на лавку и начал приготовляться в дорогу.

Угасающий, чуть вздрагивающий свет лучины озарял тусклым блеском стены и лавки избушки. Кругом было мрачно и холодно. Черный земляной пол, голые заплесневевшие стены, подпертые кое-где осиновыми плахами, кое-где вымазанные глиной; недостаток тепла, столь

любимого мужичком; отсутствие горшочков, домашнего обиходного хлама и всего того, что свидетельствует о присутствии хлопотливой хозяйки или бабушки-радельницы, — показывало, что Андрей далеко не принадлежал к числу мужиков зажиточных.

Наружность самого хозяина, длинного, худого, прикрытого ветхим кожухом и сутуловато пригнувшегося к лучине, еще красноречивее подтверждала такое мнение.

Все это было совершенно справедливо; но, со всем тем, тяжелое чувство с окружавшею бедностью мгновенно исчезало, как только пахарь поднимал голову. Бледное продолговатое лицо его дышало такою добротою, таким тихим, невозмутимым покоем, что невольно становилось легче на сердце.

Тишина в избушке, прерываемая говором народа, спешившего к заутрене, мало-помалу распространилась над всей деревней. Стало вдруг так тихо, что можно было слышать, как ветер шумел соломой на макушке кровли. Изредка звуки колокола, то умолкавшие и как будто пропадавшие в отдалении, то внятно звучавшие, как серебряная струна, проносились над избушкой…

Андрей поднялся на ноги, провел ладонью по лбу и бережно подошел к печке. Мирное, легкое дыхание, раздававшееся с печи, вызвало улыбку на губах его; он вернулся к светцу, взял лучину и, заслоняя свет рукою, стал потихоньку подыматься по стремечкам.

Ослепительный блеск лучинки упал тогда прямо на девочку лет четырех, свернувшуюся клубком между трубой и перекладиной. Подложив обе ручки под щечку, слегка закрасневшуюся, пригнув худенькие длинные ножки к локтям, она казалась миловидною даже под лохмотьями. Продолговатое личико, которому белокурые курчавые и взбитые, как пух, волосы придавали еще более худобы, было схоже во всем с лицом Андрея.

Каждая черта девочки напоминала пахаря. Заметив, что свет беспокоит сон ребенка, Андрей поспешно отвел руку с лучиной за угол, потом нагнулся к лицу девочки и, прикоснувшись слегка к плечу ее, произнес нерешительно:

— Проснись, Ласточка… слышь, благовест… пора к заутрене…

Она медленно протянула ножки и вздохнула; вслед за тем, не открывая глаз, перевернулась она на спину, закинула тоненькие свои ручки за го-

лову и снова вздохнула. Секунду спустя ровное дыхание ребенка известило Андрея, что Ласточка заснула еще крепче прежнего. Ему стало жаль будить ее. Спустившись наземь, Андрей прикутался потеплее в кожух, снял с шестка старый зипун, взлез на печь, завернул в него девочку и, уложив ее между своею овчинкою и грудью, сошел на пол. Он погасил лучину и вышел на улицу, плотно заперев за собою калитку.

Деревушка, к которой принадлежал Андрей, была не что иное, как выселки из большого села, лежавшего верст за пять. Выселки состояли всего-навсего из десятка лачужек, брошенных в кучу посреди неоглядных полей и болот, глухих и топких, без признака кусточка или дерева. Слева только, по дороге к селу, подымалась высокая гора, усеянная редкими стеблями тощего хвороста и перерезанная оврагами.

Андрею немного нужно было времени, чтобы оставить за собой деревню: изба его стояла второю от околицы. Пройдя по шаткой доске, перекинутой в виде моста через канавку, огибавшую гумна, он вскоре очутился на проселке, извивавшемся по направлению к горе.

Ночь была светлая. Месяц еще не зарождался, но взамен его мириады звезд дрожали в темно-

синем безоблачном небе. Хотя, по всем приметам, ждали теплой весны, мороз, однако ж, был порядочный. Овражки и колеи, обращенные во время дня в веселые, журчащие ручьи, были наполнены ледяными иглами, звонко хрустевшими под ногами. Было так тихо, что шаги Андрея, ступавшего по мерзлой дороге, отдавались за целую версту.

2

По мере того, как Андрей приближался к горе, шаг его заметно становился медленнее; светлое выражение на лице его сменялось грустью — чувством, согласовавшимся как нельзя более с пустынною местностью.

Казалось даже, что самые звуки колокола, долгие и дребезжащие, к которым прислушивался он с такою радостью, потеряли для него свою прелесть. Да, тяжелые воспоминания должен был пробуждать в нем этот вечер!

Год тому назад, не более, шел он к той же заутрене, по той же дороге, и все улыбалось ему. Он, правда, был точно так же беден: бедней его тогда не было во всем околотке, — но что до этого! Бедность свою перемогал он терпеливо и безропотно. Он знал, что иначе не могло статься, трудно было тянуть в уровень с соседями.

В каком доме не сыщешь, кроме хозяина, хозяйки да малых ребят, подмогу: где брат — лишние руки, где старик со старухой, где батрак наемный; у Андрея — ни того, ни другого; он да жена на все про все. Оба они не любили сидеть сложа руки или обжигаться на печке; Андрей и покойная жена его работали дружно день-деньской, норовя ни в чем не упустить: ни в поле, ни в хозяйстве. Он доволен был малым: скирда ржицы, возка два сена для лошадки, и слава тебе Господи!

А как придет с поля домой, возьмет на руки трехлетнюю Ласточку, здоровенькую и крепенькую, сядет с нею за стол супротив горячих щец, которые приготовит, бывало, хозяйка, — так куда!

И весел наш Андрей, не натешится! Смирен был. Легче ему было потерять лишний клок соломы или хвороста, чем взять то и другое нахрапом да поднять шум на улице. «Э, Господь с ними! Моим добром не разживутся!..» — скажет, бывало, махнет рукой, да и поплел в избу с легким сердцем. Кроткой душе его скорее сродни были тяжелые работы по хозяйству, непокорная соха и кляча, чем мировые ссоры да выпивки.

Редкий, впрочем, не был в долгу у него: тому подсобил ось подвести, другому смастерил,

всем на удивленье, конька на макушку кровли или подвел узорочье под окно, третьему клячу на ноги поставил. На все был горазд, и будь сила в семье, вытянул бы не хуже другого.

Итак, Андрей жил счастливо, как вдруг, неожиданно сразило его страшное горе: он овдовел. Беспечный и веселый, он совсем пал духом; с потерей жены он впервые почувствовал всю свою бедность. К счастью, еще время было такое, что недолго позволяло горевать: пора стояла летняя, рабочая, что ни сутки — лишняя копна в скирд, а оплошал — ее как бы и вовсе не бывало.

Андрей поднял на руки девчонку свою, проводил покойницу на погост, да скорее за серп и косу; некогда было, горькому, кулаком слез отереть. Клонит он, сердяга, свою голову, приближаясь вечерком к лачужке. Уже не слышится ему знакомый шум веретена, не летит навстречу ласковое слово или веселая песня, не вьется над горшечком трубы сизой струйкой дым… нет! Уже не согреет ему души приветливый огонек лучины, когда, возвращаясь поздним зимним вечерком, покрытый снегом и инеем, устремит он глаза на мелькающую вдалеке избенку! Один стал, сирота круглый; и пуще еще он клонит свою голову, войдя в пустынное жилище.

Какое житье мужику без хозяйки!.. Минуло лето, минула и осень. Не успел Андрей и горе свое выплакать, как смотрит, уж и Матрена зимняя пришла — встала зима на ноги. Подули ветры северные, принесли с собой стужу и вьялицу. Лютый вихрь крутит опавшие звонкие листья, шипит и воет, обегая помертвелые поля и овражки, врываясь в ворота и потрясая до заваленок смоченную ливнем избушку. Тоска еще неотступнее запала в душу Андрея, когда лачужку его занесло сугробами снега, когда наступила зима со своими трескучими морозами.

В эту пору все поселяне сбиваются под одну кровлю, в одно родное гнездо, под один кожух, на одну печку. И тогда как лес, занесенный снегом, трещит под бременем инея, в полях темно и холодно, в теплых избушках каждая семейка — ребята, старики, отцы и матери — усаживаются вокруг лучины, начинаются длинные россказни, — Андрей один, как воробышек, забился в темный угол на холодной печке и сидит себе, нахохлившись. К тому же в тоске начала одолевать его не на шутку бедность. Рубашонка пообносилась, кафтанишко худенький; Ласточку не во что стало прикутать, да и самому-то совестно в люди показаться. И видит Андрей близкую

свою гибель, видит, что придется грызть окна да просить милостыню…

Было, правда, в тех же Выселках одно доброе существо, которое старалось, и часто небезуспешно, отвести душу Андрея. Дарья (так звали это существо) была бедная девушка, сирота круглая, проживавшая в качестве батрачки у одного из зажиточных мужиков деревушки. Общая почти доля, близкое соседство (избы их отделялись всего-навсего одним плетнем) как-то невольно сблизили ее с Андреем. Оба смирные, работящие, они легко пришлись по нраву друг другу. Хотя до сих пор не было между ними близкого разговора, Андрей знал, однако ж, что девушка не прочь была выйти за него замуж, и сам частенько об этом думал. Но как уладить это дело? Он ясно видел всю несбыточность таких помыслов. И в самом деле, до свадьбы ли людям, которые, как говорится, крыты светом да обнесены ветром, когда обоим надо было думать о том только, как бы прожить день Господень!..

Так всегда думал Андрей, так думал он и теперь, приближаясь к горе, отделявшей приходское село от полей Выселок. То забываясь в прошлом, то переходя к настоящему, мысли его остановились, наконец, на Дарье; это обстоятельство усилило

только тоску пахаря. Преданный весь своим думам, он не заметил, что начал уже подыматься в гору. Холод становился, однако ж, ощутительнее; при повороте дороги из рытвины на ровный скат ветер пахнул с такой силой в лицо Андрея, что он невольно остановился поправить шапку.

Ощупав Ласточку, которая спала крепким сном, и, уверившись, что ей было тепло, он окинул глазами местность, исполосованную темными колеями и оврагами. Измерив мысленно то, что оставалось ему пройти в гору, он снова пустился было в путь, когда до слуха его нежданно коснулись шаги, звонко раздавшиеся в тишине ночи. Андрей повернулся назад. Немного погодя из-за крутого поворота, недавно им покинутого, показалось белое пятно, которое заметно вырастало на темной дороге. Думая, что это какая-нибудь баба из Выселок, запоздавшая к заутрене, Андрей решился выждать ее. Баба заметила, со своей стороны, мужика и, обрадованная, вероятно, случаю напасть на проводника в такую позднюю пору, спешила к нему навстречу.

3

Андрей немало удивился, когда женщина поравнялась с ним и он узнал в ней Дарью. Де-

вушка, со своей стороны, казалось, также была не менее удивлена неожиданной встречей.

— Вот не чаял, не гадал! — воскликнул Андрей, невольно обнаруживая радость в голосе и движении, с каким поспешил он приподнять шапку. — Гляжу… кто бы, думаю, такая?.. А это ты… Ну, здорово, здорово…

— Здравствуй, Андрей! — весело отвечала девушка.

Дыхание, спиравшееся в груди ее от быстрой ходьбы в гору, заставило ее на минуту остановиться; она приподняла довольно полновесный узелок, висевший у нее за плечами, и бережно поставила его наземь. После этого она взглянула на пахаря и, приложив руку к груди своей, сказала:

— А я и вовсе не думала с тобой встретиться; иду, уж как-то страшно показалось мне одной-то, подняла голову, вижу — идет человек: должно быть, из наших стариков запоздал за дорогой, думаю. Гляжу, а это ты…

— Я разве молодой, по-твоему? — пробормотал, усмехаясь, мужик.

Он надел шапку, взглянул на девушку и прибавил:

— Что так поздно собралась?

— И сама не рада, да что станешь делать? Раньше нельзя никак. Хозяева велели нести в церковь кулич, пасху и яйца, велели да ушли. Я дожидалась, пока кулич испечется, после обеда только и поставили.

— Ну ладно, пойдем вместе, все веселее будет!

— Пойдем!

Девушка торопливо подняла узелок, Андрей поправил шапку, и оба, став рядышком, продолжали взбираться на гору. Крутизна ли дороги, или тяжесть ноши на груди Андрея тому способствовали, но только сердце его билось почему-то сильнее; грустные мысли, бросавшие тень на лицо его, мигом рассеялись; светлей и светлей становилось в душе пахаря.

— Что ты несешь? — спросила после минутного молчания Дарья, кивнув головою на грудь своего спутника, приподнятую спавшим подле нее ребенком.

Андрей взглянул на девушку и засмеялся.

— Что ты смеешься?

— Угадай! — произнес он, прикоснувшись слегка к полушубку.

Девушка остановилась, сделала шаг к мужику и с любопытством пригнулась к полушубку: в эту минуту ребенок проснулся, открыл глаза, протя-

нул ножки и, взглянув в лицо Дарьи, молча обвил ее шею ручонками. Андрей поневоле должен был наклониться к своей спутнице.

— А! Так вот это кто! — сказала Дарья, разглаживая одной рукой волосы девочки, тогда как другая рука ее старалась, но тщетно, отвести руки ребенка. — Ну, полно, Ласточка, пусти меня… Послушай, Андрей, — прибавила она, очутившись на свободе, — дай мне, я понесу ее…

Ребенок потянулся к девушке и сказал, что хочет к ней на руки.

— А разве тебе тетушку Дарью не жаль? — сказал отец убедительно. — Вишь, мы теперь в какую гору идем; и без тебя ей тяжело, с тобою — и совсем умается… Пойдем под гору — ступай к ней, слова тогда не скажу.

Ласточка свернулась по-прежнему клубочком под кожухом, но так, однако ж, чтобы можно было глядеть на дорогу.

Прошло несколько минут молчания, в продолжение которых Андрей раздумывал, что бы такое сказать своей спутнице. Дарья также не говорила ни слова, думая, вероятно, о том же. Обоим, видно, стало почему-то неловко.

— Ты что это, Дарья, несешь? — спросил, наконец, Андрей не совсем уверенным голосом.

— Кулич, пасху и яйца несу святить, — отвечала девушка, подняв голову. — А где же твоя пасха? — спросила она, оглядывая Андрея.

— Где моя пасха? — возразил, вздохнув, пахарь.

— Что ж, разве нет у тебя? Экой ты какой! Да ты бы к нам понаведался, попросил бы мою хозяйку. Она не стала бы перечить. У нас много творогу осталось.

— Нет, Дарья, тошно ходить по людям, я и так, кажись, всем прискучил своею бедностью: нынче попросишь, завтра попросишь, а напоследок и язык не повернется. Тошно так-то канючить, когда сам, бывало, ни в чем не нуждался! Что говорить, своей доли не переможешь; так, знать, Творцу угодно… А давно ли, кажись, давно ли вот шел я, как нынче иду с тобою, к святой заутрене? Были у меня и кулич, и пасха, хоть и не больно велики, а все же не без них шел, было чем встретить праздник Господень! Шла со мной тогда и хозяйка… Помнишь? Добрая была, дай ей Господь Бог Царствие Небесное! А теперь все отошло от меня, остался сиротка круглый. Тяжко, что говорить! А все, кажись, легче, коли кой-как сам собой перемогаешься. Горек чужой хлеб! Ты, чай, и сама это ведаешь, — прибавил он, взгля-

нув на девушку, которая шла подле него молча, опустив голову.

— Вот, поверишь ли, до чего дошел, — продолжал Андрей, придерживая Ласточку, которая не отрывала темных глаз от бледного лица пахаря, — до того дошел, что нынче не было чем печь истопить: хворостина вся вышла, солома также, а купить не на что. Да чего! Гроша нет на свечку; как вернусь домой с заутрени, нечего будет поставить перед образом…

Рука Дарьи быстро опустилась за пазуху и секунду спустя вынула клипушек холста, плотно связанный узлом; она торопливо развязала зубами узелок, в котором оказались два гроша, и, подавая один из них Андрею, сказала:

— Возьми, у меня два…

— Зачем? — пробормотал Андрей, останавливаясь в недоумении.

— Пригодится на свечку, — отвечала Дарья, положив грош в руку Андрея и принимаясь поправлять узелок на плечах.

Андрей хотел что-то сказать, взглянул на сиротку, замялся, махнул рукою и, сжав грош в ладони, продолжал подыматься.

Минуту спустя оба они очутились на вершине горы, откуда открывались необозримые поля, по-

среди которых черным, неопределенным пятном раскидывалось село. Избушки, сараи и ветлы, их осенявшие, сливались в одну темную, непроницаемую массу, и только в маленьких окнах деревянной церкви, которой остроконечная кровля четко вырезывалась на светлом небе, мелькало и бегало несметное множество огоньков. Когда Андрей и Дарья остановились, первый — чтобы передать сиротке свою дочку, вторая — чтобы принять ее, звуки колокола, смолкнувшие на время, снова охватили окрестность.

4

Вскоре достигли они села, обогнули его задами, чтобы избавиться от собак, и очутились на топком хворостинном мосту. Направо от моста, за поворотом речки, сверкавшей, как лезвие косы, в крутых берегах подымалась мельница, казавшаяся со своими ветлами какою-то черною глыбой; налево из-за небольшого косогора выглядывали кресты сельского погоста; прямо вела дорога на бугор с возвышавшеюся на нем церковью, мрачною и старинною; ее окружали со всех сторон крытые навесы и выступы, из-под которых ярко светились окна. Дарья передала Андрею Ласточку, взяла свой узелок, и, немного

погодя, оба поднялись на паперть, а оттуда проникли в церковь.

Церковь разделялась пополам на два придела, и вторая половина, в которой совершалось богослужение, залитая ослепительным блеском свечей и паникадил, резко отделялась от первой, оставшейся в полумраке. Народу собралось такое множество, что нечего было и думать пробраться ко второму приделу.

Отделенный толпою от Дарьи, Андрей кое-как протискался, однако ж, между рядами прихожан, купил на грош тоненькую желтую свечку и достигнул угла, откуда можно было видеть часть алтаря и своды, увешанные иконами. Немало стоило также трудов Андрею, чтобы угомонить Ласточку; обвив ручонками шею отца и устремив глаза на ярко блиставшую часть церкви, она не переставала засыпать его вопросами. «Это что?... это что?» — спрашивала она поминутно, ласково поворачивая за подбородок голову отца. Мало-помалу, однако ж, головка девочки опустилась на отцовское плечо, и сладкий сон оковал ее члены. Андрей бережно опустил дочку на пол, прислонил ее к углу, зажег свечку, перекрестился и стал вслушиваться в чтение Евангелия.

Тишина, царствовавшая в первом приделе, располагала как нельзя лучше к молитве. Изредка лишь прерывала Андрея старушка-соседка, которая, постучав ему по плечу свечкой, просила его передать ее соседу и поставить ее к образу. Андрей брал свечку, стучал таким же порядком в плечо соседа, передавал ему просьбу старухи и снова углублялся в молитву. Опустившись на колени и устремив глаза в пропадавшую глубину церковного свода, Андрей, казалось, одно время забыл все окружающее. Усердно молился бедный пахарь. Он молил Бога укрепить его духом, чтобы вынести терпеливо и безропотно бедность и горе, его постигшее, молил Его ниспослать ему утешение и радость в родном детище, молил не покидать его, горького, в тоске и кручине сердечной…

Внезапно радостное, торжественное пение послышалось с клироса; свечи в руках прихожан угасли, как будто одним дуновением, и дым от них, смешиваясь с дымом ладана, потянулся легким фиолетовым облаком в темную даль свода. Народ задвигался и заволновался. Веселье проглядывало на всех лицах; торжественное пение, смешиваясь с радостными восклицаниями «Христос воскресе!», раздалось во всех концах

и огласило всю церковь. Все целовали и обнимали друг друга. Немало поцелуев пришлось также на долю Андрея. Едва-едва поспевал он отвечать тем же. Все почему-то теснились вокруг него. Зная его бедность, каждый почти навязывал ему кусок кулича, пасхи или красное яйцо. Было теперь чем разговеться бедняку!

Андрей провел ладонью по глазам своим, поднял на руки дочку, перекрестил ее, вышел из церкви и вскоре очутился на дороге. Везде попадались веселые лица соседей, возвращавшихся семьями по домам; отовсюду раздавались радостные, приветливые восклицания брата брату, мужа жене, отца или деда к дочери или сыну… Спускаясь с горы к Выселкам, Андрей увидел ряды огоньков, блиставших в избушках; он обратил глаза к околице: одна его лачужка глядела темным пятном…

5

Когда он пришел домой, внутренность избушки показалась ему еще неприветливее ее наружности. Мрачно и холодно! Андрей снял с себя кожух, закутал в него спавшую Ласточку и уложил ее на лавочку. Уставив стол обломками кулича и пасхи, полученными в церкви, он нащупал

кончик желтой восковой свечки, тщательно сбереженной им после заутрени, и, подавив вздох, подошел к печке. Он отодвинул заслонку и принялся шарить в загнетке. Тут только вспомнил Андрей, что печь его не топилась несколько дней и что нечем было ему засветить свечку перед образом. Тоска одолела его. Несколько минут стоял он в какой-то тяжелой нерешимости и, наконец, покинул избу.

Улица, исполосованная светом, выходившим из окон, ярко выступала из мрака; говор и восклицания, раздававшиеся внутри избушек, придавали Выселкам что-то праздничное. Очутившись на улице, Андрей направился прямо к соседней избе. Он приблизился к завалинке и постучался в окно.

— Кто там? — отозвался хриплый, разбитый голос.

— Я… Андрей…

— Чего тебе?

— Ссуди огоньком, тетушка Анна, нечем лучины вздуть…

Окно поднялось, из него выглянуло сморщенное лицо старушонки.

— Вишь, нашел время огня просить! Нешто не ведаешь, ноне день какой? Сам, небось, не то-

пил печки, да на сторону ходишь!..

— Что ж, тетушка Анна, не убудет у тебя, полно, — произнес Андрей, качнув головой.

— То-то не убудет, не убудет! — подхватила старушка полушутливо, полуворчливо. — А ты, касатик, пойди к соседям, что они тебе скажут… Словно, право, новый ты человек, не знаешь…

— Ну, Господь с тобой, коли так, — отвечал Андрей, повернулся и пошел на противоположный конец улицы стучаться в другое окно.

Но из этого окна вышел тот же ответ. Он постучался в третье, в четвертое — никто не решался исполнить его просьбу, каждый отсылал его к соседу. Понурив голову, со стесненным сердцем возвращался Андрей домой; он уже подходил к воротам, когда, подняв голову, остановился и невольно устремил глаза за околицу.

Там, далеко-далеко, в темной, пустынной равнине дрожал огонек.

«Должно быть, чумаки какие, либо обозники собрались на ночевье, — подумал Андрей. — А что, пойду-ка я к ним, авось не отгонят», — присовокупил он, направляясь к светящейся точке, которая между тем разгоралась и увеличивалась.

Андрей ускорил шаг и вскоре очутился подле огня. Десятка два подвод, с пригнутыми кверху

оглоблями, обступали серпом костер из древесных сучьев, над которым висел котел. Подле подвод и немного поодаль лежали волы, казавшиеся огромными меловыми глыбами посреди глубокой тени, наброшенной на них подводами и спинами чумаков, заслонивших пламя. Чумаки сидели рядышком и, поджав под себя ноги, тесно окружили костер. Смуглые, усатые, покрытые загаром и дегтем, они не трогали ни одним членом, не произносили ни одного слова, и только движение пламени, бросая попеременно свет или черные тени, оживляло их лица с мрачно нависшими бровями. Погруженные в молчаливое раздумье, они, казалось, не замечали постороннего лица.

— Здравствуйте, братцы! — произнес Андрей, подходя ближе.

— Здравствуй и ты! — отозвались в один голос сидевшие.

— Хлеб да соль, братцы! Христос воскрес! — присовокупил Андрей, нагибаясь к первому, седому как лунь, старику с белыми как снег усами.

Старик медленно приподнялся со своего места, сотворил крестное знамение, произнес: «Воистину воскрес!» — провел ладонью по усам и поцеловался с Андреем. Таким образом Андрей

обошел весь кружок и, перецеловавшись с каждым, вернулся снова к старику, который сидел уже перед огнем.

— А я, братцы, вот зачем, — начал он, оглядывая присутствующих, которые по-прежнему стали недвижны, — я вот зачем: не ссудите ли вы меня огоньком?

— Изволь! — отрывисто сказал старик.

Вслед за тем он засучил по локоть прорванные рукава рубахи, запустил жилистые, обнаженные руки в самую середину костра, который яростно трещал, метая золотые искры в темно-синее небо, и, набрав полные пригоршни пылающего угля, подал их Андрею, промолвив:

— Держи полу!

«Что ж, — подумал Андрей, — коли Христов человек своими руками, творившими крестное знамение, жар загребает и не обжигается, бояться, знать, нечего; и моя грешная пола не прожжется!»

Он подставил полу под руки старика; старик высыпал в нее пылающий уголь и снова повернулся к костру.

— Спасибо вам, братцы, за добро ваше, — сказал Андрей, кланяясь.

— С Богом, — отвечал старик.

— С Богом, — повторили в один голос остальные чумаки.

Андрей поклонился еще раз и бегом, без оглядки пустился домой.

6

Войдя в избу, Андрей высыпал уголь подле заслонки и, убедившись хорошенько, что пола его была цела, вздул лучину. Минуту спустя кончик желтой восковой свечи затеплился в красном углу перед иконой и, смешавшись со светом лучинки, озарил избушку ярким блеском. Все вокруг как бы улыбнулось и повеселело. Даже у самого Андрея отлегло от сердца. Верный святому обряду, он разбудил Ласточку, усадил ее на лавку против обломков кулича и пасхи, перекрестил ребенка, сам перекрестился, и оба принялись разговляться. Трапеза приближалась уже к концу, когда кто-то неожиданно постучался в дверь.

— Кто там? — спросил Андрей.

— Я, я, касатик! — отвечал разбитый голос. Дверь скрипнула, и в избу вошла сгорбленная, сморщенная старушонка.

— Это ты, тетушка Анна! Добро пожаловать! Ну, тетушка, Христос воскрес! — весело произнес

Андрей, подходя к соседке и принимаясь обнимать ее.

— Воистину воскрес, касатик, воистину. Ох, родной ты мой! А я чаяла, ты серчать на меня станешь…

— С чего ж серчать: всяк властен в добре своем, тетушка Анна; ты пожалела ссудить огоньком — ссудили другие… Видит Бог, я на тебя не серчаю. Скажи, зачем пришла?

— Касатик! — начала старушка, скрестив руки на груди и наклонив набок голову. — Касатик, — продолжала она заискивающим голосом, — одолжи кочергу, родной: ребятенки затащили нашу невесть куда; бились, бились — не найдем; хлебы поспели, а вынуть нечем…

— Только-то! Э, есть о чем разговаривать!.. Бери.

— Ох, касатик ты мой! Да где ж она у тебя?

— А вон там, у печки.

Старушка подошла к печке и начала шарить. Вдруг она всплеснула руками, нагнулась к заслонке, вскрикнула, опять всплеснула руками и заметалась, как угорелая.

— Батюшки! Касатики вы мои!.. Ох, Андрей! Подь сюда; погляди-ка, что это у тебя!.. Ох, родные вы мои! Ах! Ахти, Господи!..

— Что ты, тетушка? Что с тобой? — произнес Андрей, подбегая к соседке.

— Погляди-ка, — продолжала она, указывая на то место, куда Андрей высыпал уголь.

— Ну что ж? Уголь! Что ты?

— Какой уголь!.. Ах ты, простой сын!.. Погляди-ка, погляди… деньги! Батюшки, касатушки… ворох… целый ворох денег!

Андрей подошел ближе и остановился как вкопанный. На месте золы и угля сверкали две добрые пригоршни золота!

— Я, тетушка, не знаю, — пробормотал пахарь, крестясь и отступая, — видит Бог, не знаю…

— Как не знаешь? Да отколь же у тебя? Слышь ты… ох! — воскликнула старушка, снова всплеснув руками.

— Видит Бог, не знаю, тетушка Анна! Пошел я за огнем… чумаки стоят у нас в поле… они мне насыпали… две пригоршни насыпали…

— Чумаки! Батюшки! Две пригоршни! Ахти, Господи! Касатики вы мои! — воскликнула старушка и, не договорив остального, бросила кочергу и кинулась со всех ног из избы.

Все мысли заходили кругом в голове Андрея. Несколько минут стоял он, как прикованный к полу; наконец подошел к печке, перекрестился

и притронулся к блистающей горке, которая зазвенела под руками его: точно, перед ним лежали целых две пригоршни золотых червонцев, один другого краше и лучше. Холодный пот выступил на бледном лице пахаря; крики и шум, раздававшиеся на улице, заставили его, однако ж, скоро опомниться. Полный неопределенного страха, он плотно запер за собою дверь и выбежал за ворота.

На улице происходила какая-то суматоха и сутолока; все бегали из конца в конец, как шальные; все кричали и суетились. Посреди всеобщего гама раздавались пронзительные восклицания Анны:

— Батюшки, светики мои! Чумаки в поле у нас! Ох!.. Чумаки деньгами обделяют… Андрею… сама видела… две пригоршни насыпали!

Так и слышно было:

— Где? Какие чумаки? Ой ли? Пойдем туда! Скорей! Тащи решето! Тащи ведро!.. Бери горнушку… скорей, вот они! Туда!.. Туда!..

Андрей провел ладонью по голове, потом протер глаза и взглянул за околицу. Посреди темной равнины все еще пылал костер.

— Что такое, Андрей? Что они? — произнес тихий голос за спиною пахаря.

Андрей обернулся. Перед ним стояла Дарья.

— Куда это бежит народ? — продолжала сиротка. — Что с ними? Слышь, слышь, твое имя поминают… вон… Ну, все ударили за околицу!

— Чумаки! — мог только проговорить Андрей, указывая дрожащею рукою на костер, пылавший в отдалении. — Я пошел к ним за огнем… Они насыпали мне две пригоршни угля, пришел домой, смотрю: деньги!..

— Что ты, какие деньги?

— Деньги… все на подбор золотые… Ступай, погляди сама, коли не веришь…

Сиротка оглянулась на стороны и, сопровождаемая Андреем, вошла в избу.

— И взаправду! Вот диковинка, сколько их! — воскликнула девушка. — А где же Ласточка?.. Ласточка, Ласточка, подь сюда скорей, — продолжала она, подняв на руки ребенка и подходя с ним к печке. — Погляди-ка, погляди, что у тятьки!.. Батюшки, и не пересчитаешь! Плакался ты, Андрей, на свою бедность — вот Бог и послал тебе… Теперь ты богат! Богаче тебя у нас в Выселках не будет! — прибавила она, устремляя блиставшие от радости глаза на лицо пахаря.

Сердце сильно застучало в груди Андрея; он взглянул на золото, потом на девушку, отступил

шаг и произнес не совсем уверенным голосом:

— А пойдешь за меня замуж, Дарья?

— Пойду! — отвечала она, опустив голову и принимаясь перебирать с необыкновенною поспешностью окраину передника.

Народ из Выселок успел, между тем, давно очутиться подле костра.

— Батюшки, родные вы наши, касатики, ненаглядные! — кричали наперерыв двадцать человек, тискаясь друг на дружку и обступая чумаков, которые сидели по-прежнему так же неподвижно, — не оставьте нас: ссудите огоньком, родные вы наши!..

— Изволь! — произнес, наконец, старший из чумаков, тот самый, к которому обращался Андрей.

— Батюшки, касатики, родные! — закричали в один голос выселовцы, громоздясь, как угорелые, друг на дружку и подставляя кто руки, кто решето, кто ведро.

Старик засучил рукава и, не поворачивая головы к обступившему его народу, прибавил:

— Много вас… не хватит помногу, мы думали один…

— Золотой ты мой, хоть пригоршенку! — закричала Анна, просовывая отчаянно между руками и головами соседей подол новой понявы.

— Хоть уголечек, касатик! — крикнула другая, подставляя решето.

— Сюда, сюда, дедушка!..

— Ох, мне не досталось! Пропустите! Ой, касатики, пропустите!

— Держи полу! — сказал старый чумак, запуская руки в костер и выгребая остаток горячего угля в подставленные зипуны, подолы и шапки.

Таким образом все были наделены.

— С Богом! — произнес отрывисто старый чумак, насупивая брови и поворачиваясь к костру.

— С Богом! — промолвили другие чумаки. Но выселовцы ничего уже не слышали. Они стремглав бежали к околице, поддерживая руками полы зипунов и карманов. Очутившись на улице, выселовцы поубавили шаг.

— Ой, батюшки! — воскликнула неожиданно тетушка Анна, останавливаясь посреди теснившихся вокруг нее соседей.

— Ох, касатики, — внезапно послышалось с другой стороны бежавшей толпы.

— Что там?

— Ух! — пронзительно взвизгнул кто-то в другом конце.

— Обманули, разбойники! — заголосила вдруг Анна, выпуская полу, из которой валил чад и сы-

пался уголь.

— Батюшки, горю! — крикнула другая баба.

— Тушите! Тушите! Понява горит!.. Ой, зипун! Новый зипун! Обманули!.. Туши! Туши! Ах! — заголосили в один голос на улице Выселок.

И все, сколько ни было народу, опустили подолы, побросали шапки и запрыгали друг подле друга.

Как только прошел первый страх, все оглянулись к околице. Но костра уже не было. Вдалеке лишь, посреди темной равнины слышались скрип телег и мерный топот волов, который постепенно умолкал и терялся…

— Держи их! — крикнул кто-то из толпы.

Но никто не послушался этого крика. Ощупывая полы прожженной одежды и повесив головы, выселовцы печально расходились по домам.

Можно смело утверждать, что один Андрей был счастлив и весел в этот вечер. Он не сомкнул глаз во всю ночь. Никогда не встречал он так радостно Светлого праздника! Едва блеснул день, Андрей не выдержал и вышел за ворота. Утро было чистое и ясное. Народ сбирался на улице. Длинная плетеница парней и девушек, впереди которых шла Дарья, выходила за околицу «выкликать весну». Звонкая песня огласила окрестность:

– Весна, весна, красная!

Приди, весна, с радостью!

Весна красна, на чем приехала?

На сошечке,

на бороночке!..

И никогда еще ни одна песня не отзывалась так радостно в кроткой душе Андрея!

1850

В. Г. Короленко

Старый звонарь
Весенняя идиллия

Стемнело.

Небольшое селение, приютившееся над дальнею речкой, в бору, тонуло в том особенном сумраке, которым полны весенние звездные ночи, когда тонкий туман, подымаясь с земли, сгущает тени лесов и застилает открытые пространства серебристо-лазурною дымкой… Все тихо, задумчиво, грустно.

Село тихо дремлет.

Убогие хаты чуть выделяются темными очертаниями; кое-где мерцают огни; изредка скрипнут ворота; залает чуткая собака и смолкнет; порой из темной массы тихо шумящего леса выделяются фигуры пешеходов, проедет всадник, проскрипит телега. То жители одиноких лесных поселков собираются в свою церковь встречать весенний праздник.

Церковь стоит на холмике, в самой середине поселка. Окна ее светят огнями. Колокольня — старая, высокая, темная — тонет вершиной в лазури.

Скрипят ступени лестницы… Старый звонарь Михеич поднимается на колокольню, и скоро его фонарик, точно взлетевшая в воздухе звезда, виснет в пространстве.

Тяжело старику взбираться по крутой лестнице. Не служат уже старые ноги, поизносился он сам, плохо видят глаза… Пора уж, пора старику на покой, да Бог не шлет смерти. Хоронил сыновей, хоронил внуков, провожал в домовину старых, провожал молодых, а сам все еще жив. Тяжело!.. Много уж раз встречал он весенний праздник, потерял счет и тому, сколько раз ждал урочного часа на этой самой колокольне. И вот привел Бог опять…

Старик подошел к пролету колокольни и облокотился на перила. Внизу вокруг церкви маячили в темноте могилы сельского кладбища; старые кресты как будто охраняли их распростертыми руками. Кое-где склонялись над ними березы, еще не покрытые листьями… Оттуда, снизу, несся к Михеичу ароматный запах молодых почек и веяло грустным спокойствием вечного сна…

Что-то будет с ним через год? Взберется ли он опять сюда, на вышку, под медный колокол, чтобы гулким ударом разбудить чутко дремлющую ночь, или будет лежать… вон там, в темном угол-

ке кладбища, под крестом? Бог знает… Он готов, а пока привел Бог еще раз встретить праздник.

«Слава Те, Господи!» — шепчут старческие уста привычную формулу, и Михеич смотрит вверх на горящее миллионами огней звездное небо и крестится…

— Михеич, а Михеич! — зовет его снизу дребезжащий, тоже старческий голос. Древний годами дьячок смотрит вверх на колокольню, даже приставляет ладонь к моргающим и слезящимся глазам, но все же не видит Михеича.

— Что тебе? Здесь я! — отвечает звонарь, склоняясь с своей колокольни. — Аль не видишь?

— Не вижу… А не пора ли и вдарить? По-твоему, как?

Оба смотрят на звезды. Тысячи Божьих огней мигают на них с высоты. Пламенный «Воз» поднялся уже высоко… Михеич соображает:

— Нет еще, погоди мало… Знаю ведь…

Он знает. Ему не нужно часов: Божьи звезды скажут ему, когда придет время… Земля и небо, и белое облако, тихо плывущее в лазури, и темный бор, невнятно шепчущий внизу, и плеск невидной во мраке речки — все это ему знакомо, все это ему родное… Недаром здесь прожита целая жизнь…

Перед ним оживает далекое прошлое… Он вспоминает, как в первый раз он с тятькой взобрался на эту колокольню… Господи Боже, как это давно и… как недавно!.. Он видит себя белокурым мальчонком; глаза его разгорелись; ветер, — но не тот, что подымает уличную пыль, а какой-то особенный, высоко над землей машущий своими бесшумными крыльями, — развевает его волосенки… Внизу, далеко-далеко ходят какие-то маленькие люди, и домишки деревни тоже маленькие, и лес отодвинулся вдаль, и круглая поляна, на которой стоит поселок, кажется такою громадною, почти безграничною.

— Ан вон она, вся тут! — улыбнулся седой старик, взглянув на небольшую полянку.

Так вот и жизнь… Смолоду конца ей не видишь и краю… Ан вот она вся, как на ладони, с начала и до самой вон той могилки, что облюбовал он себе в углу кладбища… И что ж, — слава Те, Господи! — пора на покой. Тяжелая дорога пройдена честно, а сырая земля — ему мать… Скоро, уж скоро!..

Однако пора. Взглянув еще раз на звезды, Михеич поднялся, снял шапку, перекрестился и стал подбирать веревки от колокольни… Через минуту ночной воздух дрогнул от гулкого удара…

Другой, третий, четвертый… один за другим наполняя чутко дремавшую предпраздничную ночь, полились властные, тягучие, звонкие и певучие тоны…

Звон смолк. В церкви началась служба. В прежние годы Михеич всегда спускался по лестнице вниз и становился в углу, у дверей, чтобы молиться и слушать пение. Но теперь он остался на своей вышке. Трудно ему; притом же он чувствовал какую-то истому. Он присел на скамейку и, слушая стихающий гул расколыхавшейся меди, глубоко задумался. О чем? Он сам едва ли мог бы ответить на этот вопрос… Колокольная вышка слабо освещалась его фонарем. Глухо гудящие колокола тонули во мраке; снизу, из церкви, по временам слабым рокотом доносилось пение, и ночной ветер шевелил веревки, привязанные к железным колокольным сердцам…

Старик опустил на грудь свою седую голову, в которой роились бессвязные представления. «Тропарь поют!» — думает он и видит себя тоже в церкви. На клиросе заливаются десятки детских голосов; старенький священник, покойный отец Наум, «возглашает» дрожащим голосом возгласы; сотни мужичьих голов, как спелые колосья от ветру, нагибаются и вновь подыма-

ются… Мужики крестятся… Всё знакомые лица и всё-то покойники… Вот строгий облик отца; вот и старший брат истово крестится и вздыхает, стоя рядом с отцом. Вот и он сам, цветущий здоровьем и силой, полный бессознательной надежды на счастие, на радости жизни… Где оно, это счастие?.. Старческая мысль вспыхивает, как угасающее пламя, скользя ярким, быстрым лучом, освещающим все закоулки прожитой жизни… Непосильный труд, горе, забота… Где оно, это счастие? Тяжелая доля проведет морщины по молодому лицу, согнет могучую спину, научит вздыхать, как и старшего брата…

Но вот налево, среди деревенских баб, смиренно склонив голову, стоит его «молодица». Добрая была баба, царствие небесное! И много же приняла муки, сердешная… Нужда, да работа, да неисходное бабье горе иссушат красивую молодицу; потускнеют глаза и выражение вечного тупого испуга перед неожиданными ударами жизни заменит величавую красоту… Да где ее счастье?.. Один остался у них сын, надежда и радость, и того осилила людская неправда…

А вот и он, богатый ворог, бьет земные поклоны, замаливая кровавые сиротские слезы; торопливо взмахивает он на себя крестное зна-

мение и падает на колени, и стукает лбом… И кипит-разгорается у Михеича сердце, а темные лики икон сурово глядят со стены на людское горе и на людскую неправду…

Все это прошло, все это там, назади… А теперь весь мир для него — это темная вышка, где ветер гудит в темноте, шевеля колокольными веревками… «Бог вас суди, Бог суди!» — шепчет старик и поникает седою головой, и слезы тихо льются по старым щекам звонаря…

— Михеич, а Михеич!.. Что ж ты, али заснул? — кричат ему снизу.

— Ась? — откликнулся старик и быстро вскочил на ноги. — Господи! Неужто и вправду заснул? Не было еще экого сраму!..

И Михеич быстро, привычною рукой хватает веревки. Внизу, точно муравейник, движется мужичья толпа: хоругви бьются в воздухе, поблескивая золотистою парчой… Вот обошли крестным ходом вокруг церкви, и до Михеича доносится радостный клич:

— Христо-о-с воскресе из мертвых…

И отдается этот клич волною в старческом сердце… И кажется Михеичу, что ярче вспыхнули в темноте огни восковых свечей, и сильней заволновалась толпа, и забились хоругви,

и проснувшийся ветер подхватил волны звуков и широкими взмахами понес их ввысь, сливаясь с громким торжественным звоном…

Никогда еще так не звонил старый Михеич.

Казалось, его переполненное старческое сердце перешло в мертвую медь, и звуки точно пели, трепетали, смеялись и плакали и, сплетаясь чудною вереницей, неслись вверх, к самому звездному небу. И звезды вспыхивали ярче, разгорались, и звуки дрожали и лились, и вновь припадали к земле с любовною лаской…

Большой бас громко вскрикивал и кидал властные, могучие тоны, оглашавшие небо и землю: «Христос воскресе!»

И два тенора, вздрагивая от поочередных ударов железных сердец, подпевали ему радостно и звонко: «Христос воскресе!»

А два самые маленькие дисканта, точно торопясь, чтобы не отстать, вплетались между больших и радостно, точно малые ребята, пели вперегонку: «Христос воскресе!»

И казалось, старая колокольня дрожит и колеблется, и ветер, обвевающий лицо звонаря, трепещет могучими крыльями и вторит: «Христос воскресе!»

И старое сердце забыло про жизнь, полную за-

бот и обиды… Забыл старый звонарь, что жизнь для него сомкнулась в угрюмую и тесную вышку, что он в мире один, как старый пень, разбитый злою непогодой… Он слушает, как эти звуки поют и плачут, летят к горнему небу и припадают к бедной земле, и кажется ему, что он окружен сыновьями и внуками, что это их радостные голоса, голоса больших и малых, сливаются в один хор и поют ему про счастие и радость, которых он не видал в своей жизни… И дергает веревки старый звонарь, и слезы бегут по лицу, и сердце усиленно бьется иллюзией счастья…

А внизу люди слушали и говорили друг другу, что никогда еще не звонил так чудно старый Михеич…

Но вдруг большой колокол неуверенно дрогнул и смолк… Смущенные подголоски прозвенели неоконченною трелью и тоже оборвали ее, как будто вслушиваясь в печально гудящую долгую ноту, которая дрожит, и льется, и плачет, постепенно стихая в воздухе…

Старый звонарь изнеможенно опустился на скамейку, и две последние слезы тихо катятся по бледным щекам.

Эй, посылайте на смену! Старый звонарь отзвонил…

1885

М. Е. Салтыков-Щедрин

Христова ночь

Равнина еще цепенеет, но среди глубокого безмолвия ночи под снежною пеленою уже слышится говор пробуждающихся ручьев. В оврагах и ложбинах этот говор принимает размеры глухого гула и предостерегает путника, что дорога в этом месте изрыта зажорами. Но лес еще молчит, придавленный инеем, словно сказочный богатырь железною шапкою. Темное небо сплошь усыпано звездами, льющими на землю холодный и трепещущий свет. В обманчивом его мерцании мелькают траурные точки деревень, утонувших в сугробах. Печать сиротливости, заброшенности и убожества легла и на застывшую равнину, и на безмолвствующий проселок. Все сковано, беспомощно и безмолвно, словно задавлено невидимой, но грозной кабалой.

Но вот в одном конце равнины раздалось гудение полночного колокола; навстречу ему, с противоположного конца, понеслось другое, за ним — третье, четвертое. На темном фоне ночи вырезались горящие шпили церквей, и окрестность вдруг ожила. По дороге потянулись вереницы деревенского люда. Впереди шли люди

серые, замученные жизнью и нищетою, люди с истерзанными сердцами и с поникшими долу головами. Они несли в храм свое смирение и свои воздыхания; это было все, что они могли дать воскресшему богу. За ними, поодаль, следовали в праздничных одеждах деревенские богатеи, кулаки и прочие властелины деревни. Они весело гуторили меж собою и несли в храм свои мечтания о предстоящем недельном ликовании. Но скоро толпы народные утонули в глубине проселка; замер в воздухе последний удар призывного благовеста, и все опять торжественно смолкло.

Глубокая тайна почуялась в этом внезапном перерыве начавшегося движения, — как будто за наступившим молчанием надвигалось чудо, долженствующее вдохнуть жизнь и возрождение. И точно: не успел еще заалеть восток, как желанное чудо совершилось. Воскрес поруганный и распятый бог! воскрес бог, к которому искони огорченные и негодующие сердца вопиют: «Господи, поспешай!»

Воскрес бог и наполнил собой вселенную. Широкая степь встала навстречу ему всеми своими снегами и буранами. За степью потянулся могучий лес и тоже почуял приближение вос-

кресшего. Подняли матерые ели к небу мохнатые лапы; заскрипели вершинами столетние сосны; загудели овраги и реки; выбежали из нор и берлог звери, вылетели птицы из гнезд; все почуяли, что из глубины грядет нечто светлое, сильное, источающее свет и тепло, и все вопияли: «Господи! Ты ли»

Господь благословил землю и воды, зверей и птиц и сказал им:

— Мир вам! Я принес вам весну, тепло и свет. Я сниму с рек ледяные оковы, одену степь зеленою пеленою, наполню лес пением и благоуханиями. Я напитаю и напою птиц и зверей и наполню природу ликованием. Пускай законы ее будут легки для вас; пускай она для каждой былинки, для каждого чуть заметного насекомого начертит круг, в котором они останутся верными прирожденному назначению. Вы не судимы, ибо выполняете лишь то, что вам дано от начала веков. Человек ведет непрестанную борьбу с природой, проникая в ее тайны и не предвидя конца своей работе. Ему необходимы эти тайны, потому что они составляют неизбежное условие его благоденствия и преуспеяния. Но природа сама себе довлеет, и в этом ее преимущество. Нет нужды, что человек мало-помалу проникает

в ее недра — он покоряет себе только атомы, а природа продолжает стоять перед ним в своей первобытной неприступности и подавляет его своим могуществом. Мир вам, степи и леса, звери и пернатые! и да согреют и оживят вас лучи моего воскресения!

Благословивши природу, воскресший обратился к людям. Первыми вышли навстречу к нему люди плачущие, согбенные под игом работы и загубленные нуждою. И когда он сказал им: «Мир вам!» — то они наполнили воздух рыданиями и пали ниц, молчаливо прося об избавлении.

И сердце воскресшего вновь затуманилось тою великою и смертельною скорбью, которою оно до краев переполнилось в Гефсиманском саду, в ожидании чаши, ему уготованной. Все это многострадальное воинство, которое пало перед ним, несло бремя жизни имени его ради; все они первые приклонили ухо к его слову и навсегда запечатлели его в сердцах своих. Всех их он видел с высот Голгофы, как они метались вдали, окутанные сетями рабства, и всех он благословил, совершая свой крестный путь, всем обещал освобождение. И все они с тех пор жаждут его и рвутся к нему. Все с беззаветною верою простирают к нему руки: «Господи! Ты ли»

— Да, это я, — сказал он им. — Я разорвал узы смерти, чтобы прийти к вам, слуги мои верные, сострадальцы мои дорогие! Я всегда и на всяком месте с вами, и везде, где пролита ваша кровь, — тут же пролита и моя кровь вместе с вашею. Вы чистыми сердцами беззаветно уверовали в меня, потому только, что проповедь моя заключает в себе правду, без которой вселенная представляет собой вместилище погубления и ад кромешный. Люби бога и люби ближнего, как самого себя — вот эта правда, во всей ее ясности и простоте, и она наиболее доступна не богословам и начетчикам, а именно вам, простым и удрученным сердцам. Вы верите в эту правду и ждете ее пришествия. Летом, под лучами знойного солнца, за сохою, вы служите ей; зимой, длинными вечерами, при свете дымящейся лучины, за скудным ужином, вы учите ей детей ваших. Как ни кратка она сама по себе, но для вас в ней замыкается весь смысл жизни и никогда не иссякающий источник новых и новых собеседований. С этой правдой вы встаете утром, с нею ложитесь на сон грядущий и ее же приносите на алтарь мой в виде слез и воздыханий, которые слаще аромата кадильного растворяют сердце мое. Знайте же: хотя никто не провидит вперед, когда пробьет

ваш час, но он уже приближается. Пробьет этот желанный час, и явится свет, которого не победит тьма. И вы свергнете с себя иго тоски, горя и нужды, которое удручает вас. Подтверждаю вам это, и как некогда с высот Голгофы благословлял вас на стяжание душ ваших, так и теперь благословляю на новую жизнь в царстве света, добра и правды. Да не уклонятся сердца ваши в словеса лукавствия, да пребудут они чисты и просты, как доднесь, а слово мое да будет истина. Мир вам!

Воскресший пошел далее и встретил на пути своем иных людей. Тут были и богатеи, и мироеды, и жестокие правители, и тати, и душегубцы, и лицемеры, и ханжи, и неправедные судьи. Все они шли с сердцами, преисполненными праха, и весело разговаривали, встречая не воскресение, а грядущую праздничную суету. Но и они остановились в смятении, почувствовав приближение воскресшего.

Он также остановился перед ними и сказал:

— Вы — люди века сего и духом века своего руководитесь. Стяжание и любоначалие — вот двигатели ваших действий. Зло наполнило все содержание вашей жизни, но вы так легко несете иго зла, что ни единый скрупул вашей совести

не дрогнул перед будущим, которое готовит вам это иго. Все окружающее вас представляется как бы призванным служить вам. Но не потому овладели вы вселенною, что сильны сами по себе, а потому, что сила унаследована вами от предков. С тех пор вы со всех сторон защищены, и сильные мира считают вас присными. С тех пор вы идете с огнем и мечом вперед и вперед; вы крадете и убиваете, безнаказанно изрыгая хулу на законы божеские и человеческие, и тщеславитесь, что таково искони унаследованное вами право. Но говорю вам: придет время — и недалеко оно, — когда мечтания ваши рассеются в прах. Слабые также познают свою силу; вы же сознаете свое ничтожество перед этою силой. Предвидели ли вы когда-нибудь этот грозный час? смущало ли вас это предвидение за себя и за детей ваших?

Грешники безмолвствовали на этот вопрос. Они стояли, потупив взоры и как бы ожидая еще горшего. Тогда воскресший продолжал:

— Но во имя моего воскресения я и перед вами открываю путь к спасению. Этот путь — суд вашей собственной совести. Она раскроет перед вами ваше прошлое во всей его наготе; она вызовет тени погубленных вами и поставит их

на страже у изголовий ваших. Скрежет зубовный наполнит дома ваши; жены не познают мужей, дети — отцов. Но когда сердца ваши засохнут от скорби и тоски, когда ваша совесть переполнится, как чаша, не могущая вместить переполняющей ее горечи, — тогда тени погубленных примирятся с вами и откроют вам путь к спасению. И не будет тогда ни татей, ни душегубцев, ни мздоимцев, ни ханжей, ни неправедных властителей, и все одинаково возвеселятся за общею трапезой в обители моей. Идите же и знайте, что слово мое — истина!

В эту самую минуту восток заалел, и в редеющем сумраке леса выступила безобразная человеческая масса, качающаяся на осине. Голова повесившегося, почти оторванная от туловища, свесилась книзу; вороны уже выклевали у нее глаза и выели щеки. Самое туловище было по местам обнажено от одежд и, зияя гнойными ранами, размахивало по ветру руками. Стая хищных птиц кружилась над телом, а более смелые бесстрашно продолжали дело разрушения.

То было тело предателя, который сам совершил суд над собой.

Все предстоявшие с ужасом и отвращением отвернулись от представившегося зрелища; взор

воскресшего воспылал гневом.

— О, предатель! — сказал он. — Ты думал, что вольною смертью избавился от давившей тебя измены; ты скоро сознал свой позор и поспешил окончить расчеты с постыдною жизнью. Преступление так ясно выступило перед тобой, что ты с ужасом отступил перед общим презрением и предпочел ему душевное погубление. «Единый миг, — сказал ты себе, — и душа моя погрузится в безрассветный мрак, а сердце перестанет быть доступным угрызениям совести». Но да не будет так. Сойди с древа, предатель! да возвратятся тебе выклеванные очи твои, да закроются гнойные раны и да восстановится позорный твой облик в том же виде, в каком он был в ту минуту, когда ты лобзал предаваемого тобой. Живи!

По этому слову перед глазами у всех предатель сошел с древа и пал на землю перед воскресшим, моля его о возвращении смерти.

— Я всем указал путь к спасению, — продолжал воскресший, — но для тебя, предатель, он закрыт навсегда. Ты проклят богом и людьми, проклят на веки веков. Ты не убил друга, раскрывшего перед тобой душу, а застиг его врасплох и предал на казнь и поругание. За это я осуждаю тебя на жизнь. Ты будешь ходить из града в град,

из веси в весь и нигде не найдешь крова, который бы приютил тебя. Ты будешь стучаться в двери — и никто не отворит их тебе; ты будешь умолять о хлебе — и тебе подадут камень; ты будешь жаждать — и тебе подадут сосуд, наполненный кровью Преданного тобой. Ты будешь плакать, и слезы твои превратятся в потоки огненные, будут жечь твои щеки и покрывать их струпьями. Камни, по которым ты пойдешь, будут вопиять: «Предатель! будь проклят!» Люди на торжищах расступятся перед тобой, и на всех лицах ты прочтешь: «Предатель! будь проклят!» Ты будешь искать смерти и на суше, и на водах — и везде смерть отвратится от тебя и прошипит: «Предатель! будь проклят!» Мало того: на время судьба сжалится над тобою, ты обретешь друга и предашь его, и этот друг из глубины темницы возопит к тебе: «Предатель! будь проклят!» Ты получишь способность творить добро, но добро это отравит души облагодетельствованных тобой. «Будь проклят, предатель! — возопиют они. — Будь проклят и ты, и все дела твои!» И будешь ты ходить из века в век с неусыпающим червем в сердце, с погубленною душою. Живи, проклятый! и будь для грядущих поколений свидетельством той бесконечной казни,

которая ожидает предательство. Встань, возьми вместо посоха древесный сук, на котором ты чаял найти смерть, — и иди!

И едва замерло в воздухе слово воскресшего, как предатель встал с земли, взял свой посох, и скоро шаги его смолкли в той необъятной, загадочной дали, где его ждала жизнь из века в век. И ходит он доднесь по земле, рассеивая смуту, измену и рознь.

1886

Н. С. Лесков

Фигура

ГЛАВА 1

Когда я еще просвещался в Киеве и в отдаленных думах не имел заниматься писательством, у меня завязалось одно знакомство с бедным, но благородным семейством, жившим в маленьком собственном домике в самом отдаленном краю города, близ упраздненного Кирилловского монастыря. Семейство состояло из двух пожилых сестер, девушек, и из третьей — старушки, их тетки, — тоже девушки. Жили они скромно, на очень маленькую пенсию и на доход от своих коров и от своего огорода. В гостях у них бывали только три человека: известный русский аболиционист Дмитрий Петрович Журавский, я и еще оригинальный, с виду совсем похожий на крестьянина человек, которого фамилия была Вигура, но все называли его «Фигура».

Об нем здесь и будет поминальная речь.

ГЛАВА 2

Фигура, или, по малороссийскому простому

выговору, «Хвыгура», во время моего знакомства имел лет около шестидесяти, но обладал еще значительною силою и никогда не жаловался на нездоровье. Он имел огромный рост и атлетическое сложение: волосы у него были густые, коричневые, почти без проседи, но усы «сивые». По собственному его выражению, он «сивив з морды — як пес», то есть седел, начиная не с головы, а с усов — как седеют старые собаки. Борода у него тоже была бы седая, но он ее брил. Глаза у Фигуры были большие, серые с поволокою, губы румяные, цвет лица смуглый и загорелый. Взгляд его имел выражение смелое, умное и с оттенком затаенной малороссийской иронии.

Жил Фигура совершенным, настоящим подгородным мужиком, на предместии Куриневке, «у своей господи», то есть в собственной усадьбе и при собственном хозяйстве, которое вел в сотрудничестве молодой и чрезвычайно красивой крестьянки Христи. Фигура все работал своими собственными руками и все содержал в простом, но безукоризненном порядке. Он сам «копал огород», сам его возделывал и засевал овощами и сам же вывозил эти овощи на Подол, на Житний базар, где становился со своею телегою в ряду с другими приезжими мужиками и продавал

свои огурцы, га́рбузы (тыквы), дыни, капусту, бураки и репку.

Торговал Фигура лучше других, потому что его овощи всегда отличались лучшим достоинством. Особенно славились его нежные и сладкие тыквы, чрезвычайно больших размеров, доходившие иногда до пуда веса.

Также и огурцы, и бураки, и капуста — все у Фигуры было самое рослое и самое лучшее.

Перекупки подольского Житнего базара знали, что «проть Хвыгуры вже не учкнешь», — то есть лучше его ни у кого не достанешь, — но он не любил продавать перекупкам, «щоб людей не мордовали», а продавал прямо «людям», то есть прямым потребителям.

К перекупам и перекупкам Фигура «мав зуба» (имел зуб) и любил проникать хитрости этих людей и их вышучивать. Как, бывало, перекуп или перекупка ни переоденутся или кого ни подошлют к возу с подсылом, чтобы забрать товар у Фигуры, — он, бывало, это сейчас проникнет и на вопрос, «почем копа́» — отвечает:

— По деньгам, але тыльки шкода що не для твоей милости.

Если же подсыльный станет уверять, что он простой человек и торгует «для сибе», то Фигура,

не вынимая из губ трубки, скажет ему:

— Эге! ну, не юлы — бо не покуришь! — и больше не станет разговаривать.

Фигуру все знали на базаре и знали, что он «як бы то не с простых людей, а тильки опростывся», но настоящего его чина и звания и того — почему он так «опростывся», — не знали и узнать этого не добивались.

Я тоже долго этого не знал, а настоящего его чина и теперь не знаю.

ГЛАВА 3

Домик у Фигуры был обыкновенная малороссийская мазанка, разделенная, впрочем, на комнатку и кухню. Ел он пищу всегда растительную и молочную, но самую простую — крестьянскую, которую ему готовила вышеупомянутая замечательной красоты хохлушка Христя. Христя была «покрытка», то есть девушка, имевшая дитя. Дитя это была прехорошенькая девочка по имени Катря. По соседству думали, что она «хвыгурина дочка́», но Фигура на это делал гримасу и, пыхнув губами, отвечал:

— Так-то оно и есть, що моя! Правда, що як бог мени дав щасте, щоб ее кормить, то тим вона теперечки моя, — а кто ее на свит бидовать пустив,

то я вже того добродия не знаю. Але як кто хоче — нехай так и личе: як моя — то нехай моя, — мени все едино.

Но насчет Катри еще немножко сомневались; а что касается самой красавицы Христи, то ее уже считали за «дружину» Фигуры без всяких сомнений. Фигура и к этому тоже пребывал равнодушен, и если ему кто-нибудь Христей подшучивал, так он отвечал только:

— А вам хиба зáвидно?

Зато же и Фигура, и Христя, да и ни в чем не повинная Катря несли епитимию: из них трех никто не употреблял в пищу ни мяса, ни рыб — словом, ничего, имеющего сознание жизни.

Куриневские жинки знали, за что эта епитимия положена.

Фигура же только усмехался и говорил:

— Дуры!

ГЛАВА 4

Отношения у Христи с Фигурою были премилые, но такие, что ничего ясно не раскрывали.

Христя держалась в доме не как наймычка при хозяйке, а как будто своя родная, живущая у родственника. Она «тягала воду» из колодца, мыла полы, и хату мазала, и белье стирала,

и шила себе, Катре и Фигуре, но коров не доила, потому что коровы были «мощные», и их выдаивал сам Фигура соответственными к сему великомощными руками. Обедали они все трое за одним столом, к которому Христя «подносила» и «убирала». Чаю не пили вовсе, «бо це пуста повадка», а в праздники пили сушеные вишни или малину — и опять все за одним столом. Гости у них бывали только те пожилые барышни, Журавский да я. При нас Христя «бигала и митусилась», то есть хлопотала, и ее с трудом можно было усадить на минуту; но когда гости вставали, чтоб уходить, Христя быстро срывалась с места и неудержимо стремилась подавать всем верхнее платье и калоши. Гости сопротивлялись ее услугам, но она настаивала, и Фигура за нее заступался; он говорил гостям:

— Позвольте ей свою присягу исполнить.

Христя успокаивалась только тогда, когда гости позволяли ей себя «одеть и обуть, як слид по закону». В этом была «ее присяга» — ее служебное назначение, которому простодушная красавица оставалась преданною и верной.

В разговоре между собою Фигура и Христя относились друг к другу в разных формах: Фигура говорил ей «ты» и называл ее Христино или Хри-

стя, а она ему говорила «вы» и называла его по имени и отчеству. Девочку Катрю оба они называли «дочкою», а она кликала Фигуру «татою», а Христю «мамой». Катре было девять лет, и она была вся в мать — красавица.

ГЛАВА 5

Родственных связей ни у Фигуры, ни у Христи никаких не было. Христя была «безродна сыротина», а у Фигуры (правильно Вигуры) хотя и были родственники, из которых один служил даже в университете профессором, — но наш куриневский Фигура с этими Вигурами никаких сношений не имел — «бо воны з панами знались», а это, по мнению Фигуры, не то что нехорошо, а «якось — не до шмыги» (то есть не идет ему).

— Бог их церковный знае: они вже може яки асессоры, чи якись таки сяки советники, а мы, як и з рыла бачите — из простых свиней.

В основе же своего характера и всех поступков куриневский Фигура был такая оригинальная личность, что даже снимает всю нелепость с пословицы, внушающей ценить человека битого — дороже небитого.

Вот один его поступок, имевший значение

для всей его жизни, которая через этот самый поступок и определилась. О нем едва ли кто знал и едва ли знает, а я об этом слышал от самого Фигуры и перескажу, как помню.

ГЛАВА 6

Я жил в Киеве, в очень многолюдном месте, между двумя храмами — Михайловским и Софийским, — и тут еще стояли тогда две деревянные церкви. В праздники здесь было так много звона, что бывало трудно выдержать, а внизу по всем улицам, сходящим к Крещатику, были кабаки и пивные, а на площадке балаганы и качели. Ото всего этого я спасался на такие дни к Фигуре. Там были тишина и покой: играло на травке красивое дитя, светили добрые женские очи и тихо разговаривал всегда разумный и всегда трезвый Фигура.

Раз я ему и стал жаловаться на беспокойство, спозаранку начавшееся в моем квартале, а он отвечает:

— И не говорите. Я сам нашего русского празднования с детства переносить не могу, и все до сих пор боюсь: как бы какой беды не было. Бывало, нас кадетами проводят под качели и еще говорят: «Смотрите — это народное!» А мне еще

и тогда казалось: что тут хорошего — хоть бы это и народное! У Исаии пророка читается: «праздники ваши ненавидит душа моя», — и я недаром имел предчувствие, что со мною когда-нибудь в этом разгуле дурное случится. Так и вышло, да только хорошо, что все дурное тогда для меня поворотилось на доброе.

— А можно узнать, что это такое было?

— Я думаю, что можно. Видите… это еще когда вы у бабушки в рукаве сидели, — тогда у нас были две армии: одна называлась первая, а другая — вторая. Я служил под Сакеном… Вот тот самый Ерофеич, что и теперь еще всё акафисты читает. Великий, бог с ним, был богомолец, все на коленях молился, а то еще на пол ляжет и лежит, и лежит долго, и куда ни идет, и что ни берет — все крестится. Ему тогда и многие другие в этом в армии старались подражать и заискивали, чтоб он их видел… Которые умели — хорошо выходило… И мне это раз помогло так, что я за это до сих пор пенсию получаю. Вот каким это было случаем.

ГЛАВА 7

Полк наш стоял на юге, в городе, — тут же был и штаб сего Ерофеича. И попало мне идти в ка-

раул к погребам с порохом под самое Светлое Воскресенье. Заступил я в караул в двенадцать часов дня в Чистую субботу, и стоять мне до двенадцати часов в воскресенье.

Со мною мои армейские солдаты, сорок два человека, и шесть объездных казаков.

Стал надходить вечер, и мне вдруг начало делаться чего-то очень грустно. Молодой человек был, и привязанности были семейные. Родители еще были живы и сестра… но, самое главное, и драгоценнейшее мати… мати моя добродетельница!.. Чудесная у меня была мати — предобрая и пренепорочная — добром окрытая и в добре повитая… До того была милостива, что никого не могла огорчить, ни человека, ни животного, — даже ни мяса, ни рыбы не кушала, из сожаления к животным. Отец, бывало, спорит: «Помилуй, скажи: сколько ж их разродится? Деваться будет некуда». А она отвечает: «Ну, это еще когда-то будет, а я этих сама выкормила, так они мне как родные. Я не могу своих родных есть». И у соседей не ела: «Этих, — говорила, — я живых видела: они мне знакомые, — не могу есть своих знакомых». А потом и незнакомых не стала кушать. «Все равно, — говорит, — с ними убийство сделано». Священник ее уговаривал, что «это

от Бога показано», и в требнике на освящение мясов молитву показывал, но ее не переспорил. «Ну и хорошо, — отвечала она, — як вы прочитали, то вы и кушайте». Священник сказал отцу, что это всё делают какие-нибудь «поныряющие в домы и прельщающие женища, всегда учащеся и ни коли же в разум прийти могущие». А мать говорит отцу: «Се пустое: я никаких поныряющих не знаю, а так просто противно мне, чтобы одно другое поедало».

Я о моей матери никогда не могу воспоминать спокойно, — непременно расстроюсь. Так случилось и тогда. Скучно по матери! Хожу-похожу, соломинку зубами со скуки кусаю и думаю: вот она теперь всех провожает в село, с вечера на заутреню, а сама сироток сберет, неодетых, невычесанных, — всех сама у печки перемоет, головенки им вычешет и чистые рубахи наденет… Как с ней радостно! Если бы я не дворянин был, я при ней бы и жил, и работал бы, а не в карауле стоял. Что мы такое караулим?.. Все для смертного бою… А впрочем, что я так очень скучаю… — Стыдно!.. Я ведь жалованье за службу получаю и чинов заслуживаю, а вон солдат — он совсем безнадежный человек, да еще бьют его без милосердия, — ему куда для сравнения тя-

желее… а ведь живет же, терпит и не куксится… Бодрости себе надо поддать — все и пройдет. Что, думаю, самое лучшее может человек сделать, если ему самому тяжело? То, другое, третье приходит в голову, и, наконец, опять самое ясное приходит от матери: она, бывало, говорит: «Когда самому худо, тогда поспеши к тем, кому еще хуже, чем тебе»… Ну вот, солдатам хуже, чем мне…

Давай, думаю, я чем-нибудь солдат бедных обрадую! Угощу их, что ли, чаем напою, — разговеюсь с ними на мои гроши!

Понравилось.

ГЛАВА 8

Я позвал вестового, даю ему из своего кошелька денег и посылаю, чтобы купил четверть фунта чаю, да три фунта сахару, да копу крашенок (шестьдесят красных яиц), да хлеба шафранного на всё, сколько останется. Прибавил бы еще более, да у самого не было.

Вестовой сбегал и все принес, а я сел к столику, колю и раскладываю по кусочкам сахар — и очень занялся тем: по скольку кусков на всех людей достанется.

И хоть небольшая забота, а сейчас, как я этим занялся, так и скука у меня прошла, и я даже

радостно сижу да кусочки отсчитываю и думаю: простые люди — с ними никто не нежничает, — им и это участие приятно будет. Как услышу, что отпустный звон прозвонят и люди из церкви пойдут, я поздороваюсь — скажу: «Ребята! Христос воскресе!» и предложу им это мое угощение.

А стояли мы в карауле за городом, как всегда пороховые погреба бывают вдалеке от жилья, а кордегардией у нас служили сени одного пустого погреба, в котором в эту пору пороху не было. Тут в сенях и солдаты, и я, — часовые наружи, а казаки — трое с солдатами, а трое в разъезд уехали.

Из города нам, однако, звон слышен, и огни кое-как мелькают. Да и по часам я сообразил, что уже время церковной службы непременно скоро кончится — скоро, должно быть, наступит пора поздравлять и потчевать. Я встал, чтобы обойти посты, и вдруг слышу шум… дерутся… Я — туда, а мне летит что-то под ноги, и в ту же минуту я получаю пощечину… Что вы смотрите? Да — настоящую пощечину, и трах — с одного плеча эполета прочь!

Что такое?.. Кто меня бьет?

И главное дело — темно.

— Ребята! — кричу, — братцы! Что это делает-

ся? — Солдаты узнали мой голос и отвечают:

— Казаки, ваше благородие, винища облопались!.. дерутся.

— Кто же это на меня бросился?

— И вас, ваше благородие, это казак по морде ударил. Вон он и есть — в ногах лежит без памяти, а двух там на погребице вяжут. Рубиться хотели.

ГЛАВА 9

Все вдруг в голове у меня засуетилось и перепуталось. Тягчайшее оскорбление! Молодо-зелено, на все еще я тогда смотрел не своими глазами, а как задолбил, и рассуждение тоже было не свое, а чужое, вдолбленное, как принято. «*Тебя* ударили — так это бесчестие, а если *ты* побьешь на отместку, — тогда ничего — тогда это тебе честь...» Убить его, этого казака, я должен!.. зарубить его на месте!.. А я не зарубил. Теперь куда же я годен? Я битый по щеке офицер. Все, значит, для меня кончено?.. Кинусь — заколю его! Непременно надо заколоть! Он ведь у меня честь взял, он всю карьеру мою испортил. Убить! за это сейчас убить его! Суд оправдает или не оправдает, но честь спасена будет.

А в глубине кто-то и говорит: «Не убий!» Это

я понял, кто! — Это так бог говорит: на это у меня, в душе моей, явилось удостоверение. Такое, знаете, крепкое, несомненное удостоверение, что и доказывать не надо, и своротить нельзя. Бог! Он ведь старше и выше самого Сакена. Сакен откомандует, да когда-нибудь со звездой в отставку выйдет, а бог-то веки веков будет всей вселенной командовать! А если он мне не позволяет убить того, кто меня бил, так что мне с ним делать? Что сделать? С кем посоветуюсь?.. Всего лучше с тем, кто сам это вынес. Иисус Христос!.. Тебя самого били?.. Тебя били, и ты простил… а я что пред тобою… я червь… гадость… ничтожество! Я хочу быть *твой*: я простил! я *твой* …

Вот только плакать хочется!.. плачу и плачу!

Люди думают, что я это от обиды, а я уже — понимаете… я уже совсем не от обиды…

Солдаты говорят:

— Мы его убьем!

— Что вы!.. Бог с вами!.. Нельзя человека убивать!

Спрашиваю старшего:

— Куда его дели?

— Мы, — говорит, — ему руки связали и в погреб его бросили.

— Развяжите его скорее и приведите сюда.

Пошли его развязать, и вдруг дверь из погреба наотмашь распахнулась, и этот казак летит на меня прямо, как по воздуху, и, точно сноп, опять упал в ноги и вопит:

— Ваше благородие!.. я несчастный человек!..

— Конечно, — говорю, — несчастный.

— Что со мною сделали!..

И плачет горестно так, что даже ревет.

— Встань! — говорю.

— Не могу встать, я еще в исступлении…

— Отчего ты в исступлении?

— Я непитущий, а меня напоили… У меня дома жена молодая и детки… и отцы старички старые… Что я наделал?..

— Кто тебя упоил?

— Товарищи, ваше благородие, — заставили за живых и за мертвых в перезвон пить… Я непитущий!

И рассказал, что заехали они в шинок, и стали его товарищи неволить — выпить для Светлого Христова Воскресения, в самый первый звон, — чтобы всем живым и умершим «легонько взгадалося», — один товарищ поднес ему чару, а другой — другую, а третью он уже сам купил и других потчевал, а дальше не помнит, что ему пришло в голову на меня броситься, и ударить,

и эполет сорвать.

Вот вам и приключение! Теперь валяется в ногах, плачет, как дитя, и весь хмель сошел… Стонет:

— Детки мои, голубятки мои!.. Старички мои жалостные!.. Женка бессчастная!..

ГЛАВА 10

Убивается бедняга, и люди все на него смотрят, и — вижу, и им тягостно, а мне еще более всех тяжело. А меж тем как я немножко раздумался, сердце-то у меня уж назад пошло: рассуждать опять начинаю: ударь он меня наедине, я и минуты бы одной не колебался — сказал бы: «Иди с миром и вперед так не делай». Но ведь это все произошло при подначальных людях, которым я должен подавать первый пример…

И вдруг это слово опять меня спасительно уловляет… какой такой нам подан *первый пример*? Я ведь не могу же это забыть… я ведь не могу же, чтобы Иисуса вспоминать, а при том ему совсем напротив над людьми делать…

«Нет, — думаю, — этого нельзя: я спутался — лучше я отстраню от себя это пока… хоть на время, а скажу только то, что надо по правилу…»

Взял в руки яйцо и хотел сказать: «Христос

воскрес!» — но чувствую, что вот ведь я уже и схитрил. Теперь я не *его* — я *ему* уж чужой стал… Я этого не хочу… не желаю от *него* увольняться. А зачем же я делаю, как те, кому с *ним* тяжело было… который говорил: «Господи, выйди от меня: я человек грешный!» Без *него* — то, конечно, полегче… Без *него*, пожалуй, со всеми уживешься… ко всем подделаешься…

А я этого не хочу! Не хочу, чтобы мне легче было! Не хочу!

Я другое вспомнил… Я его не попрошу уйти, а еще позову… Приди — ближе! и зачитал: «Христе, свете истинный, просвещяй и освещяй всякого человека, грядущего в мир…»

Между солдатами вдруг внимание… кто-то и повторил:

— «Всякого человека!»

— Да, — говорю, — «всякого человека, грядущего в мир», — и такой смысл придаю, что он просвещает того, кто приходит от вражды к *миру*. И еще сильнее голосом воззвал: — «Да знаменуется на нас, грешных, свет твоего лица!»

— «Да знаменуется!.. да знаменуется!» — враз, одним дыханием продохнули солдаты… Все содрогнулись… все всхлипывают… все неприступный свет узрели и к нему сунулись…

— Братцы! — говорю. — Будем молчать!

Враз все поняли.

— Язык пусть нам отсохнет, — отвечают, — ничего не скажем.

— Ну, — я говорю, — значит, Христос воскрес! — и поцеловал первого побившего меня казака, а потом стал и с другими целоваться. «Христос воскрес!»

— «Воистину воскрес!»

И вправду, обнимали мы друг друга радостно. А казак все плакал и говорил: «Я в Иерусалим пойду бога молить… священника упрошу, чтобы мне питинью наложил».

— Бог с тобой, — говорю, — еще лучше и в Иерусалим не ходи, а только водки не пей.

— Нет, — плачет, — я, ваше благородие, и водки не буду пить, и пойду к батюшке…

— Ну, как знаешь.

Пришла смена, и мы возвратились, и я отрапортовал, что все было благополучно, и солдаты все молчали; но случилось так, однако, что секрет наш вышел наружу.

ГЛАВА 11

На третий день праздника призывает меня к себе командир, запирается в кабинет и говорит:

— Как это вы, сменившись последний раз с караула, рапортовали, что у вас все было благополучно, когда у вас было ужасное происшествие!

Я отвечаю:

— Точно так, господин полковник, происшествие было нехорошее, но бог нас вразумил, и все кончилось благополучно.

— Нижний чин оскорбил офицера и остается без наказания… и вы это считаете благополучным? Да у вас что же — нет, что ли, ни субординации, ни благородной гордости?

— Господин полковник, — говорю, — казак был человек непьющий и обезумел, потому что его опоили.

— Пьянство — не оправдание!

— Я, — говорю, — не считаю за оправдание, — пьянство — пагуба, но я духу в себе не нашел доносить, чтобы за меня безрассудного человека наказывали. Виноват, господин полковник, я простил.

— Вы не имели права прощать!

— Очень знаю, господин полковник, не мог выдержать.

— Вы после этого не можете более оставаться на службе.

— Я готов выйти.

— Да; подавайте в отставку.

— Слушаю-с.

— Мне вас жалко, — но поступок ваш есть непозволительный. Пеняйте на себя и на того, кто вам внушил такие правила.

Мне стало от этих слов грустно, и я попросил извинения и сказал, что я пенять ни на кого не буду, а особенно на того, кто мне внушил такие правила, потому что я взял себе эти правила из христианского учения.

Полковнику это ужасно не понравилось.

— Что, — говорит, — вы мне с христианством! Ведь я не богатый купец и не барыня. Я ни на колокола не могу жертвовать, ни ковров вышивать не умею, а я с вас службу требую. Военный человек должен почерпать христианские правила из своей присяги, а если вы чего-нибудь не умели согласовать, так вы могли на все получить совет от священника. И вам должно быть очень стыдно, что казак, который вас прибил, лучше знал, что надо делать: он явился и открыл свою совесть священнику! Его это одно и спасло, а не ваше прощение. Дмитрий Ерофеич простил его не для вас, а для священника, а солдаты все, которые были с вами в карауле, будут раскассированы. Вот чем ваше христианство для них кончилось. А вы

сами пожалуйте к Сакену; он сам с вами поговорит — ему и рассказывайте про христианство: он церковное писание все равно как военный устав знает. А все, извините, о вас того мнения, что вы, извините, получив пощечину, изволили прощать единственно с тем, чтобы это бесчестие вам не помешало на службе остаться… Нельзя! Ваши товарищи с вами служить не желают.

Это мне, по тогдашней моей молодости, показалось жестоко и обидно.

— Слушаю-с, — говорю, — господин полковник, я пойду к графу Сакену и доложу все, как дело было, и объясню, чему я подчинился — все доложу по совести. Может быть, он иначе взглянет.

Командир рукой махнул.

— Говорите, что хотите, но знайте, что вам ничто не поможет. Сакен церковные уставы знает — это правда, но, однако, он все-таки пока еще исполняет военные. Он еще в архиереи не постригся.

Тогда между военными ходили разные нелепые слухи о Сакене: одни говорили, будто он имеет видения и знает от ангела — когда надо начинать бой; другие рассказывали вещи еще более чудные, а полковой казначей, имевший большой круг знакомства с купцами, уверял, буд-

то Филарет московский говорил графу Протасову: «Если я умру, то Боже вас сохрани, не делайте обер-прокурором Муравьева, а митрополитом московским — киевского ректора (Иннокентия Борисова). Они только хороши кажутся, а хорошо не сделают; а вы ставьте на свое место Сакена, а на мое — самого смирного монаха. Иначе я вам в темном блеске являться стану».

ГЛАВА 12

Я тогда ни за что не хотел, чтобы Сакен допускал, будто я простил и скрыл полученную мною пощечину из-за того, чтобы мне можно было на службе оставаться. Ужасная глупость! Не все ли это равно? Теперь это кажется смешно, а в тогдашнем диком состоянии я в самом деле полагал немножко свою честь в таких пустяках, как постороннее мнение… Ночей не спал: одну ночь в карауле не спал, а потом три ночи не спал от волнения… Обидно было, что товарищи обо мне нехорошо думают и что Сакен обо мне нехорошо думает! Надо, видите, так, чтобы все о нас хорошо думали!..

Опять из-за этого всю ночь не спал и на другой день встал рано и являюсь утром в сакенскую приемную. Там был только еще один аудитор,

а потом и другие стали собираться. Жужжат между собою потихонечку, а у меня знакомых нет — я молчу и чувствую, что в сон меня клонит, — совсем некстати. А глаза так и слипаются. И долго я тут со всеми вместе ожидал Сакена, потому что он в этот день, как нарочно, не выходил: все у себя в спальне перед чудотворной иконой молился. Он ведь был страшно богомолен: непременно каждый день читал утренние и вечерние молитвы и три акафиста, а то иногда зайдется до бесконечности. Случалось, до того уставал на коленях стоять, что даже падал и на ковре ничком лежал, а все молился. Мешать ему или как-нибудь перебить молитву считалось — боже сохрани! На это, кажется, даже при штурме никто бы не отважился, потому что помешать ему — все равно что дитя разбудить, когда оно не выспалось. Начнет кукситься и капризничать, и тогда его ничем не успокоишь. Адъютанты у него это знали, — иные и сами тоже были богомолы, — другие притворялись. Он не разбирал и всех таких любил и поощрял.

Как только, бывало, он покажется, штабные сейчас различали, если он намолился, и тогда в хорошем расположении, и все бумаги несли, потому что, намолившись, он добр и тогда все

подпишет.

На мою долю как раз такое счастие и досталось: как Сакен вышел ко всем в приемную, так один опытный говорит мне:

— Вы хорошо попали; нынче его обо всем можно просить; он теперь намолившись.

Я полюбопытствовал:

— Почему это заметно?

Опытный отвечает:

— Разве не видите — у него колени белеются, и над бровями светлые пятнышки… как будто свет сияет… Значит, будет ласковый.

Я сияния над бровями не отличил, а панталоны у него на коленях действительно были побелевши.

Со всеми он переговорил и всех отпустил, а меня оставил на самый послед и велел за собою в кабинет идти.

«Ну, — думаю, — тут будет развязка». И сон прошел.

ГЛАВА 13

В кабинете у него большая икона в дорогой ризе, на особом возвышении, и трисоставная лампада в три огня горит.

Сакен прежде всего подошел к иконе, перекре-

стился и поклонился в землю, а потом обернулся ко мне и говорит:

— Ваш полковой командир за вас заступается. Он вас даже хвалит — говорит, что вы были хороший офицер, но я не могу, чтобы вас оставить на службе!

Я отвечаю, что я об этом и не прошу.

— Не просите! Почему же не просите?

— Я знаю, что это нельзя, и не прошу о невозможном.

— Вы горды!

— Никак нет.

— Почему же вы так говорите — «о невозможном»? Французский дух! гордость! У бога все возможно! Гордость!

— Во мне нет гордости.

— Вздор!.. Я вижу. Все французская болезнь!.. своеволие!.. Хотите все по-своему сделать!.. Но вас я действительно оставить не могу. Надо мною тоже выше начальство есть… Эта ваша вольнодумная выходка может дойти до государя… Что это вам пришла за фантазия!..

— Казак, — говорю, — по дурному примеру напился пьян до безумия и ударил меня без всякого сознания.

— А вы ему это простили?

— Да, я не мог не простить!..

— На каком же основании?

— Так, по влиянию сердца.

— Гм!.. сердце!.. На службе прежде всего долг службы, а не сердце… Вы, по крайней мере, раскаиваетесь?

— Я не мог иначе.

— Значит, даже и не каетесь?

— Нет.

— И не жалеете?

— О нем я жалею, а о себе нет.

— И еще бы во второй раз, пожалуй, простили?

— Во второй раз, я думаю, даже легче будет.

— Вон как!.. вон как у нас!.. солдат его по одной щеке ударил, а он еще другую готов подставить.

Я подумал: «Цыц! не смей этим шутить!» — и молча посмотрел на него с таковым выражением.

Он как бы смутился, но опять по-генеральски напетушился и задает:

— А где же у вас гордость?

— Я сейчас имел честь вам доложить, что у меня нет гордости.

— Вы дворянин?

— Я из дворян.

— И что же, этой… noblesse oblige… дворянской

гордости у вас тоже нет?

— Тоже нет.

— Дворянин без всякой гордости? — Я молчал, а сам думал: «Ну да, ну да: дворянин. — И без всякой гордости: — Ну что же ты со мной поделаешь?»

А он не отстает — говорит:

— Что же вы молчите? Я вас спрашиваю об этой — о благородной гордости?

Я опять промолчал, но он еще повторяет:

— Я вас спрашиваю о *благородной гордости*, которая возвышает человека. Сирах велел «пещись об имени своем»…

Тогда я, чувствуя себя уже как бы отставным и потому человеком свободным, ответил, что я ни про какую благородную гордость ничего в Евангелии не встречал, а читал про одну только гордость сатаны, которая противна богу.

Сакен вдруг отступил и говорит:

— Перекреститесь!.. Слышите: я вам приказываю, сейчас перекреститесь!

Я перекрестился.

— Еще раз!

Я опять перекрестился.

— И еще… до трех раз!

Я и в третий раз перекрестился.

Тогда он подошел ко мне и сам меня перекрестил и прошептал:

— Не надо про сатану! Вы ведь православный?

— Православный.

— За вас восприемники у купели отреклись от сатаны… и от гордыни, и от всех дел его, и на него плюнули. Он бунтовщик и отец лжи. Плюньте сейчас.

Я плюнул.

— И еще!

Я еще плюнул.

— Хорошенько!.. До трех раз на него плюньте!

Я плюнул, и Сакен сам плюнул и ногою растер. Всего сатану мы оплевали.

— Вот так!.. А теперь… скажите, того… Что же вы будете с собой делать в отставке?

— Не знаю еще.

— У вас есть состояние?

— Нет.

— Нехорошо! Родственники со связями есть?

— Тоже нет.

— Скверно! На кого же вы надеетесь?

— Не на князей и не на сынов человеческих: воробей не пропадает у бога, и я не пропаду.

— Ого-го, как вы, однако, начитаны!.. Хотите в монахи?

— Никак нет — не хочу.

— Отчего? Я могу написать Иннокентию.

— Я не чувствую призвания в монахи.

— Чего же вы хотите?

— Я хочу только того, чтобы вы не думали, что я умолчал о полученном мною ударе из-за того, чтобы остаться на службе: я это сделал просто…

— Спасти свою душу! Понимаю вас, понимаю! я вам потому и говорю: идите в монахи.

— Нет, я в монахи не могу, и спасать свою душу не думал, а просто я пожалел другого человека, чтобы его не били насмерть палками.

— Наказание бывает человеку в пользу. «Любяй наказует». Вы не дочитали… А впрочем, мне вас все-таки жалко. Вы пострадали!.. Хотите в комиссариатскую комиссию?

— Нет, благодарю покорно.

— Это отчего?

— Я не знаю, право, как вам об этом правдивее доложить… я туда неспособен.

— Ну, в провианты?

— Тоже не гожусь.

— Ну, в цейхвартеры! — там, случается, бывают люди и честные.

Так он меня этим своим разговором отяготил, что я просто будто замагнитизировался и спать

хочу до самой невозможности.

А Сакен стоит передо мною — и мерно, в такт головою покачивает и, загиная одною рукою пальцы другой руки, вычисляет:

— В Писании начитан; благородной гордости не имеет; по лицу бит; в комиссариат не хочет; в провиантские не хочет и в монахи не хочет! Но я, кажется, понял вас, почему вы не хотите в монахи: вы влюблены?

А мне только спать хочется.

— Никак нет, — говорю, — я ни в кого не влюблен.

— Жениться не намерены?

— Нет.

— Отчего?

— У меня слабый характер.

— Это видно! Это сразу видно! Но что же вы застенчивы, — вы боитесь женщин… да?

— Некоторых боюсь.

— И хорошо делаете! Женщины суетны и… есть очень злые, но ведь не все женщины злы и не все обманывают.

— Я сам боюсь быть обманщиком.

— То есть… Как?.. Для чего?

— Я не надеюсь сделать женщину счастливой.

— Почему? Боитесь несходства характеров?

— Да, — говорю, — женщина может не одобрять то, что я считаю за хорошее, и наоборот.

— А вы ей докажите.

— Доказать все можно, но от этого выходят только споры и человек делается хуже, а не лучше.

— А вы и споров не любите?

— Терпеть не могу.

— Так ступайте же, мой милый, в монахи! Что же вам такое?! Ведь вам в монахах отлично будет с вашим настроением.

— Не думаю.

— Почему? Почему не думаете-то? Почему?

— Призвания нет.

— А вот вы и ошибаетесь — прощать обиды, безбрачная жизнь… это и есть монастырское призвание. А дальше что же еще остается трудное? — мяса не есть. Этого, что ли, вы боитесь? Но ведь это не так строго…

— Я мяса совсем никогда не ем.

— А зато у них прекрасные рыбы.

— Я и рыбы не ем.

— Как, и рыб не едите? Отчего?

— Мне неприятно.

— Отчего же это может быть неприятно — рыб есть?

— Должно быть, врожденное — моя мать не ела тел убитых животных и рыб тоже не ела.

— Как странно! Значит, вы так и едите одно грибное да зелень?

— Да, и молоко и яйца. Мало ли еще что можно есть!

— Ну так вы и сами себя не знаете: вы природный монах, вам даже схиму дадут. Очень рад! очень рад! Я вам сейчас дам письмо к Иннокентию!

— Да я, ваше сиятельство, не пойду в монахи!

— Нет, пойдете, — таких, которые и рыб не едят, очень мало! вы схимник! Я сейчас напишу.

— Не извольте писать: я в монастырь жить не пойду. Я желаю есть свой трудовой хлеб в поте своего лица.

ГЛАВА 14

Сакен наморщился.

— Это, — говорит, — вы Библии начитались, — а вы Библии-то не читайте. Это англичанам идет: они недоверки и кривотолки. Библия опасна — это мирская книга. Человек с аскетическим основанием должен ее избегать.

«Фу ты, господи! — думаю. — Что же это за мучитель такой!»

И говорю ему:

— Ваше сиятельство! Я уже вам доложил: во мне нет никаких аскетических оснований.

— Ничего, идите и без оснований! Основания после придут; всего дороже, что у вас это врожденное: не только мяса, а и рыбы не едите. Чего вам еще!

Умолкаю! Решительно умолкаю и думаю только о том: когда же он меня от себя выпустит, чтобы я мог спать…

А он возлагает мне руки на плечи, смотрит долго в глаза и говорит:

— Милый друг! Вы уже призваны, но только вам это еще непонятно!..

— Да, — отвечаю, — непонятно!

Чувствую, что мне теперь все равно, — что я вот-вот сейчас тут же, стоя, усну, — и потому инстинктивно ответил:

— Непонятно.

— Ну так помолимся, — говорит, — вместе поусерднее вот перед этим ликом. Этот образ был со мною во Франции, в Персии и на Дунае… Много раз я перед ним упадал в недоумении и когда вставал — мне было все ясно. Становитесь на ковре на колени и земной поклон… Я начинаю.

Я стал на колени и поклонился, а он зачитал

умиленным голосом: «Совет превечный открывая Тебе»…

А дальше я уже ничего не слыхал, а только почудилось мне, что я как дошел лбом до ковра — так и пошел свайкой спускаться вниз куда-то все глубже к самому центру земли.

Чувствую, что-то не то, что нужно: мне бы нужно куда-то легким пером вверх, а я иду свайкой вниз, туда, где, по словам Гете, «первообразы кипят, — клокочут зиждящие силы». А потом и не помню уже ничего.

Возвращаюсь опять от центра к поверхности нескоро и ничего не узнаю: трисоставная лампада горит, в окнах темно, впереди меня на том же ковре какой-то генерал, клубочком свернувшись, спит.

Что это такое за место? — заспал и запамятовал.

Потихонечку поднимаюсь, сажусь и думаю: «Где я? Что это, генерал в самом деле или так кажется…» Потрогал его… ничего — парной, теплый, и смотрю — и он просыпается и шевелится… И тоже сел на ковре и на меня смотрит… Потом говорит:

— Что вижу?.. Фигура!

Я отвечаю:

— Точно так.

Он перекрестился и мне велел:

— Перекрестись!

Я перекрестился.

— Это мы с вами вместе были?

— Да-с.

— Каково!

Я промолчал.

— Какое блаженство!

Не понимаю, в чем дело, но, к счастью, он продолжает:

— Видели, какая святыня!

— Где?

— В раю!

— В раю? Нет, — говорю, — я в раю не был и ничего не видал.

— Как не видал! Ведь мы вместе летали… Туда… вверх!

Я отвечаю, что я летать летал, но только не вверх, а вниз.

— Как вниз!

— Точно так.

— Вниз?

— Точно так.

— Внизу ад!

— Не видал.

— И ада не видал?

— Не видал.

— Так какой же дурак тебя сюда пустил?

— Граф Остен-Сакен.

— Это я граф Остен-Сакен.

— Теперь, — говорю, — вижу.

— А до сих пор и этого не видал?

— Прошу прощения, — говорю, — мне кажется, будто я спал.

— Ты спал!

— Точно так.

— Ну так пошел вон!

— Слушаю, — говорю, — но только здесь темно — я не знаю, как выйти.

Сакен поднялся, сам открыл мне дверь и сам сказал:

— Zum Teufel!

Так мы с ним и простились, хотя несколько сухо, но его ко мне милости этим не кончились.

ГЛАВА 15

Я был совершенно спокоен, потому что знал, что мне всего дороже — это моя воля, возможность жить по одному завету, а не по нескольким, не спорить, не подделываться и никому ничего не доказывать, если ему не явлено свыше, —

и я знал, где и как можно найти такую волю. Я не хотел решительно никаких служб, ни тех, где нужна благородная гордость, ни тех, где можно обходиться и без всякой гордости. Ни на какой службе человек сам собой быть не может, он должен вперед не обещаться, а потом исполнять, как обещался, а я вижу, что я порченый, что я ничего обещать не могу, да я не смею и не должен, потому что суббота для человека, а не человек для субботы… Сердце сжалится, и я не могу обещания выдержать: увижу страдание и не выстою… я изменю субботе! На службе надо иметь клятвенную твердость и уметь самого себя заговаривать, а у меня этого дарования нет. Мне надо что-нибудь самое простое… Перебирал я, перебирал, — что есть самое простое, где не надо себя заговаривать, и решил, что лучше пахать землю.

Но меня, однако, ждала еще награда и по службе.

Перед самым моим выездом полковник объявляет мне:

— Вы не без пользы для себя с Дмитрием Ерофеичем повидались. Он тогда был с утра прекрасно намолившись и еще с вами, кажется, молился?

— Как же, — отвечаю, — мы молились.

— Вместе в блаженные селения парили?..

— То есть… как это вам доложить…

— Да, вы — большой политик! Знаете, вы и достигли, — вы ему очень понравились; он вам велел сказать, что особым путем вам пенсию выпросит.

— Я, — говорю, — пенсии не выслужил.

— Ну, уж это теперь расчислять поздно, — уж от него пошло представление, а ему не откажут.

Вышла мне пенсия по тридцати шести рублей в год, и я ее до сих пор по этому случаю получаю. Солдаты со мною тоже хорошо простились.

— Ничего, — говорили, — мы, ваше благородие, вами довольны и не плачемся. Нам все равно, где служить. А вам бы, ваше благородие, мы желали, чтобы к нам в попы достигнуть и благословлять на поле сражения.

Тоже доброжелатели!

А я вместо всего ихнего доброжелания вот эту господку купил… Невелика господка, да добра… Може, и Катря еще на ней буде с мужем господуроваты… Бидна Катруся! Я ее с матерью под тополями Подолинского сада нашел… Мать хотела ее на чужие руки кинуть, а сама к какой-нибудь пани в мамки идти. А я вызверывся да говорю ей:

— Чи ты с самаго роду так дурна, чи ты сумасшедшая! Що тоби такэ поднялось, щоб свою дытыну покинуты, а паньских своим молоком годувати! Нехай их яка пани породыла, та сама и годует: так от бога показано, — а ты ходы впрост до менэ та пильнуй свою дытыну.

Она встала — подобрала Катрю в тряпочки и пишла — каже:

— Пиду, куды минэ доля моя ведэ!

Так вот и живем, и поле орем, и сием, а чого нэма, о том не скучаем — бо все люди просты: мать сирота, дочка мала, а я битый офицер, да еще и без усякой благородной гордости. Тпфу, яка пропаща фигура!

По моим сведениям, Фигура умер в конце пятидесятых или в самом начале шестидесятых годов. О нем я не встречал в литературе никаких упоминаний.

1889

И. А. Бунин

На чужой стороне

На вокзале не было обычной суматохи: наступила Святая ночь. Когда прошел курьерский девятичасовой поезд, все поспешили докончить только самые неотложные дела, чтобы поскорее разойтись по квартирам, вымыться, надеть все чистое и в семье, с облегченным сердцем, дождаться праздника, отдохнуть хоть ненадолго от беспорядочной жизни.

Полутемная зала третьего класса, всегда переполненная людьми, гулом настойчивого говора, тяжелым теплым воздухом, теперь была пуста и прибрана. В отворенные окна и двери веяло свежестью южной ночи. В углу восковые свечи слабо озаряли аналой и золотые иконы, и среди них грустно глядел темный лик Спасителя. Лампада красного стекла тихо покачивалась перед ним, по золотому окладу двигались полосы сумрака и света…

Проезжим мужикам из голодающей губернии некуда было пойти приготовиться к празднику. Они сидели в темноте, на конце длинной платформы.

Они чувствовали себя где-то страшно далеко

от родных мест, среди чужих людей, под чужим небом. Первый раз в жизни им пришлось двинуться на «низы», на дальние заработки. Они всего боялись и даже перед носильщиками неловко и торопливо сдергивали свои растрепанные шапки. Уже второй день томились они скукой, ожидая, пока к ним выйдет тщедушная и горделивая фигурка помощника начальника станции (они уже успели прозвать его «кочетком») и строго объявит, когда и какой товарный поезд потянет их на Харцызскую. Со скуки они весь день проспали.

Надвигались тучи. Изредка обдавал теплый благовонный ветер, запах распускающихся тополей. Не смолкая ни на минуту, несся с ближнего болота злорадный хохот лягушек и, как всякий непрерывный звук, не нарушал тишины. Направо едва-едва светил закат; тускло поблескивая, убегали туда рельсы. Налево уже стояла синяя темнота. Огонек диска висел в воздухе одинокой зеленовато-бледной звездочкой. Оттуда, с неизвестных степных мест, шла ночь…

— Ох, должно, не скоро еще! — шепотом сказал один, полулежавший около вокзальных ведер, и протяжно зевнул.

— Служба-то? — отозвался другой. — Должно,

не скоро. Теперь не более семи.

— А то и всех восемь наберется, — добавил третий. Всем было тяжко. Только один не хотел сознаться в этом.

— Ай соскучился? А-а-а… — зевнул он, передразнивая первого говорившего. — Гляди, ребята, заревет еще, пожалуй!

— Будя, Кирюх, буравить-то, — серьезно ответил первый и деловым тоном обратился к соседу: — Парменыч, поди глянь на часы, ты письменный.

Парменыч отозвался добрым слабым голосом:

— Не уразумею, малый, по тутошним, все сбиваюсь: целых три стрелки.

— Да ай не все равно? — опять заметил Кирилл насмешливо. — Хушь смотри, хушь не смотри — одна честь…

Долго молчали. Тучи надвинулись, густая темнота теплой ночи мягко обнимала все. Старик открыл трубку, помял пальцем красневший в ней огонь и на время так жарко раскурил ее, что смутно осветил свои седые солдатские усы и ворот зипуна. На мгновение выступили из мрака и белая рубаха лежащего на животе Кирилла, и заскорузлые, изорванные полушубки двух других пожилых мужиков. Потом он закрыл трубку,

попыхтел и покосился влево, на своего племянника. Тот дремал. Длинные худые ноги его, завернутые в белые суконные портянки, лежали без движения; по очертаниям худощавого тела было видно, что это совсем еще мальчик, истомленный и до времени вытянувшийся на работе.

— Федор, спишь? — тихо окликнул его старик.

— Н-нет, — ответил тот сиплым голосом.

Старик ласково наклонился к нему и, улыбаясь, шепотом спросил:

— Ай соскучился?

Ответ последовал не сразу:

— Чего ж мне скучать?

— Да ну! Ты скажи, не бойся.

— Я и так не боюсь.

— То-то, мол, не таись…

Федька молчал. Старик поглядел на его худенькие плечи… потом тихонько отвернулся.

Уже и на закате стемнело. Контуры вокзальных крыш едва рисовались на фоне ночного неба. Там, где оно сливалось с темнотою земли, перекрещивались и мигали зеленые, синие и красные огоньки. Осторожно лязгая колесами, прокатился мимо платформы паровоз, осветил ее красным отблеском растопленной печки, около которой, как в темном уголке ада, копошились какие-то

черные люди, и все опять потонуло в темноте. Мужики долго прислушивались, как он где-то в стороне сипел горячим паром.

Потом издалека гнусаво запел рожок. Из темноты и из-за разноцветных огней выделился треугольник огненных глаз. Он разгорался и приближался медленно-медленно, а за ним тянулся длинный, бесконечно длинный товарный поезд; подвигаясь все слабее, он остановился и затих. Через минуту что-то завизжало, заскрипело, вагоны дрогнули, подались назад — и замерли. Раздались чьи-то громкие голоса и тоже смолкли. Кто-то невидимый нес фонарь, и светлый круг, колеблясь, двигался по земле, под стеной вагонов.

— Тридцать четыре, — сказал один из мужиков.

— Кого? Вагонов-то? Боле будя.

— А может, и боле…

Федька облокотился на руку и долго глядел на темную массу паровоза, смутно освещенную посередине, слушал, как что-то клокотало и замирало в нем, как потом он отделился от поезда и, облегченно и тяжело дохнув несколько раз, ушел в темноту, отрывистыми свистками требуя пути… Ничто, ничто не напоминало тут празд-

ника!

— Я думал, они хушь в праздник-то не ходят, — сказал Фалька.

— Ну да, не ходят! Им нельзя не ходить…

И послышались несмелые предположения, что, может быть, с этим-то поездом их и отправят. Тяжело в такую ночь сидеть в темноте товарных вагонов, да уж все одно, лучше бы отправили! Старик заговорил о Харцызской. Но впереди была полная неизвестность: и где эта Харцызская, и когда они приедут туда, и какая будет работа, да и будет ли еще? Вот если бы земляков встретить, которые направили бы на хорошее место! А то, пожалуй, опять придется сидеть где-нибудь в томительном ожидании, запивать сухой хлеб теплой водой из вокзальной кадки. И тоска, тревога снова овладела всеми. Даже Кирилл заворочался, беспокойно зачесался, сел и опустил голову…

— И чего тут остались? — послышался один неуверенный голос. — Хушь бы в город пошли — авось всего версты четыре…

— А ну как сейчас велят садиться? — угрюмо ответил Кирилл. — Его пропустишь, а там и сиди опять десять дён. — Надо пойтить спросить…

— Спросить? У кого?

— Да у начальника…

— И правда, пожалуй…

— Да его теперь небось нету…

— Ну, кто-нибудь за него…

— Служба-то и тут такая же будет, — проговорил Кирилл по-прежнему угрюмо.

— Не такая же, короткая, сказывали, будет… И разговеться тоже нечем…

— А как совсем пойдешь Христа ради? — И все с тоской поглядели на вокзальные постройки, где светились окна, где в каждой семье шли приготовления к празднику.

— Дни-то, дни-то какие! — со вздохом, слабым задушевным голосом сказал старик. — А мы, как татаре какие, и в церкви ни разу не были!

— Ты бы теперь уж на клиросе читал, дедушка…

Но старик не слыхал этих мягко и грустно сказанных слов. Он сидел и бормотал в раздумье: «Предходят сему лицы ангельстии со всяким началом и властью… лице закрывающе и вопиюще песнь аллилуйя…»

И, помолчав, прибавил увереннее, глядя в одну точку перед собою: «Воскресни, боже, суди земли, яко ты наследиши во всех языцех…»

Все упорно молчали.

Все думали об одном, всех соединяла одна грусть, одни воспоминания. Вот наступает вечер, наступает сдержанная суматоха последних приготовлений к церкви. На дворах запрягают лошадей, ходят мужики в новых сапогах и еще распоясанных рубахах, с мокрыми расчесанными волосами; полунаряженные девки и бабы то и дело перебегают от изб к пулькам, в избах завязывают в платки куличи и пасхи… Потом деревня остается пустою и тихою… Над темной чертой горизонта, на фоне заката видны силуэты идущих и едущих на село… На селе, около церкви, поскрипывают в темноте подъезжающие телеги; церковь освещается… В церкви уже идет чтение, уже теснота и легкая толкотня, пахнет восковыми свечами, новыми полушубками и свежими ситцами… А на паперти и на могилах, с другой стороны церкви, темнеют кучки народа, слышатся голоса…

Вдруг где-то далеко ударили в колокол. Мужики зашевелились, разом поднялись и, крестясь, с обнаженными головами, до земли поклонились на восток.

— Федор! Вставай! — взволнованно забормотал старик.

Мальчик вскочил и закрестился быстро и нерв-

но. Засуетились и прочие, торопливо накидывая на плечи котомки.

В окнах вокзала уже трепетали огни восковых свечей. Золотые иконы сливались с золотым их блеском. Зала третьего класса наполнялась служащими, рабочими. Мужики стали на платформе, у дверей, не смея войти в них.

Поспешно прошел молодой священник с причтом и стал облачаться в светлые ризы, шуршащие глазетом; он что-то говорил и зорко вглядывался в полусумрак наполнявшейся народом залы. Зажигаемые свечи осторожно потрескивали, ветерок колебал их огни. А издалека, под темным ночным небом, лился густой звон.

«Воскресение твое, Христе спасе, ангели поют на небеси…» — торопясь, начал священник звонким тенором.

И как только он сказал это, вся толпа заволновалась, задвигалась, крестясь и кланяясь, и сразу стало светлее в зале, на всех лицах засиял теплый отблеск восковых свечек.

Одни мужики стояли в темноте. Они опустились на колени и торопливо крестились, то надолго припадая лбами к порогу, то жадно и скорбно смотря в глубину освещенной залы, на огни и иконы, подняв свои худые лица с пе-

пельными губами, свои голодные глаза...

— Воскресни, боже, суди земли!

1893

А. П. Чехов

Казак

Арендатор хутора Низы Максим Торчаков, бердянский мещанин, ехал со своей молодой женой из церкви и вез только что освященный кулич. Солнце еще не всходило, но восток уже румянился, золотился. Было тихо… Перепел кричал свои: «пить пойдем! пить пойдем!», да далеко над курганчиком носился коршун, а больше во всей степи не было заметно ни одного живого существа.

Торчаков ехал и думал о том, что нет лучше и веселее праздника, как Христово воскресенье. Женат он был недавно и теперь справлял с женой первую Пасху. На что бы он ни взглянул, о чем бы ни подумал, всё представлялось ему светлым, радостным и счастливым. Думал он о своем хозяйстве и находил, что всё у него исправно, домашнее убранство такое, что лучше и не надо, всего довольно и всё хорошо; глядел он на жену — и она казалась ему красивой, доброй и кроткой. Радовала его и заря на востоке, и молодая травка, и его тряская визгливая бричка, нравился даже коршун, тяжело взмахивавший крыльями. А когда он по пути забежал в кабак

закурить папиросу и выпил стаканчик, ему стало еще веселее…

— Сказано, велик день! — говорил он. — Вот и велик! Погоди, Лиза, сейчас солнце начнет играть. Оно каждую Пасху играет! И оно тоже радуется, как люди!

— Оно не живое, — заметила жена.

— Да на нем люди есть! — воскликнул Торчаков. — Ей-богу, есть! Мне Иван Степаныч рассказывал — на всех планетах есть люди, на солнце и на месяце! Право… А может, ученые и брешут, нечистый их знает! Постой, никак лошадь стоит! Так и есть!

На полдороге к дому, у Кривой Балочки, Торчаков и его жена увидели оседланную лошадь, которая стояла неподвижно и нюхала землю. У самой дороги на кочке сидел рыжий казак и, согнувшись, глядел себе в ноги.

— Христос воскрес! — крикнул ему Максим.

— Воистину воскрес, — ответил казак, не поднимая головы.

— Куда едешь?

— Домой, на льготу.

— Зачем же тут сидишь?

— Да так… захворал… Нет мочи ехать.

— Что ж у тебя болит?

— Весь болю.

— Гм… вот напасть! У людей праздник, а ты хвораешь! Да ты бы в деревню или на постоялый ехал, а что так сидеть?

Казак поднял голову и обвел утомленными больными глазами Максима, его жену, лошадь.

— Вы это из церкви? — спросил он.

— Из церкви.

— А меня праздник в дороге застал. Не привел бог доехать. Сейчас сесть бы да ехать, а мочи нет… Вы бы, православные, дали мне, проезжему, свяченой пасочки разговеться!

— Пасочки? — спросил Торчаков. — Оно можно, ничего… Постой, сейчас…

Максим быстро пошарил у себя в карманах, взглянул на жену и сказал:

— Нету у меня ножика, отрезать нечем. А ломать-то — не рука, всю паску испортишь. Вот задача! Поищи-ка, нет ли у тебя ножика?

Казак через силу поднялся и пошел к своему седлу за ножом.

— Вот еще что выдумали! — сердито сказала жена Торчакова. — Не дам я тебе паску кромсать! С какими глазами я ее домой порезанную повезу? И видано ль дело — в степи разговляться! Поезжай на деревню к мужикам да там и раз-

говляйся!

Жена взяла из рук мужа кулич, завернутый в белую салфетку, и сказала:

— Не дам! Надо порядок знать. Это не булка, а свяченая паска, и грех ее без толку кромсать.

— Ну, казак, не прогневайся! — сказал Торчаков и засмеялся. — Не велит жена! Прощай, путь-дорога!

Максим тронул вожжи, чмокнул, и бричка с шумом покатила дальше. А жена всё еще говорила, что резать кулич, не доехав до дому, — грех и непорядок, что всё должно иметь свое место и время. На востоке, крася пушистые облака в разные цвета, засияли первые лучи солнца; послышалась песня жаворонка. Уж не один, три коршуна, в отдалении друг от друга, носились над степью. Солнце пригрело чуть-чуть, и в молодой траве затрещали кузнечики.

Отъехав больше версты, Торчаков оглянулся и пристально поглядел вдаль.

— Не видать казака… — сказал он. — Экий сердяга, вздумал в дороге хворать! Нет хуже напасти: ехать надо, а мочи нет… Чего доброго, помрет в дороге… Не дали мы ему, Лизавета, паски, а небось и ему надо было дать. Небось и ему разговеться хочется.

Солнце взошло, но играло оно или нет, Торчаков не видел. Всю дорогу до самого дома он молчал, о чем-то думал и не спускал глаз с черного хвоста лошади. Неизвестно отчего, им овладела скука, и от праздничной радости в груди не осталось ничего, как будто ее и не было.

Приехали домой, христосовались с работниками; Торчаков опять повеселел и стал разговаривать, но как сели разговляться и все взяли по куску свяченого кулича, он невесело поглядел на жену и сказал:

— А нехорошо, Лизавета, что мы не дали тому казаку разговеться.

— Чудной ты, ей-богу! — сказала Лизавета и с удивлением пожала плечами. — Где ты взял такую моду, чтобы свяченую пасху раздавать по дороге? Нешто это булка? Теперь она порезана, на столе лежит, пущай ест, кто хочет, хоть и казак твой! Разве мне жалко?

— Так-то оно так, а жалко мне казака. Ведь он хуже нищего и сироты. В дороге, далеко от дому, хворый…

Торчаков выпил полстакана чаю и уж больше ничего не пил и не ел. Есть ему не хотелось, чай казался невкусным, как трава, и опять стало скучно.

После разговенья легли спать. Когда часа через два Лизавета проснулась, он стоял у окна и глядел во двор.

— Ты уже встал? — спросила жена.

— Не спится что-то… Эх, Лизавета, — вздохнул он, — обидели мы с тобой казака!

— Ты опять с казаком! Дался тебе этот казак. Бог с ним.

— Он царю служил, может, кровь проливал, а мы с ним как с свиньей обошлись. Надо бы его, больного, домой привезть, покормить, а мы ему даже кусочка хлеба не дали.

— Да, так и дам я тебе паску портить. Да еще свяченую! Ты бы ее с казаком искромсал, а я бы потом дома глазами лупала? Ишь ты какой!

Максим потихоньку от жены пошел в кухню, завернул в салфетку кусок кулича и пяток яиц и пошел в сарай к работникам.

— Кузьма, брось гармонию, — обратился он к одному их них. — Седлай гнедого или Иванчика и езжай поживее к Кривой Балочке. Там больной казак с лошадью, так вот отдай ему это. Может, он еще не уехал.

Максим опять повеселел, но, прождав несколько часов Кузьму, не вытерпел, оседлал лошадь и поскакал к нему навстречу. Встретил он его

у самой Балочки.

— Ну что? Видал казака?

— Нигде нету. Должно, уехал.

— Гм… история!

Торчаков взял у Кузьмы узелок и поскакал дальше. Доехав до деревни, он спросил у мужиков:

— Братцы, не видали ли вы больного казака с лошадью? Не проезжал ли тут? Из себя рыжий, худой, на гнедом коне.

Мужики поглядели друг на друга и сказали, что казака они не видели.

— Обратный почтовый ехал, это точно, а чтоб казак или кто другой — такого не было.

Вернулся Максим домой к обеду.

— Сидит у меня этот казак в голове и хоть ты что! — сказал он жене. — Не дает спокою. Я всё думаю: а что ежели это бог нас испытать хотел и ангела или святого какого в виде казака нам навстречу послал? Ведь бывает это. Нехорошо, Лизавета, обидели мы человека!

— Да что ты ко мне с казаком пристал? — крикнула Лизавета, выходя из терпения. — Пристал, как смола!

— А ты, знаешь, недобрая… — сказал Максим и пристально поглядел ей в лицо.

И он впервые после женитьбы заметил, что его жена недобрая.

— Пущай я недобрая, — крикнула она и сердито стукнула ложкой, — а только не стану я всяким пьяницам свяченую паску раздавать!

— А нешто казак пьяный?

— Пьяный!

— Почем ты знаешь?

— Пьяный!

— Ну и дура!

Максим, рассердившись, встал из-за стола и начал укорять свою молодую жену, говорил, что она немилосердная и глупая. А она, тоже рассердившись, заплакала и ушла в спальню и крикнула оттуда:

— Чтоб он околел, твой казак! Отстань ты от меня, холера, со своим казаком вонючим, а то я к отцу уеду!

За всё время после свадьбы у Торчакова это была первая ссора с женой. До самой вечерни он ходил у себя по двору, всё думал о жене, думал с досадой, и она казалась теперь злой, некрасивой. И, как нарочно, казак всё не выходил из головы, и Максиму мерещились то его больные глаза, то голос, то походка…

— Эх, обидели мы человека! — бормотал он. —

Обидели!

Вечером, когда стемнело, ему стало нестерпимо скучно, как никогда не было, — хоть в петлю полезай! От скуки и с досады на жену он напился, как напивался в прежнее время, когда был неженатым. В хмелю он бранился скверными словами и кричал жене, что у нее злое, некрасивое лицо и завтра же он прогонит ее к отцу.

Утром на другой день праздника он захотел опохмелиться и опять напился.

С этого и началось расстройство.

Лошади, коровы, овцы и ульи мало-помалу, друг за дружкой стали исчезать со двора, долги росли, жена становилась постылой… Все эти напасти, как говорил Максим, произошли оттого, что у него злая, глупая жена, что бог прогневался на него и на жену… за больного казака. Он всё чаще и чаще напивался. Когда был пьян, то сидел дома и шумел, а трезвый ходил по степи и ждал, не встретится ли ему казак…

1887

Письмо

Благочинный о. Федор Орлов, благообразный, хорошо упитанный мужчина, лет пятидесяти, как всегда важный и строгий, с привычным, никогда не сходящим с лица выражением достоинства, но до крайности утомленный, ходил из угла в угол по своей маленькой зале и напряженно думал об одном: когда, наконец, уйдет его гость? Эта мысль томила и не оставляла его ни на минуту. Гость отец Анастасий, священник одного из подгородних сел, часа три тому назад пришел к нему по своему делу, очень неприятному и скучному, засиделся и теперь, положив локоть на толстую счетную книгу, сидел в углу за круглым столиком и, по-видимому, не думал уходить, хотя уже был девятый час вечера.

Не всякий умеет вовремя замолчать и вовремя уйти. Нередко случается, что даже светски воспитанные, политичные люди не замечают, как их присутствие возбуждает в утомленном или занятом хозяине чувство, похожее на ненависть, и как это чувство напряженно прячется и покрывается ложью. Отец же Анастасий отлично видел и понимал, что его присутствие тягостно и неуместно,

что благочинный, служивший ночью утреню, а в полдень длинную обедню, утомлен и хочет покоя; каждую минуту он собирался подняться и уйти, но не поднимался, сидел и как будто ждал чего-то. Это был старик 65-ти лет, дряхлый не по летам, костлявый и сутуловатый, с старчески темным, исхудалым лицом, с красными веками и длинной, узкой, как у рыбы, спиной; одет он был в щегольскую светло-лиловую, но слишком просторную для него рясу (подаренную ему вдовою одного недавно умершего молодого священника), в суконный кафтан с широким кожаным поясом и в неуклюжие сапоги, размер и цвет которых ясно показывал, что о. Анастасий обходился без калош. Несмотря на сан и почтенные годы, что-то жалкенькое, забитое и униженное выражали его красные, мутноватые глаза, седые с зеленым отливом косички на затылке, большие лопатки на тощей спине… Он молчал, не двигался и кашлял с такою осторожностью, как будто боялся, чтобы от звуков кашля его присутствие не стало заметнее.

У благочинного старик бывал по делу. Месяца два назад ему запретили служить впредь до разрешения и назначили над ним следствие. Грехов за ним числилось много. Он вел нетрезвую жизнь,

не ладил с причтом и с миром, небрежно вел метрические записи и отчетность — в этом его обвиняли формально, но, кроме того, еще с давних пор носились слухи, что он венчал за деньги недозволенные браки и продавал приезжавшим к нему из города чиновникам и офицерам свидетельства о говении. Эти слухи держались тем упорнее, что он был беден и имел девять человек детей, живших на его шее и таких же неудачников, как и он сам. Сыновья были необразованны, избалованы и сидели без дела, а некрасивые дочери не выходили замуж.

Не имея силы быть откровенным, благочинный ходил из угла в угол, молчал или же говорил намеками.

— Значит, вы нынче не поедете к себе домой? — спросил он, останавливаясь около темного окна и просовывая мизинец к спящей, надувшейся канарейке.

О. Анастасий встрепенулся, осторожно кашлянул и сказал скороговоркой:

— Домой? Бог с ним, не поеду, Федор Ильич. Сами знаете, служить мне нельзя, так что же я там буду делать? Нарочито я уехал, чтоб людям в глаза не глядеть. Сами знаете, совестно не служить. Да и дело тут мне есть, Федор Ильич. Хочу

завтра после разговенья с отцом следователем обстоятельно поговорить.

— Так… — зевнул благочинный. — А вы где остановились?

— У Зявкина.

О. Анастасий вдруг вспомнил, что часа через два благочинному предстоит служить пасхальную утреню, и ему стало так стыдно своего неприятного, стесняющего присутствия, что он решил немедленно уйти и дать утомленному человеку покой. И старик поднялся, чтобы уйти, но прежде чем начать прощаться, он минуту откашливался и пытливо, всё с тем же выражением неопределенного ожидания во всей фигуре глядел на спину благочинного; на лице его заиграли стыд, робость и жалкий, принужденный смех, каким смеются люди, не уважающие себя. Как-то решительно махнув рукой, он сказал с сиплым дребезжащим смехом:

— Отец Федор, продлите вашу милость до конца, велите на прощанье дать мне… рюмочку водочки!

— Не время теперь пить водку, — строго сказал благочинный. — Стыд надо иметь.

Отец Анастасий еще больше сконфузился, засмеялся и, забыв про свое решение уходить

домой, опустился на стул. Благочинный взглянул на его растерянное, сконфуженное лицо, на согнутое тело, и ему стало жаль старика.

— Бог даст, завтра выпьем, — сказал он, желая смягчить свой строгий отказ. — Всё хорошо вовремя.

Благочинный верил в исправление людей, но теперь, когда в нем разгоралось чувство жалости, ему стало казаться, что этот подследственный, испитой, опутанный грехами и немощами старик погиб для жизни безвозвратно, что на земле нет уже силы, которая могла бы разогнуть его спину, дать взгляду ясность, задержать неприятный, робкий смех, каким он нарочно смеялся, чтобы сгладить хотя немного производимое им на людей отталкивающее впечатление.

Старик казался уже о. Федору не виновным и не порочным, а униженным, оскорбленным, несчастным; вспомнил благочинный его попадью, девять человек детей, грязные нищенские полати у Зявкина, вспомнил почему-то тех людей, которые рады видеть пьяных священников и уличаемых начальников, и подумал, что самое лучшее, что мог бы сделать теперь о. Анастасий, это — как можно скорее умереть, навсегда уйти с этого света.

Послышались шаги.

— О. Федор, вы не отдыхаете? — спросил из передней бас.

— Нет, дьякон, войди.

В залу вошел сослуживец Орлова, дьякон Любимов, человек старый, с плешью во всё темя, но еще крепкий, черноволосый и с густыми, черными, как у грузина, бровями. Он поклонился Анастасию и сел.

— Что скажешь хорошего? — спросил благочинный.

— Да что хорошего? — ответил дьякон и, помолчав немного, продолжал с улыбкой: — Малые дети — малое горе, большие дети — большое горе. Тут такая история, о. Федор, что никак не опомнюсь. Комедия, да и только.

Он еще немного помолчал, улыбнулся шире и сказал:

— Нынче Николай Матвеич из Харькова вернулся. Про моего Петра мне рассказывал. Был, говорит, у него раза два.

— Что же он тебе рассказывал?

— Встревожил, бог с ним. Хотел меня порадовать, а как я раздумался, то выходит, что мало тут радости. Скорбеть надо, а не радоваться… «Твой, говорит, Петрушка шибко живет, рукой, говорит,

до него теперь не достанешь». Ну и слава богу, говорю. «Я, говорит, у него обедал и весь образ его жизни видел. Живет, говорит, благородно, лучше и не надо». Мне, известно, любопытно, я и спрашиваю: а что за обедом у него подавали? «Сначала, говорит, рыбное, словно как бы на манер ухи, потом язык с горошком, а потом, говорит, индейку жареную». Это в пост-то индейку? Хороша, говорю, радость. В великий пост-то индейку? А?

— Удивительного мало, — сказал благочинный, насмешливо щуря глаза.

И заложив большие пальцы обеих рук за пояс, он выпрямился и сказал тоном, каким говорил обыкновенно проповеди или объяснял ученикам в уездном училище закон божий:

— Люди, не соблюдающие постов, делятся на две различные категории: одни не исполняют по легкомыслию, другие же по неверию. Твой Петр не исполняет по неверию. Да.

Дьякон робко поглядел на строгое лицо о. Федора и сказал:

— Дальше — больше… Поговорили, потолковали, то да се, и оказывается еще, что мой неверяка-сынок с какой-то мадамой живет, с чужой женой. Она у него на квартире заместо жены

и хозяйки, чай разливает, гостей принимает и остальное прочее, как венчанная. Уже третий год, как с этой гадюкой хороводится. Комедия, да и только. Три года живут, а детей нету.

— Стало быть, в целомудрии живут! — захихикал о. Анастасий, сипло кашляя. — Есть дети, отец дьякон, есть, да дома не держат! В вошпитательные приюты отсылают! Хе, хе, хе… (Анастасий закашлялся.)

— Не суйтесь, о. Анастасий, — строго сказал благочинный.

— Николай Матвеич и спрашивает его: какая это такая у вас мадама за столом суп разливает? — продолжал дьякон, мрачно оглядывая согнутое тело Анастасия. — А он ему: это, говорит, моя жена. А тот и спроси: «Давно ли изволили венчаться?» Петр и отвечает: мы венчались в кондитерской Куликова.

Глаза благочинного гневно вспыхнули, и на висках выступила краска. Помимо своей греховности Петр был ему несимпатичен как человек вообще. О. Федор имел против него, что называется, зуб. Он помнил его еще мальчиком-гимназистом, помнил отчетливо, потому что и тогда еще он казался ему ненормальным. Петруша-гимназист стыдился помогать в алтаре,

обижался, когда говорили ему «ты», входя в комнаты, не крестился и, что памятнее всего, любил много и горячо говорить, а, по мнению о. Федора, многословие детям неприлично и вредно; кроме того, Петруша презрительно и критически относился к рыбной ловле, до которой благочинный и дьякон были большие охотники. Студент же Петр вовсе не ходил в церковь, спал до полудня, смотрел свысока на людей и с каким-то особенным задором любил поднимать щекотливые, неразрешимые вопросы.

— Что же ты хочешь? — спросил благочинный, подходя к дьякону и сердито глядя на него. — Что же ты хочешь? Этого следовало ожидать! Я всегда знал и был уверен, что из твоего Петра ничего путного не выйдет! Говорил я тебе и говорю. Что посеял, то и пожинай теперь! Пожинай!

— Да что же я посеял, о. Федор? — тихо спросил дьякон, глядя снизу вверх на благочинного.

— А кто же виноват, как не ты? Ты родитель, твое чадо! Ты должен был наставлять, внушать страх божий. Учить надо! Родить-то вы родите, а наставлять не наставляете. Это грех! Нехорошо! Стыдно!

Благочинный забыл про свое утомление, шагал и продолжал говорить. На голом темени и на лбу

дьякона выступили мелкие капли. Он поднял виноватые глаза на благочинного и сказал:

— Да разве я не наставлял, о. Федор? Господи помилуй, разве я не отец своему дитю? Сами вы знаете, я для него ничего не жалел, всю жизнь старался и бога молил, чтоб ему настоящее образование дать. Он у меня и в гимназии был, и репетиторов я ему нанимал, и в университете он кончил. А что ежели я его ум направить не мог, о. Федор, так ведь, судите сами, на это у меня способности нет! Бывало, когда он студентом сюда приезжал, я начну ему по-своему внушать, а он не слушает. Скажешь ему: «ходи в церковь», а он: «зачем ходить?» Станешь ему объяснять, а он: «почему? зачем?» Или похлопает меня по плечу и скажет: «Всё на этом свете относительно, приблизительно и условно. Ни я ничего не знаю, ни вы ничего же не знаете, папаша».

О. Анастасий сипло рассмеялся, закашлялся и шевельнул в воздухе пальцами, как бы собираясь что-то сказать. Благочинный взглянул на него и сказал строго:

— Не суйтесь, о. Анастасий.

Старик смеялся, сиял и, видимо, с удовольствием слушал дьякона, точно рад был, что на этом свете и кроме него есть еще грешные люди. Дья-

кон говорил искренно, с сокрушенным сердцем, и даже слезы выступили у него на глазах. О. Федору стало жаль его.

— Виноват ты, дьякон, виноват, — сказал он, но уже не так строго и горячо. — Умел родить, умей и наставить. Надо было еще в детстве его наставлять, а студента поди-ка исправь!

Наступило молчание. Дьякон всплеснул руками и сказал со вздохом:

— А ведь мне же за него отвечать придется!

— То-то вот оно и есть!

Помолчав немного, благочинный и зевнул, и вздохнул в одно и то же время, и спросил:

— Кто «Деяния» читает?

— Евстрат. Всегда Евстрат читает.

Дьякон поднялся и, умоляюще глядя на благочинного, спросил:

— О. Федор, что же мне теперь делать?

— Что хочешь, то и делай. Не я отец, а ты. Тебе лучше знать.

— Ничего я не знаю, о. Федор! Научите меня, сделайте милость! Верите ли, душа истомилась! Теперь я ни спать не могу, ни сидеть спокойно, и праздник мне не в праздник. Научите, о. Федор!

— Напиши ему письмо.

— Что же я ему писать буду?

— А напиши, что так нельзя. Кратко напиши, но строго и обстоятельно, не смягчая и не умаляя его вины. Это твоя родительская обязанность. Напишешь, исполнишь свой долг и успокоишься.

— Это верно, но что же я ему напишу? В каких смыслах? Я ему напишу, а он мне в ответ: «почему? зачем? почему это грех?»

О. Анастасий опять сипло засмеялся и шевельнул пальцами.

— Почему? Зачем? Почему это грех? — визгливо заговорил он. — Исповедую я раз одного господина и говорю ему, что излишнее упование на милосердие божие есть грех, а он спрашивает: почему? Хочу ему ответить, а тут, — Анастасий хлопнул себя по лбу, — а тут-то у меня и нету! Хи-и-хе-хе-хе…

Слова Анастасия, его сиплый дребезжащий смех над тем, что не смешно, подействовали на благочинного и дьякона неприятно. Благочинный хотел было сказать старику «не суйтесь», но не сказал, а только поморщился.

— Не могу я ему писать! — вздохнул дьякон.

— Ты не можешь, так кто же может?

— О. Федор! — сказал дьякон, склоняя голову набок и прижимая руку к сердцу. — Я человек

необразованный, слабоумный, вас же господь наделил разумом и мудростью. Вы всё знаете и понимаете, до всего умом доходите, я же путем слова сказать не умею. Будьте великодушны, наставьте меня в рассуждении письма! Научите, как его и что…

— Что ж тут учить? Учить нечему. Сел да написал.

— Нет, уж сделайте милость, отец настоятель! Молю вас. Я знаю, вашего письма он убоится и послушается, потому ведь вы тоже образованный. Будьте такие добрые! Я сяду, а вы мне подиктуйте. Завтра писать грех, а нынче бы самое в пору, я бы и успокоился.

Благочинный поглядел на умоляющее лицо дьякона, вспомнил несимпатичного Петра и согласился диктовать. Он усадил дьякона за свой стол и начал:

— Ну, пиши… Христос воскрес, любезный сын… знак восклицания. Дошли до меня, твоего отца, слухи… далее в скобках… а из какого источника, тебя это не касается… скобка… Написал?.. что ты ведешь жизнь несообразную ни с божескими, ни с человеческими законами. Ни комфортабельность, ни светское великолепие, ни образованность, коими ты наружно прикрываешься,

не могут скрыть твоего языческого вида. Именем ты христианин, но по сущности своей язычник, столь же жалкий и несчастный, как и все прочие язычники, даже еще жалчее, ибо: те язычники, не зная Христа, погибают от неведения, ты же погибаешь оттого, что обладаешь сокровищем, но небрежешь им. Не стану перечислять здесь твоих пороков, кои тебе достаточно известны, скажу только, что причину твоей погибели вижу я в твоем неверии. Ты мнишь себя мудрым быти, похваляешься знанием наук, а того не хочешь понять, что наука без веры не только не возвышает человека, но даже низводит его на степень низменного животного, ибо…

Всё письмо было в таком роде. Кончив писать, дьякон прочел его вслух, просиял и вскочил.

— Дар, истинно дар! — сказал он, восторженно глядя на благочинного и всплескивая руками. — Пошлет же господь такое дарование! А? Мать царица! Во сто лет бы, кажется, такого письма не сочинил! Спаси вас господи!

О. Анастасий тоже пришел в восторг.

— Без дара так не напишешь! — сказал он, вставая и шевеля пальцами. — Не напишешь! Тут такая риторика, что любому философу можно запятую поставить и в нос ткнуть. Ум! Светлый

ум! Не женились бы, о. Федор, давно бы вы в архиереях были, истинно, были бы!

Излив свой гнев в письме, благочинный почувствовал облегчение. К нему вернулись и утомление, и разбитость. Дьякон был свой человек, и благочинный не постеснился сказать ему:

— Ну, дьякон, ступай с богом. Я с полчасика на диване подремлю, отдохнуть надо.

Дьякон ушел и увел с собою Анастасия. Как всегда бывает накануне Светлого дня, на улице было темно, но всё небо сверкало яркими, лучистыми звездами.

В тихом, неподвижном воздухе пахло весной и праздником.

— Сколько времени он диктовал? — изумлялся дьякон. — Минут десять, не больше! Другой бы и в месяц такого письма не сочинил. А? Вот ум! Такой ум, что я и сказать не умею! Удивление! Истинно, удивление!

— Образование! — вздохнул Анастасий, при переходе через грязную улицу поднимая до пояса полы своей рясы. — Не нам с ним равняться. Мы из дьячков, а ведь он науки проходил. Да. Настоящий человек, что и говорить.

— А вы послушайте, как он нынче в обедне Евангелие будет читать по-латынски! И по-ла-

тынски он знает, и по-гречески знает… А Петруха, Петруха! — вдруг вспомнил дьякон. — Ну, теперь он поче-ешется! Закусит язык! Будет помнить кузькину мать! Теперь уже не спросит: почему? Вот уж именно дока на доку наскочил! Ха-ха-ха!

Дьякон весело и громко рассмеялся. После того как письмо к Петру было написано, он повеселел и успокоился. Сознание исполненного родительского долга и вера в силу письма вернули к нему и его смешливость и добродушие.

— Петр в переводе значит камень, — говорил он, подходя к своему дому. — Мой же Петр не камень, а тряпка. Гадюка на него насела, а он с ней нянчится, спихнуть ее не может. Тьфу! Есть же, прости господи, такие женщины! А? Где ж в ней стыд? Насела на парня, прилипла и около юбки держит… к шутам ее на пасеку!

— А может, не она его держит, а он ее?

— Все-таки, значит, в ней стыда нет! А Петра я не защищаю… Ему достанется… Прочтет письмо и почешет затылок! Сгорит со стыда!

— Письмо славное, но только того… не посылать бы его, отец дьякон. Бог с ним!

— А что? — испугался дьякон.

— Да так! Не посылай, дьякон! Что толку? Ну, ты пошлешь, он прочтет, а… а дальше что? Встре-

вожишь только. Прости, бог с ним!

Дьякон удивленно поглядел на темное лицо Анастасия, на его распахнувшуюся рясу, похожую в потемках на крылья, и пожал плечами.

— Как же так прощать? — спросил он. — Ведь я же за него богу отвечать буду!

— Хоть и так, а всё же прости. Право! А бог за твою доброту и тебя простит.

— Да ведь он мне сын? Должен я его учить или нет?

— Учить? Отчего не учить? Учить можно, а только зачем язычником обзывать? Ведь ему, дьякон, обидно…

Дьякон был вдов и жил в маленьком, трехоконном домике. Хозяйством у него заведовала его старшая сестра, девушка, года три тому назад лишившаяся ног и потому не сходившая с постели; он ее боялся, слушался и ничего не делал без ее советов. О. Анастасий зашел к нему. Увидев у него стол, уже покрытый куличами и красными яйцами, он почему-то, вероятно, вспомнив про свой дом, заплакал и, чтобы обратить эти слезы в шутку, тотчас же сипло засмеялся.

— Да, скоро разговляться, — сказал он. — Да… Оно бы, дьякон, и сейчас не мешало… рюмочку выпить. Можно? Я так выпью, — зашептал он,

косясь на дверь, — что старушка… не услышит… ни-ни…

Дьякон молча пододвинул к нему графин и рюмку, развернул письмо и стал читать вслух. И теперь письмо ему так же понравилось, как и в то время, когда благочинный диктовал его. Он просиял от удовольствия и, точно попробовав что-то очень сладкое, покрутил головой.

— Ну, письмо-о! — сказал он. — И не снилось Петрухе такое письмо. Такое вот и надо ему, чтоб в жар его бросило… во!

— Знаешь, дьякон? Не посылай! — сказал Анастасий, наливая как бы в забывчивости вторую рюмку. — Прости, бог с ним! Я тебе… вам по совести. Ежели отец родной его не простит, то кто ж его простит? Так и будет, значит, без прощения жить? А ты, дьякон, рассуди: наказующие и без тебя найдутся, а ты бы для родного сына милующих поискал! Я… я, братушка, выпью… Последняя… Прямо так возьми и напиши ему: прощаю тебя, Петр! Он пойме-ет! Почу-увствует! Я, брат… я, дьякон, по себе это понимаю. Когда жил, как люди, и горя мне было мало, а теперь, когда образ и подобие потерял, только одного и хочу, чтоб меня добрые люди простили. Да и то рассуди, не праведников прощать надо, а греш-

ников. Для чего тебе старушку твою прощать, ежели она не грешная? Нет, ты такого прости, на которого глядеть жалко… да!

Анастасий подпер голову кулаком и задумался.

— Беда, дьякон, — вздохнул он, видимо, борясь с желанием выпить. — Беда! Во гресех роди мя мати моя, во гресех жил, во гресех и помру… Господи, прости меня, грешного! Запутался я, дьякон! Нет мне спасения! И не то чтобы в жизни запутался, а в самой старости перед смертью… Я…

Старик махнул рукой и еще выпил, потом встал и пересел на другое место. Дьякон, не выпуская из рук письма, заходил из угла в угол. Он думал о своем сыне. Недовольство, скорбь и страх уже не беспокоили его: всё это ушло в письмо. Теперь он только воображал себе Петра, рисовал его лицо, вспоминал прошлые годы, когда сын приезжал гостить на праздники. Думалось одно лишь хорошее, теплое, грустное, о чем можно думать, не утомляясь, хоть всю жизнь. Скучая по сыну, он еще раз прочел письмо и вопросительно поглядел на Анастасия.

— Не посылай! — сказал тот, махнув кистью руки.

— Нет, все-таки… надо. Все-таки оно его того… немножко на ум наставит. Не лишнее…

Дьякон достал из стола конверт, но прежде чем вложить в него письмо, сел за стол, улыбнулся и прибавил от себя внизу письма: «А к нам нового штатного смотрителя прислали. Этот пошустрей прежнего. И плясун, и говорун, и на все руки, так что говоровские дочки от него без ума. Воинскому начальнику Костыреву тоже, говорят, скоро отставка. Пора!» И очень довольный, не понимая, что этой припиской он вконец испортил строгое письмо, дьякон написал адрес и положил письмо на самое видное место стола.

1887

Архиерей

I

Под Вербное воскресенье в Старо-Петровском монастыре шла всенощная. Когда стали раздавать вербы, то был уже десятый час на исходе, огни потускнели, фитили нагорели, было всё, как в тумане. В церковных сумерках толпа колыхалась, как море, и преосвященному Петру, который был нездоров уже дня три, казалось, что все лица — и старые, и молодые, и мужские, и женские — походили одно на другое, у всех, кто подходил за вербой, одинаковое выражение глаз. В тумане не было видно дверей, толпа всё двигалась, и похоже было, что ей нет и не будет конца. Пел женский хор, канон читала монашенка.

Как было душно, как жарко! Как долго шла всенощная! Преосвященный Петр устал. Дыхание у него было тяжелое, частое, сухое, плечи болели от усталости, ноги дрожали. И неприятно волновало, что на хорах изредка вскрикивал юродивый. А тут еще вдруг, точно во сне или в бреду, показалось преосвященному, будто в толпе подошла к нему его родная мать Мария Тимофеевна,

которой он не видел уже девять лет, или старуха, похожая на мать, и, принявши от него вербу, отошла и всё время глядела на него весело, с доброй, радостной улыбкой, пока не смешалась с толпой. И почему-то слезы потекли у него по лицу. На душе было покойно, всё было благополучно, но он неподвижно глядел на левый клирос, где читали, где в вечерней мгле уже нельзя было узнать ни одного человека, и — плакал. Слезы заблестели у него на лице, на бороде. Вот вблизи еще кто-то заплакал, потом дальше кто-то другой, потом еще и еще, и мало-помалу церковь наполнилась тихим плачем. А немного погодя, минут через пять, монашеский хор пел, уже не плакали, всё было по-прежнему.

Скоро и служба кончилась. Когда архиерей садился в карету, чтобы ехать домой, то по всему саду, освещенному луной, разливался веселый, красивый звон дорогих, тяжелых колоколов. Белые стены, белые кресты на могилах, белые березы и черные тени и далекая луна на небе, стоявшая как раз над монастырем, казалось, теперь жили своей особой жизнью, непонятной, но близкой человеку. Был апрель в начале, и после теплого весеннего дня стало прохладно, слегка подморозило, и в мягком холодном

воздухе чувствовалось дыхание весны. Дорога от монастыря до города шла по песку, надо было ехать шагом; и по обе стороны кареты, в лунном свете, ярком и покойном, плелись по песку богомольцы. И все молчали, задумавшись, всё было кругом приветливо, молодо, так близко, всё — и деревья и небо, и даже луна, и хотелось думать, что так будет всегда.

Наконец карета въехала в город, покатила по главной улице. Лавки были уже заперты, и только у купца Ераκина, миллионера, пробовали электрическое освещение, которое сильно мигало, и около толпился народ. Потом пошли широкие, темные улицы, одна за другою, безлюдные, земское шоссе за городом, поле, запахло сосной. И вдруг выросла перед глазами белая зубчатая стена, а за нею высокая колокольня, вся залитая светом, и рядом с ней пять больших, золотых, блестящих глав, — это Панкратиевский монастырь, в котором жил преосвященный Петр. И тут так же высоко над монастырем тихая, задумчивая луна. Карета въехала в ворота, скрипя по песку, кое-где в лунном свете замелькали черные монашеские фигуры, слышались шаги по каменным плитам…

— А тут, ваше преосвященство, ваша мамаша

без вас приехали, — доложил келейник, когда преосвященный входил к себе.

— Маменька? Когда она приехала?

— Перед всенощной. Справлялись сначала, где вы, а потом поехали в женский монастырь.

— Это, значит, я ее в церкви видел давеча! О господи!

И преосвященный засмеялся от радости.

— Они велели, ваше преосвященство, доложить, — продолжал келейник, — что придут завтра. С ними девочка, должно, внучка. Остановились на постоялом дворе Овсянникова.

— Который теперь час?

— Двенадцатый в начале.

— Эх, досадно!

Преосвященный посидел немного в гостиной, раздумывая и как бы не веря, что уже так поздно. Руки и ноги у него поламывало, болел затылок. Было жарко и неудобно. Отдохнув, он пошел к себе в спальню и здесь тоже посидел, всё думая о матери. Слышно было, как уходил келейник и как за стеной покашливал отец Сисой, иеромонах. Монастырские часы пробили четверть.

Преосвященный переоделся и стал читать молитвы на сон грядущий. Он внимательно читал эти старые, давно знакомые молитвы и в то же

время думал о своей матери. У нее было девять душ детей и около сорока внуков. Когда-то со своим мужем, дьяконом, жила она в бедном селе, жила там очень долго, с 17 до 60 лет. Преосвященный помнил ее с раннего детства, чуть ли не с трех лет и — как любил! Милое, дорогое, незабвенное детство! Отчего оно, это навеки ушедшее, невозвратное время, отчего оно кажется светлее, праздничнее и богаче, чем было на самом деле? Когда в детстве или юности он бывал нездоров, то как нежна и чутка была мать! И теперь молитвы мешались с воспоминаниями, которые разгорались всё ярче, как пламя, и молитвы не мешали думать о матери.

Кончив молиться, он разделся и лег, и тотчас же, как только стало темно кругом, представились ему его покойный отец, мать, родное село Лесополье… Скрип колес, блеянье овец, церковный звон в ясные, летние утра, цыгане под окном, — о, как сладко думать об этом! Припомнился священник лесопольский, отец Симеон, кроткий, смирный, добродушный; сам он был тощ, невысок, сын же его, семинарист, был громадного роста, говорил неистовым басом; как-то попович обозлился на кухарку и выбранил ее: «Ах ты, ослица Иегудиилова!», и отец Симеон,

слышавший это, не сказал ни слова и только устыдился, так как не мог вспомнить, где в Священном писании упоминается такая ослица. После него в Лесополье священником был отец Демьян, который сильно запивал и напивался подчас до зеленого змия, и у него даже прозвище было: Демьян-Змеевидец. В Лесополье учителем был Матвей Николаич, из семинаристов, добрый, неглупый человек, но тоже пьяница; он никогда не бил учеников, но почему-то у него на стене всегда висел пучок березовых розог, а под ним надпись на латинском языке, совершенно бессмысленная — betula kinderbalsamica secuta. Была у него черная мохнатая собака, которую он называл так: Синтаксис.

И преосвященный засмеялся. В восьми верстах от Лесополья село Обнино с чудотворной иконой. Из Обнина летом носили икону крестным ходом по соседним деревням и звонили целый день то в одном селе, то в другом, и казалось тогда преосвященному, что радость дрожит в воздухе, и он (тогда его звали Павлушей) ходил за иконой без шапки, босиком, с наивной верой, с наивной улыбкой, счастливый бесконечно. В Обнине, вспомнилось ему теперь, всегда было много народу, и тамошний священник отец Алексей, чтобы

успевать на проскомидии, заставлял своего глухого племянника Илариона читать записочки и записи на просфорах «о здравии» и «за упокой»; Иларион читал, изредка получая по пятаку или гривеннику за обедню, и только уж когда поседел и облысел, когда жизнь прошла, вдруг видит, на бумажке написано: «Да и дурак же ты, Иларион!» По крайней мере, до пятнадцати лет Павлуша был неразвит и учился плохо, так что даже хотели взять его из духовного училища и отдать в лавочку; однажды, придя в Обнино на почту за письмами, он долго смотрел на чиновников и спросил: «Позвольте узнать, как вы получаете жалованье: помесячно или поденно?»

Преосвященный перекрестился и повернулся на другой бок, чтобы больше не думать и спать.

— Моя мать приехала… — вспомнил он и засмеялся.

Луна глядела в окно, пол был освещен, и на нем лежали тени. Кричал сверчок. В следующей комнате за стеной похрапывал отец Сисой, и что-то одинокое, сиротское, даже бродяжеское слышалось в его стариковском храпе. Сисой был когда-то экономом у епархиального архиерея, а теперь его зовут «бывший отец эконом»; ему 70 лет, живет он в монастыре в 16 верстах от горо-

да, живет и в городе, где придется. Три дня назад он зашел в Панкратиевский монастырь, и преосвященный оставил его у себя, чтобы как-нибудь на досуге поговорить с ним о делах, о здешних порядках…

В половине второго ударили к заутрене. Слышно было, как отец Сисой закашлял, что-то проворчал недовольным голосом, потом встал и прошелся босиком по комнатам.

— Отец Сисой! — позвал преосвященный.

Сисой ушел к себе и немного погодя явился уже в сапогах, со свечой; на нем сверх белья была ряса, на голове старая, полинялая скуфейка.

— Не спится мне, — сказал преосвященный, садясь. — Нездоров я, должно быть. И что оно такое, не знаю. Жар!

— Должно, простудились, владыко. Надо бы вас свечным салом смазать.

Сисой постоял немного и зевнул: «О господи, прости меня грешного!»

— У Еракина нынче электричество зажигали, — сказал он. — Не ндравится мне!

Отец Сисой был стар, тощ, сгорблен, всегда недоволен чем-нибудь, и глаза у него были сердитые, выпуклые, как у рака.

— Не ндравится! — повторил он, уходя. —

Не ндравится, бог с ним совсем!

II

На другой день, в Вербное воскресенье, преосвященный служил обедню в городском соборе, потом был у епархиального архиерея, был у одной очень больной старой генеральши и наконец поехал домой. Во втором часу у него обедали дорогие гости: старуха мать и племянница Катя, девочка лет восьми. Во время обеда в окна со двора всё время смотрело весеннее солнышко и весело светилось на белой скатерти, в рыжих волосах Кати. Сквозь двойные рамы слышно было, как шумели в саду грачи и пели скворцы.

— Уже девять лет, как мы не видались, — говорила старуха, — а вчера в монастыре, как поглядела на вас — господи! И ни капельки не изменились, только вот разве похудели и бородка длинней стала. Царица небесная, матушка! И вчерась во всенощной нельзя было удержаться, все плакали. Я тоже вдруг, на вас глядя, заплакала, а отчего, и сама не знаю. Его святая воля!

И, несмотря на ласковость, с какою она говорила это, было заметно, что она стеснялась, как будто не знала, говорить ли ему ты или вы, смеяться или нет, и как будто чувствовала се-

бя больше дьяконицей, чем матерью. А Катя, не мигая, глядела на своего дядю, преосвященного, как бы желая разгадать, что это за человек. Волоса у нее поднимались из-за гребенки и бархатной ленточки и стояли, как сияние, нос был вздернутый, глаза хитрые. Перед тем как садиться обедать, она разбила стакан, и теперь бабушка, разговаривая, отодвигала от нее то стакан, то рюмку. Преосвященный слушал свою мать и вспоминал, как когда-то, много-много лет назад, она возила и его, и братьев, и сестер к родственникам, которых считала богатыми; тогда хлопотала с детьми, а теперь с внучатами и привезла вот Катю…

— У Вареньки, у сестры вашей, четверо детей, — рассказывала она, — вот эта, Катя, самая старшая, и бог его знает, от какой причины, зять отец Иван захворал, это, и помер дня за три до Успенья. И Варенька моя теперь хоть по миру ступай.

— А как Никанор? — спросил преосвященный про своего старшего брата.

— Ничего, слава богу. Хоть и ничего, а, благодарить бога, жить можно. Только вот одно: сын его Николаша, внучек мой, не захотел по духовной части, пошел в университет в доктора. Думает, лучше, а кто его знает! Его святая воля.

— Николаша мертвецов режет, — сказала Катя и пролила воду себе на колени.

— Сиди, деточка, смирно, — заметила спокойно бабушка и взяла у нее из рук стакан. — Кушай с молитвой.

— Сколько времени мы не видались! — сказал преосвященный и нежно погладил мать по плечу и по руке. — Я, маменька, скучал по вас за границей, сильно скучал.

— Благодарим вас.

— Сидишь, бывало, вечером у открытого окна, один-одинешенек, заиграет музыка, и вдруг охватит тоска по родине, и, кажется, всё бы отдал, только бы домой, вас повидать…

Мать улыбнулась, просияла, но тотчас же сделала серьезное лицо и проговорила:

— Благодарим вас.

Настроение переменилось у него как-то вдруг. Он смотрел на мать и не понимал, откуда у нее это почтительное, робкое выражение лица и голоса, зачем оно, и не узнавал ее. Стало грустно, досадно. А тут еще голова болела так же, как вчера, сильно ломило ноги, и рыба казалась пресной, невкусной, всё время хотелось пить…

После обеда приезжали две богатые дамы, помещицы, которые сидели часа полтора молча,

с вытянутыми физиономиями; приходил по делу архимандрит, молчаливый и глуховатый. А там зазвонили к вечерне, солнце опустилось за лесом, и день прошел. Вернувшись из церкви, преосвященный торопливо помолился, лег в постель, укрылся потеплей.

Неприятно было вспоминать про рыбу, которую ел за обедом. Лунный свет беспокоил его, а потом послышался разговор. В соседней комнате, должно быть, в гостиной, отец Сисой говорил о политике:

— У японцев теперь война. Воюют. Японцы, матушка, всё равно, что черногорцы, одного племени. Под игом турецким вместе были.

А потом послышался голос Марии Тимофеевны:

— Значит, богу помолившись, это, чаю напившись, поехали мы, значит, к отцу Егору в Новохатное, это…

И то и дело «чаю напившись», или «напимшись», и похоже было, как будто в своей жизни она только и знала, что чай пила. Преосвященному медленно, вяло вспоминалась семинария, академия. Года три он был учителем греческого языка в семинарии, без очков уже не мог смотреть в книгу, потом постригся в монахи,

его сделали инспектором. Потом защищал диссертацию. Когда ему было 32 года, его сделали ректором семинарии, посвятили в архимандриты, и тогда жизнь была такой легкой, приятной, казалась длинной-длинной, конца не было видно. Тогда же стал болеть, похудел очень, едва не ослеп и, по совету докторов, должен был бросить всё и уехать за границу.

— А потом что? — спросил Сисой в соседней комнате.

— А потом чай пили… — ответила Марья Тимофеевна.

— Батюшка, у вас борода зеленая! — проговорила вдруг Катя с удивлением и засмеялась.

Преосвященный вспомнил, что у седого отца Сисоя борода в самом деле отдает зеленью, и засмеялся.

— Господи боже мой, наказание с этой девочкой! — проговорил громко Сисой, рассердившись. — Балованная какая! Сиди смирно!

Вспомнилась преосвященному белая церковь, совершенно новая, в которой он служил, живя за границей; вспомнился шум теплого моря. Квартира была в пять комнат, высоких и светлых, в кабинете новый письменный стол, библиотека. Много читал, часто писал. И вспомнилось ему,

как он тосковал по родине, как слепая нищая каждый день у него под окном пела о любви и играла на гитаре, и он, слушая ее, почему-то всякий раз думал о прошлом. Но вот минуло восемь лет, и его вызвали в Россию, и теперь он уже состоит викарным архиереем, и всё прошлое ушло куда-то далеко, в туман, как будто снилось…

В спальню вошел отец Сисой со свечой.

— Эва, — удивился он, — вы уже спите, преосвященнейший?

— Что такое?

— Да ведь еще рано, десять часов, а то и меньше. Я свечку нынче купил, хотел было вас салом смазать.

— У меня жар… — проговорил преосвященный и сел. — В самом деле, надо бы что-нибудь. В голове нехорошо…

Сисой снял с него рубаху и стал натирать ему грудь и спину свечным салом.

— Вот так… вот так… — говорил он. — Господи Иисусе Христе… Вот так. Сегодня ходил я в город, был у того — как его? — протоиерея Сидонского… Чай пил у него… Не ндравится он мне! Господи Иисусе Христе… Вот так… Не ндравится!

III

Епархиальный архиерей, старый, очень полный, был болен ревматизмом или подагрой и уже месяц не вставал с постели. Преосвященный Петр проведывал его почти каждый день и принимал вместо него просителей. И теперь, когда ему нездоровилось, его поражали пустота, мелкость всего того, о чем просили, о чем плакали; его сердили неразвитость, робость; и всё это мелкое и ненужное угнетало его своею массою, и ему казалось, что теперь он понимал епархиального архиерея, который когда-то, в молодые годы, писал «Учения о свободе воли», теперь же, казалось, весь ушел в мелочи, всё позабыл и не думал о боге. За границей преосвященный, должно быть, отвык от русской жизни, она была нелегка для него; народ казался ему грубым, женщины-просительницы скучными и глупыми, семинаристы и их учителя необразованными, порой дикими. А бумаги, входящие и исходящие, считались десятками тысяч, и какие бумаги! Благочинные во всей епархии ставили священникам, молодым и старым, даже их женам и детям, отметки по поведению, пятерки и четверки, а иногда и тройки, и об этом приходилось говорить, читать и писать

серьезные бумаги. И положительно нет ни одной свободной минуты, целый день душа дрожит, и успокаивался преосвященный Петр, только когда бывал в церкви.

Не мог он никак привыкнуть и к страху, какой он, сам того не желая, возбуждал в людях, несмотря на свой тихий, скромный нрав. Все люди в этой губернии, когда он глядел на них, казались ему маленькими, испуганными, виноватыми. В его присутствии робели все, даже старики протоиереи, все «бухали» ему в ноги, а недавно одна просительница, старая деревенская попадья, не могла выговорить ни одного слова от страха, так и ушла ни с чем. И он, который никогда не решался в проповедях говорить дурно о людях, никогда не упрекал, так как было жалко, — с просителями выходил из себя, сердился, бросал на пол прошения. За всё время, пока он здесь, ни один человек не поговорил с ним искренно, попросту, по-человечески; даже старуха мать, казалось, была уже не та, совсем не та! И почему, спрашивается, с Сисоем она говорила без умолку и смеялась много, а с ним, с сыном, была серьезна, обыкновенно молчала, стеснялась, что совсем не шло к ней? Единственный человек, который держал себя вольно в его

присутствии и говорил всё, что хотел, был старик Сисой, который всю свою жизнь находился при архиереях и пережил их одиннадцать душ. И потому-то с ним было легко, хотя, несомненно, это был тяжелый, вздорный человек.

Во вторник после обедни преосвященный был в архиерейском доме и принимал там просителей, волновался, сердился, потом поехал домой. Ему по-прежнему нездоровилось, тянуло в постель; но едва он вошел к себе, как доложили, что приехал Еракин, молодой купец, жертвователь, по очень важному делу. Надо было принять его. Сидел Еракин около часа, говорил очень громко, почти кричал, и было трудно понять, что он говорит.

— Дай бог, чтоб! — говорил он, уходя. — Всенепременнейше! По обстоятельствам, владыко преосвященнейший! Желаю, чтоб!

После него приезжала игуменья из дальнего монастыря. А когда она уехала, то ударили к вечерне, надо было идти в церковь.

Вечером монахи пели стройно, вдохновенно, служил молодой иеромонах с черной бородой; и преосвященный, слушая про жениха, грядущего в полунощи, и про чертог украшенный, чувствовал не раскаяние в грехах, не скорбь,

а душевный покой, тишину и уносился мыслями в далекое прошлое, в детство и юность, когда также пели про жениха и про чертог, и теперь это прошлое представлялось живым, прекрасным, радостным, каким, вероятно, никогда и не было. И, быть может, на том свете, в той жизни мы будем вспоминать о далеком прошлом, о нашей здешней жизни с таким же чувством. Кто знает! Преосвященный сидел в алтаре, было тут темно. Слезы текли по лицу. Он думал о том, что вот он достиг всего, что было доступно человеку в его положении, он веровал, но всё же не всё было ясно, чего-то еще недоставало, не хотелось умирать; и всё еще казалось, что нет у него чего-то самого важного, о чем смутно мечталось когда-то, и в настоящем волнует всё та же надежда на будущее, какая была и в детстве, и в академии, и за границей.

«Как они сегодня хорошо поют! — думал он, прислушиваясь к пению. — Как хорошо!»

IV

В четверг служил он обедню в соборе, было омовение ног. Когда в церкви кончилась служба и народ расходился по домам, то было солнечно, тепло, весело, шумела в канавах вода, а за

городом доносилось с полей непрерывное пение жаворонков, нежное, призывающее к покою. Деревья уже проснулись и улыбались приветливо, и над ними, бог знает куда, уходило бездонное, необъятное голубое небо.

Приехав домой, преосвященный Петр напился чаю, потом переоделся, лег в постель и приказал келейнику закрыть ставни на окнах. В спальне стало сумрачно. Однако какая усталость, какая боль в ногах и спине, тяжелая, холодная боль, какой шум в ушах! Он давно не спал, как казалось теперь, очень давно, и мешал ему уснуть какой-то пустяк, который брезжил в мозгу, как только закрывались глаза. Как и вчера, из соседних комнат сквозь стену доносились голоса, звук стаканов, чайных ложек… Мария Тимофеевна весело, с прибаутками рассказывала о чем-то отцу Сисою, а этот угрюмо, недовольным голосом отвечал: «Ну их! Где уж! Куда там!» И преосвященному опять стало досадно и потом обидно, что с чужими старуха держала себя обыкновенно и просто, с ним же, с сыном, робела, говорила редко и не то, что хотела, и даже, как казалось ему, все эти дни в его присутствии всё искала предлога, чтобы встать, так как стеснялась сидеть. А отец? Тот, вероятно, если бы был жив,

не мог бы выговорить при нем ни одного слова…

Что-то упало в соседней комнате на пол и разбилось; должно быть, Катя уронила чашку или блюдечко, потому что отец Сисой вдруг плюнул и проговорил сердито:

— Чистое наказание с этой девочкой, господи, прости меня грешного! Не напасешься!

Потом стало тихо, только доносились звуки со двора. И когда преосвященный открыл глаза, то увидел у себя в комнате Катю, которая стояла неподвижно и смотрела на него. Рыжие волосы, по обыкновению, поднимались из-за гребенки, как сияние.

— Ты, Катя? — спросил он. — Кто это там внизу всё отворяет и затворяет дверь?

— Я не слышу, — ответила Катя и прислушалась.

— Вот сейчас кто-то прошел.

— Да это у вас в животе, дядечка!

Он рассмеялся и погладил ее по голове.

— Так брат Николаша, говоришь, мертвецов режет? — спросил он, помолчав.

— Да. Учится.

— А он добрый?

— Ничего, добрый. Только водку пьет шибко.

— А отец твой от какой болезни умер?

— Папаша были слабые и худые, худые, и вдруг — горло. И я тогда захворала, и брат Федя, — у всех горло. Папаша померли, дядечка, а мы выздоровели.

У нее задрожал подбородок, и слезы показались на глазах, поползли по щекам.

— Ваше преосвященство, — проговорила она тонким голоском, уже горько плача, — дядечка, мы с мамашей остались несчастными… Дайте нам немножечко денег… будьте такие добрые… голубчик!..

Он тоже прослезился и долго от волнения не мог выговорить ни слова, потом погладил ее по голове, потрогал за плечо и сказал:

— Хорошо, хорошо, девочка. Вот наступит светлое Христово воскресение, тогда потолкуем… Я помогу… помогу…

Тихо, робко вошла мать и помолилась на образа. Заметив, что он не спит, она спросила:

— Не покушаете ли супчику?

— Нет, благодарю… — ответил он. — Не хочется.

— А вы, похоже, нездоровы… как я погляжу. Еще бы, как не захворать! Целый день на ногах, целый день — и боже мой, даже глядеть на вас и то тяжко. Ну, Святая не за горами, отдохнете,

бог даст, тогда и поговорим, а теперь не стану я беспокоить вас своими разговорами. Пойдем, Катечка, — пусть владыка поспит.

И он вспомнил, как когда-то очень давно, когда он был еще мальчиком, она точно так же, таким же шутливо-почтительным тоном говорила с благочинным!.. Только по необыкновенно добрым глазам, робкому, озабоченному взгляду, который она мельком бросила, выходя из комнаты, можно было догадаться, что это была мать. Он закрыл глаза и, казалось, спал, но слышал два раза, как били часы, как покашливал за стеной отец Сисой. И еще раз входила мать и минуту робко глядела на него. Кто-то подъехал к крыльцу, как слышно, в карете или в коляске. Вдруг стук, хлопнула дверь: вошел в спальню келейник.

— Ваше преосвященство! — окликнул он.

— Что?

— Лошади поданы, пора к страстям господним.

— Который час?

— Четверть восьмого.

Он оделся и поехал в собор. В продолжение всех двенадцати Евангелий нужно было стоять среди церкви неподвижно, и первое Евангелие, самое длинное, самое красивое, читал он сам. Бодрое, здоровое настроение овладело им. Это первое

Евангелие «Ныне прославися сын человеческий» он знал наизусть; и, читая, он изредка поднимал глаза и видел по обе стороны целое море огней, слышал треск свечей, но людей не было видно, как и в прошлые годы, и казалось, что это всё те же люди, что были тогда, в детстве и в юности, что они всё те же будут каждый год, а до каких пор — одному богу известно.

Отец его был дьякон, дед — священник, прадед — дьякон, и весь род его, быть может, со времен принятия на Руси христианства, принадлежал к духовенству, и любовь его к церковным службам, духовенству, к звону колоколов была у него врожденной, глубокой, неискоренимой; в церкви он, особенно когда сам участвовал в служении, чувствовал себя деятельным, бодрым, счастливым. Так и теперь. Только когда прочли уже восьмое Евангелие, он почувствовал, что ослабел у него голос, даже кашля не было слышно, сильно разболелась голова, и стал беспокоить страх, что он вот-вот упадет. И в самом деле, ноги совсем онемели, так что мало-помалу он перестал ощущать их, и непонятно ему было, как и на чем он стоит, отчего не падает…

Когда служба кончилась, было без четверти двенадцать. Приехав к себе, преосвященный

тотчас же разделся и лег, даже богу не молился. Он не мог говорить и, как казалось ему, не мог бы уже стоять. Когда он укрывался одеялом, захотелось вдруг за границу, нестерпимо захотелось! Кажется, жизнь бы отдал, только бы не видеть этих жалких, дешевых ставень, низких потолков, не чувствовать этого тяжкого монастырского запаха. Хоть бы один человек, с которым можно было бы поговорить, отвести душу!

Долго слышались чьи-то шаги в соседней комнате, и он никак не мог вспомнить, кто это. Наконец отворилась дверь, вошел Сисой со свечой и с чайной чашкой в руках.

— Вы уже легли, преосвященнейший? — спросил он. — А я вот пришел, хочу вас смазать водкой с уксусом. Ежели натереться хорошо, то большая от этого польза. Господи Иисусе Христе… Вот так… Вот так… А я сейчас в нашем монастыре был… Не нравится мне! Уйду отсюда завтра, владыко, не желаю больше. Господи Иисусе Христе… Вот так…

Сисой не мог долго оставаться на одном месте, и ему казалось, что в Панкратиевском монастыре он живет уже целый год. А главное, слушая его, трудно было понять, где его дом, любит ли он кого-нибудь или что-нибудь, верует ли в бога…

Ему самому было непонятно, почему он монах, да и не думал он об этом, и уже давно стерлось в памяти время, когда его постригли; похоже было, как будто он прямо родился монахом.

— Уйду завтра. Бог с ним, со всем!

— Мне бы потолковать с вами… всё никак не соберусь, — проговорил преосвященный тихо, через силу. — Я ведь тут никого и ничего не знаю…

— До воскресенья, извольте, останусь, так и быть уж, а больше не желаю. Ну их!

— Какой я архиерей? — продолжал тихо преосвященный. — Мне бы быть деревенским священником, дьячком… или простым монахом… Меня давит всё это… давит…

— Что? Господи Иисусе Христе… Вот так… Ну, спите себе, преосвященнейший!.. Что уж там! Куда там! Спокойной ночи!

Преосвященный не спал всю ночь. А утром, часов в восемь, у него началось кровотечение из кишок. Келейник испугался и побежал сначала к архимандриту, потом за монастырским доктором Иваном Андреичем, жившим в городе. Доктор, полный старик с длинной седой бородой, долго осматривал преосвященного и всё покачивал головой и хмурился, потом сказал:

— Знаете, ваше преосвященство? Ведь у вас брюшной тиф!

От кровотечений преосвященный в какой-нибудь час очень похудел, побледнел, осунулся, лицо сморщилось, глаза были большие, и как будто он постарел, стал меньше ростом, и ему уже казалось, что он худее и слабее, незначительнее всех, что всё то, что было, ушло куда-то очень-очень далеко и уже более не повторится, не будет продолжаться.

«Как хорошо! — думал он. — Как хорошо!»

Пришла старуха мать. Увидев его сморщенное лицо и большие глаза, она испугалась, упала на колени пред кроватью и стала целовать его лицо, плечи, руки. И ей тоже почему-то казалось, что он худее, слабее и незначительнее всех, и она уже не помнила, что он архиерей, и целовала его, как ребенка, очень близкого, родного.

— Павлуша, голубчик, — заговорила она, — родной мой!.. Сыночек мой!.. Отчего ты такой стал? Павлуша, отвечай же мне!

Катя, бледная, суровая, стояла возле и не понимала, что с дядей, отчего у бабушки такое страдание на лице, отчего она говорит такие трогательные, печальные слова. А он уже не мог выговорить ни слова, ничего не понимал, и пред-

ставлялось ему, что он, уже простой, обыкновенный человек, идет по полю быстро, весело, постукивая палочкой, а над ним широкое небо, залитое солнцем, и он свободен теперь, как птица, может идти, куда угодно!

— Сыночек, Павлуша, отвечай же мне! — говорила старуха. — Что с тобой? Родной мой!

— Не беспокойте владыку, — проговорил Сисой сердито, проходя через комнату. — Пущай поспит… Нечего там… чего уж!..

Приезжали три доктора, советовались, потом уехали. День был длинный, неимоверно длинный, потом наступила и долго-долго проходила ночь, а под утро, в субботу, к старухе, которая лежала в гостиной на диване, подошел келейник и попросил ее сходить в спальню: преосвященный приказал долго жить.

А на другой день была Пасха. В городе было сорок две церкви и шесть монастырей; гулкий, радостный звон с утра до вечера стоял над городом, не умолкая, волнуя весенний воздух; птицы пели, солнце ярко светило. На большой базарной площади было шумно, колыхались качели, играли шарманки, визжала гармоника, раздавались пьяные голоса. На главной улице после полудня началось катанье на рысаках, — одним словом,

было весело, всё благополучно, точно так же, как было в прошлом году, как будет, по всей вероятности, и в будущем.

Через месяц был назначен новый викарный архиерей, а о преосвященном Петре уже никто не вспоминал. А потом и совсем забыли. И только старуха, мать покойного, которая живет теперь у зятя-дьякона в глухом уездном городишке, когда выходила под вечер, чтобы встретить свою корову, и сходилась на выгоне с другими женщинами, то начинала рассказывать о детях, о внуках, о том, что у нее был сын архиерей, и при этом говорила робко, боясь, что ей не поверят…

И ей в самом деле не все верили.

1898–1902

Студент

Погода вначале была хорошая, тихая. Кричали дрозды, и по соседству в болотах что-то живое жалобно гудело, точно дуло в пустую бутылку. Протянул один вальдшнеп, и выстрел по нем прозвучал в весеннем воздухе раскатисто и весело. Но когда стемнело в лесу, некстати подул с востока холодный пронизывающий ветер, всё смолкло. По лужам протянулись ледяные иглы, и стало в лесу неуютно, глухо и нелюдимо. Запахло зимой.

Иван Великопольский, студент духовной академии, сын дьячка, возвращаясь с тяги домой, шел всё время заливным лугом по тропинке. У него закоченели пальцы и разгорелось от ветра лицо. Ему казалось, что этот внезапно наступивший холод нарушил во всем порядок и согласие, что самой природе жутко, и оттого вечерние потемки сгустились быстрей, чем надо. Кругом было пустынно и как-то особенно мрачно. Только на вдовьих огородах около реки светился огонь; далеко же кругом и там, где была деревня, версты за четыре, всё сплошь утопало в холодной вечерней мгле. Студент вспомнил, что, когда он уходил

из дому, его мать, сидя в сенях на полу, босая, чистила самовар, а отец лежал на печи и кашлял; по случаю Страстной пятницы дома ничего не варили, и мучительно хотелось есть. И теперь, пожимаясь от холода, студент думал о том, что точно такой же ветер дул и при Рюрике, и при Иоанне Грозном, и при Петре, и что при них была точно такая же лютая бедность, голод, такие же дырявые соломенные крыши, невежество, тоска, такая же пустыня кругом, мрак, чувство гнета, — все эти ужасы были, есть и будут, и оттого, что пройдет еще тысяча лет, жизнь не станет лучше. И ему не хотелось домой.

Огороды назывались вдовьими потому, что их содержали две вдовы, мать и дочь. Костер горел жарко, с треском, освещая далеко кругом вспаханную землю. Вдова Василиса, высокая, пухлая старуха в мужском полушубке, стояла возле и в раздумье глядела на огонь; ее дочь Лукерья, маленькая, рябая, с глуповатым лицом, сидела на земле и мыла котел и ложки. Очевидно, только что отужинали. Слышались мужские голоса; это здешние работники на реке поили лошадей.

— Вот вам и зима пришла назад, — сказал студент, подходя к костру. — Здравствуйте!

Василиса вздрогнула, но тотчас же узнала его

и улыбнулась приветливо.

— Не узнала, бог с тобой, — сказала она. — Богатым быть.

Поговорили. Василиса, женщина бывалая, служившая когда-то у господ в мамках, а потом в няньках, выражалась деликатно, и с лица ее всё время не сходила мягкая, степенная улыбка; дочь же ее Лукерья, деревенская баба, забитая мужем, только щурилась на студента и молчала, и выражение у нее было странное, как у глухонемой.

— Точно так же в холодную ночь грелся у костра апостол Петр, — сказал студент, протягивая к огню руки. — Значит, и тогда было холодно. Ах, какая то была страшная ночь, бабушка! До чрезвычайности унылая, длинная ночь!

Он посмотрел кругом на потемки, судорожно встряхнул головой и спросил:

— Небось, была на двенадцати евангелиях?

— Была, — ответила Василиса.

— Если помнишь, во время Тайной вечери Петр сказал Иисусу: «С тобою я готов и в темницу, и на смерть». А господь ему на это: «Говорю тебе, Петр, не пропоет сегодня петел, то есть петух, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня». После вечери Иисус смертельно тосковал в саду и мо-

лился, а бедный Петр истомился душой, ослабел, веки у него отяжелели, и он никак не мог побороть сна. Спал. Потом, ты слышала, Иуда в ту же ночь поцеловал Иисуса и предал его мучителям. Его связанного вели к первосвященнику и били, а Петр, изнеможенный, замученный тоской и тревогой, понимаешь ли, невыспавшийся, предчувствуя, что вот-вот на земле произойдет что-то ужасное, шел вслед… Он страстно, без памяти любил Иисуса, и теперь видел издали, как его били…

Лукерья оставила ложки и устремила неподвижный взгляд на студента.

— Пришли к первосвященнику, — продолжал он, — Иисуса стали допрашивать, а работники тем временем развели среди двора огонь, потому что было холодно, и грелись. С ними около костра стоял Петр и тоже грелся, как вот я теперь. Одна женщина, увидев его, сказала: «И этот был с Иисусом», то есть, что и его, мол, нужно вести к допросу. И все работники, что находились около огня, должно быть, подозрительно и сурово поглядели на него, потому что он смутился и сказал: «Я не знаю его». Немного погодя опять кто-то узнал в нем одного из учеников Иисуса и сказал: «И ты из них». Но он опять отрекся. И в третий

раз кто-то обратился к нему: «Да не тебя ли сегодня я видел с ним в саду?» Он третий раз отрекся. И после этого раза тотчас же запел петух, и Петр, взглянув издали на Иисуса, вспомнил слова, которые он сказал ему на вечере… Вспомнил, очнулся, пошел со двора и горько-горько заплакал. В Евангелии сказано: «И исшед вон, плакася горько». Воображаю: тихий-тихий, темный-темный сад, и в тишине едва слышатся глухие рыдания…

Студент вздохнул и задумался. Продолжая улыбаться, Василиса вдруг всхлипнула, слезы, крупные, изобильные, потекли у нее по щекам, и она заслонила рукавом лицо от огня, как бы стыдясь своих слез, а Лукерья, глядя неподвижно на студента, покраснела, и выражение у нее стало тяжелым, напряженным, как у человека, который сдерживает сильную боль.

Работники возвращались с реки, и один из них верхом на лошади был уже близко, и свет от костра дрожал на нем. Студент пожелал вдовам спокойной ночи и пошел дальше. И опять наступили потемки и стали зябнуть руки. Дул жестокий ветер, в самом деле возвращалась зима, и не было похоже, что послезавтра Пасха.

Теперь студент думал о Василисе: если она заплакала, то, значит, всё, происходившее в ту

страшную ночь с Петром, имеет к ней какое-то отношение…

Он оглянулся. Одинокий огонь спокойно мигал в темноте, и возле него уже не было видно людей. Студент опять подумал, что если Василиса заплакала, а ее дочь смутилась, то, очевидно, то, о чем он только что рассказывал, что происходило девятнадцать веков назад, имеет отношение к настоящему — к обеим женщинам и, вероятно, к этой пустынной деревне, к нему самому, ко всем людям. Если старуха заплакала, то не потому, что он умеет трогательно рассказывать, а потому, что Петр ей близок, и потому, что она всем своим существом заинтересована в том, что происходило в душе Петра.

И радость вдруг заволновалась в его душе, и он даже остановился на минуту, чтобы перевести дух. «Прошлое, — думал он, — связано с настоящим непрерывною цепью событий, вытекавших одно из другого». И ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи: дотронулся до одного конца, как дрогнул другой.

А когда он переправлялся на пароме через реку и потом, поднимаясь на гору, глядел на свою родную деревню и на запад, где узкою полосой светилась холодная багровая заря, то думал о том, что правда и красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле; и чувство молодости, здоровья, силы, — ему было только 22 года, — и невыразимо сладкое ожидание счастья, неведомого, таинственного счастья овладевало им мало-помалу, и жизнь казалась ему восхитительной, чудесной и полной высокого смысла.

1894

Л. Н. Андреев

Баргамот и Гараська

Было бы несправедливо сказать, что природа обидела Ивана Акиндиныча Бергамотова, в своей официальной части именовавшегося «городовой бляха № 20», а в неофициальной попросту «Баргамот». Обитатели одной из окраин губернского города Орла, в свою очередь по отношению к месту жительства называвшиеся пушкарями (от названия Пушкарной улицы), а с духовной стороны характеризовавшиеся прозвищем «пушкари — проломленные головы», давая Ивану Акиндиновичу это имя, без сомнения, не имели в виду свойств, присущих столь нежному и деликатному плоду, как бергамот. По своей внешности «Баргамот», скорее, напоминал мастодонта или вообще одного из тех милых, но погибших созданий, которые за недостатком помещения давно уже покинули землю, заполненную мозгляками-людишками. Высокий, толстый, сильный, громогласный Баргамот составлял на полицейском горизонте видную фигуру и давно, конечно, достиг бы известных степеней, если бы душа его, сдавленная толстыми стенами, не была погружена в богатырский сон. Внешние впечатления,

проходя в душу Баргамота через его маленькие, заплывшие глазки, по дороге теряли всю свою остроту и силу и доходили до места назначения лишь в виде слабых отзвуков и отблесков. Человек с возвышенными требованиями назвал бы его куском мяса, околоточные надзиратели величали его дубиной, хоть и исполнительной, для пушкарей же — наиболее заинтересованных в этом вопросе лиц — он был степенным, серьезным и солидным человеком, достойным всякого почета и уважения. То, что знал Баргамот, он знал твердо. Пусть это была одна инструкция для городовых, когда-то напряжением всего громадного тела усвоенная им, но зато эта инструкция так глубоко засела в его неповоротливом мозгу, что вытравить ее оттуда нельзя было даже крепкой водкой. Не менее прочную позицию занимали в его душе немногие истины, добытые путем житейского опыта и, безусловно, господствовавшие над местностью. Чего не знал Баргамот, о том он молчал с такой несокрушимой солидностью, что людям знающим становилось как будто немного совестно за свое знание. А самое главное — Баргамот обладал непомерной силищей, сила же на Пушкарной улице была все. Населенная сапожниками, пенькотрепальщиками,

кустарями-портными и иных свободных профессий представителями, обладая двумя кабаками, воскресеньями и понедельниками, все свои часы досуга Пушкарная посвящала гомерической драке, в которой принимали непосредственное участие жены, растрепанные, простоволосые, растаскивавшие мужей, и маленькие ребятишки, с восторгом взиравшие на отвагу тятек. Вся эта буйная волна пьяных пушкарей, как о каменный оплот, разбивалась о непоколебимого Баргамота, забиравшего методически в свои мощные длани пару наиболее отчаянных крикунов и самолично доставлявшего их «за клин». Крикуны покорно вручали свою судьбу в руки Баргамота, протестуя лишь для порядка.

Таков был Баргамот в области международных отношений. В сфере внутренней политики он держался с не меньшим достоинством. Маленькая, покосившаяся хибарка, в которой обитал Баргамот с женой и двумя детишками и которая с трудом вмещала его грузное тело, трясясь от дряхлости и страха за свое существование, когда Баргамот ворочался, — могла быть спокойна если не за свои деревянные устои, то за устои семейного союза. Хозяйственный, рачительный, любивший в свободные дни копаться в огороде,

Баргамот был строг. Путем того же физического воздействия он учил жену и детей, не столько сообразуясь с их действительными потребностями в науке, сколько с теми неясными на этот счет указаниями, которые существовали где-то в закоулке его большой головы. Это не мешало жене его Марье, еще моложавой и красивой женщине, с одной стороны, уважать мужа как человека степенного и непьющего, а с другой — вертеть им, при всей его грузности, с такой легкостью и силой, на которую только и способны слабые женщины.

Часу в десятом теплого весеннего вечера Баргамот стоял на своем обычном посту, на углу Пушкарной и 3-й Посадской улиц. Настроение Баргамота было скверное. Завтра Светлое Христово Воскресение, сейчас люди пойдут в церковь, а ему стоять на дежурстве до трех часов ночи, только к разговинам домой попадешь. Потребности молиться Баргамот не ощущал, но праздничное, светлое настроение, разлитое по необычайно тихой и спокойной улице, коснулось и его. Ему не нравилось место, на котором он ежедневно спокойно стоял в течение десятка годов: хотелось тоже делать что-нибудь такое праздничное, что делают другие. В виде смутных

ощущений поднимались в нем недовольство и нетерпение. Кроме того, он был голоден. Жена нынче совсем не дала ему обедать. Так, только тюри пришлось похлебать. Большой живот настоятельно требовал пищи, разговляться-то когда еще!

— Тьфу! — плюнул Баргамот, сделав цигарку, и начал нехотя сосать ее. Дома у него были хорошие папиросы, презентованные местным лавочником, но и они откладывались до «разговленья».

Вскоре потянулись в церковь и пушкари, чистые, благообразные, в пиджаках и жилетах поверх красных и синих шерстяных рубах, в длинных, с бесконечным количеством сброк, сапогах на высоких и острых каблучках. Завтра всему этому великолепию предстояло частью попасть на стойку кабаков, а частью быть разорванным в дружеской схватке за гармонию, но сегодня пушкари сияли. Каждый бережно нес узелок с пасхой и куличами. На Баргамота никто не обращал внимания, да и он с неособенной любовью посматривал на своих «крестников», смутно предчувствуя, сколько путешествий придется ему завтра совершить в участок. В сущности, ему было завидно, что они свободны и идут

туда, где будет светло, шумно и радостно, а он торчи тут, как неприкаянный.

«Стой тут из-за вас, пьяниц!» — резюмировал он свои размышления и еще раз плюнул — сосало под ложечкой.

Улица опустела. Отзвонили к обедне. Потом радостный, переливчатый трезвон, такой веселый после заунывных великопостных колоколов, разнес по миру благостную весть о воскресении Христа. Баргамот снял шапку и перекрестился. Скоро и домой. Баргамот повеселел, представляя себе стол, накрытый чистой скатертью, куличи, яйца. Он, не торопясь, со всеми похристосуется. Разбудят и принесут Ванюшку, который первым делом потребует крашеного яичка, о котором целую неделю вел обстоятельные беседы с более опытной сестренкой. Вот-то разинет он рот, когда отец преподнесет ему не линючее, окрашенное фуксином яйцо, а настоящее мраморное, что самому ему презентовал все тот же обязательный лавочник!

«Потешный мальчик!» — ухмыльнулся Баргамот, чувствуя, как что-то вроде родительской нежности поднимается со дна его души.

Но благодушие Баргамота было нарушено самым подлым образом. За углом послышались

неровные шаги и сиплое бормотанье. «Кого это несет нелегкая?» — подумал Баргамот, заглянул за угол и всей душой оскорбился. Гараська! Сам с своей собственной пьяной особой, — его только недоставало! Где он поспел до свету наклюкаться, составляло его тайну, но что он наклюкался, было вне всякого сомнения. Его поведение, загадочное для всякого постороннего человека, для Баргамота, изучившего душу пушкаря вообще и подлую Гараськину натуру в частности, было вполне ясно. Влекомый непреодолимой силой, Гараська со средины улицы, по которой он имел обыкновение шествовать, был притиснут к забору. Упершись обеими руками и сосредоточенно-вопросительно вглядываясь в стену, Гараська покачивался, собирая силы для новой борьбы с неожиданными препятствиями. После непродолжительного напряженного размышления Гараська энергично отпихнулся от стены, допятился задом до средины улицы и, сделав решительный поворот, крупными шагами устремился в пространство, оказавшееся вовсе не таким бесконечным, как о нем говорят, и в действительности ограниченное массой фонарей. С первым же из них Гараська вступил в самые тесные отношения, заключив его в дру-

жеские и крепкие объятия.

— Фонарь. Тпру! — кратко констатировал Гараська совершившийся факт. Вопреки обыкновению Гараська был настроен чрезвычайно добродушно. Вместо того чтобы обсыпать столб заслуженными ругательствами, Гараська обратился к нему с кроткими упреками, носившими несколько фамильярный оттенок.

— Стой, дурашка, куда ты?! — бормотал он, откачиваясь от столба и снова всей грудью припадая к нему и чуть не сплющивая носа об его холодную и сыроватую поверхность. — Вот, вот!.. — Гараська, уже наполовину скользнувший вдоль столба, успел удержаться и погрузился в задумчивость.

Баргамот с высоты своего роста, презрительно скосив губы, смотрел на Гараську. Никто ему так не досаждал на Пушкарной, как этот пьянчужка. Так посмотришь, — в чем душа держится, а скандалист первый на всей окраине. Не человек, а язва. Пушкарь напьется, побуянит, переночует в участке — и все это выходит у него по-благородному, а Гараська все исподтишка, с язвительностью. И били-то его до полусмерти, и в части впроголодь держали, а все не могли отучить от ругани, самой обидной и злоязычной.

Станет под окнами кого-нибудь из наиболее почетных лиц на Пушкарной и начнет костить, без всякой причины, здорово живешь. Приказчики ловят Гараську и бьют, — толпа хохочет, рекомендуя поддать жару. Самого Баргамота Гараська ругал так фантастически реально, что тот, не понимая даже всей соли Гараськиных острот, чувствовал, что он обижен более, чем если бы его выпороли.

Чем промышлял Гараська, оставалось для пушкарей одной из тайн, которыми было облечено все его существование. Трезвым его не видел никто, даже та нянька, которая в детстве ушибает ребят, после чего от них слышится спиртный запах, — от Гараськи и до ушиба несло сивухой. Жил, то есть ночевал, Гараська по огородам, по берегу, под кусточками. Зимой куда-то исчезал, с первым дыханием весны появлялся. Что его привлекало на Пушкарную, где его не бил только ленивый, — было опять-таки тайной бездонной Гараськиной души, но выжить его ничем не могли. Предполагали, и не без основания, что Гараська поворовывает, но поймать его не могли и били лишь на основании косвенных улик.

На этот раз Гараське пришлось, видимо, преодолеть нелегкий путь. Отрепья, делавшие вид, что

они серьезно прикрывают его тощее тело, были все в грязи, еще не успевшей засохнуть. Физиономия Гараськи, с большим отвислым красным носом, бесспорно служившим одной из причин его неустойчивости, покрытая жиденькой и неравномерно распределенной растительностью, хранила на себе вещественные знаки вещественных отношений к алкоголю и кулаку ближнего. На щеке у самого глаза виднелась царапина, видимо, недавнего происхождения.

Гараське удалось наконец расстаться со столбом, когда он заметил величественно-безмолвную фигуру Баргамота. Гараська обрадовался.

— Наше вам! Баргамоту Баргамотычу!.. Как ваше драгоценное здоровье? — Галантно он сделал ручкой, но, пошатнувшись, на всякий случай уперся спиной в столб.

— Куда идешь? — мрачно прогудел Баргамот.

— Наша дорога прямая…

— Воровать? А в часть хочешь? Сейчас, подлеца, отправлю.

— Не можете.

Гараська хотел сделать жест, выражающий удальство, но благоразумно удержался, плюнул и пошаркал на одном месте ногой, делая вид, что растирает плевок.

— А вот в участке поговоришь! Марш! — Мощная длань Баргамота устремилась к засаленному вороту Гараськи, настолько засаленному и рваному, что Баргамот был, очевидно, уже не первым руководителем Гараськи на тернистом пути добродетели.

Встряхнув слегка пьяницу и придав его телу надлежащее направление и некоторую устойчивость, Баргамот потащил его к вышеуказанной им цели, совершенно уподобляясь могучему буксиру, влекущему за собою легонькую шкуну, потерпевшую аварию у самого входа в гавань. Он чувствовал себя глубоко обиженным: вместо заслуженного отдыха тащись с этим пьянчужкой в участок. Эх! У Баргамота чесались руки, но сознание того, что в такой великий день как будто неудобно пускать их в ход, сдерживало его. Гараська шагал бодро, совмещая удивительным образом самоуверенность и даже дерзость с кротостью. У него, очевидно, была своя мысль, к которой он и начал подходить сократовским методом:

— А скажи, господин городовой, какой нынче у нас день?

— Уж молчал бы! — презрительно ответил Баргамот. — До свету нализался.

— А у Михаила-архангела звонили?

— Звонили. Тебе-то что?

— Христос, значит, воскрес?

— Ну, воскрес.

— Так позвольте… — Гараська, ведший этот разговор вполоборота к Баргамоту, решительно повернулся к нему лицом.

Баргамот, заинтригованный странными вопросами Гараськи, машинально выпустил из руки засаленный ворот; Гараська, утратив точку опоры, пошатнулся и упал, не успев показать Баргамоту предмета, только что вынутого им из кармана. Приподнявшись одним туловищем, опираясь на руки, Гараська посмотрел вниз, — потом упал лицом на землю и завыл, как бабы воют по покойнике.

Гараська воет! Баргамот изумился. «Новую шутку, должно быть, выдумал», — решил он, но все же заинтересовался, что будет дальше. Дальше Гараська продолжал выть без слов, по-собачьи.

— Что ты, очумел, что ли? — ткнул его ногой Баргамот.

Воет. Баргамот в раздумье.

— Да чего тебя расхватывает?

— Яи-ч-ко…

Гараська, продолжая выть, но уже потише, сел и поднял руку кверху. Рука была покрыта какой-то слизью, к которой пристали кусочки крашеной яичной скорлупы. Баргамот, продолжая недоумевать, начинает чувствовать, что случилось что-то нехорошее.

— Я… по-благородному… похристосоваться… яичко, а ты… — бессвязно бурлил Гараська, но Баргамот понял. Вот к чему, стало быть, вел Гараська: похристосоваться хотел, по христианскому обычаю, яичком, а он, Баргамот, его в участок пожелал отправить. Может, откуда он это яичко нес, а теперь вон разбил его. И плачет.

Баргамоту представилось, что мраморное яичко, которое он бережет для Ванюшки, разбилось, и как это ему, Баргамоту, было жаль.

— Экая оказия, — мотал головой Баргамот, глядя на валявшегося пьянчужку и чувствуя, что жалок ему этот человек, как брат родной, кровно своим же братом обиженный.

— Похристосоваться хотел… Тоже душа живая, — бормотал городовой, стараясь со всею неуклюжестью отдать себе ясный отчет в положении дел и в том сложном чувстве стыда и жалости, которое все более угнетало его. — А я, тово… в участок! Ишь ты!

Тяжело крякнув и стукнув своей «селедкой» по камню, Баргамот присел на корточки около Гараськи.

— Ну… — смущенно гудел он. — Может, оно не разбилось?

— Да, не разбилось, ты и морду-то всю готов разбить. Ирод!

— А ты чего же?

— Чего? — передразнил Гараська. — К нему по-благородному, а он в… в участок. Может, яичко-то у меня последнее? Идол!

Баргамот пыхтел. Его нисколько не оскорбляли ругательства Гараськи; всем своим нескладным нутром он ощущал не то жалость, не то совесть. Где-то, в самых отдаленных недрах его дюжего тела, что-то назойливо сверлило и мучило.

— Да разве вас можно не бить? — спросил Баргамот не то себя, не то Гараську.

— Да ты, чучело огородное, пойми…

Гараська, видимо, входил в обычную колею. В его несколько проясневшем мозгу вырисовывалась целая перспектива самых соблазнительных ругательств и обидных прозвищ, когда сосредоточенно сопевший Баргамот голосом, не оставлявшим ни малейшего сомнения в твердости принятого им решения, заявил:

— Пойдем ко мне разговляться.

— Так я к тебе, пузатому черту, и пошел!

— Пойдем, говорю!

Изумлению Гараськи не было границ. Совершенно пассивно позволив себя поднять, он шел, ведомый под руку Баргамотом, шел — и куда же? — не в участок, а в дом к самому Баргамоту, чтобы там еще… разговляться! В голове Гараськи блеснула соблазнительная мысль — навострить от Баргамота лыжи, но хоть голова его и прояснела от необычности положения, зато лыжи находились в самом дурном состоянии, как бы поклявшись вечно цепляться друг за друга и не давать друг другу ходу. Да и Баргамот был так чуден, что Гараське, собственно говоря, и не хотелось уходить. С трудом ворочая языком, приискивая слова и путаясь, Баргамот то излагал ему инструкцию для городовых, то снова возвращался к основному вопросу о битье и участке, разрешая его в смысле положительном, но в то же время и отрицательном.

— Верно говорите, Иван Акиндиныч, нельзя нас не бить, — поддерживал Гараська, чувствуя даже какую-то неловкость: уж больно чуден был Баргамот!

— Да нет, не то я говорю… — мямлил Баргамот,

еще менее, очевидно, чем Гараська, понимавший, что городит его суконный язык…

Пришли наконец домой, — и Гараська уже перестал изумляться. Марья сперва вытаращила глаза при виде необычайной пары, — но по растерянному лицу мужа догадалась, что противоречить не нужно, а по своему женскому мягкосердечию живо смекнула, что надо делать.

Вот ошалевший и притихший Гараська сидит за убранным столом. Ему так совестно, что хоть сквозь землю провалиться. Совестно своих отрепий, совестно своих грязных рук, совестно всего себя, оборванного, пьяного, скверного. Обжигаясь, ест он дьявольски горячие, заплывшие жиром щи, проливает на скатерть и, хотя хозяйка деликатно делает вид, что не замечает этого, конфузится и больше проливает. Так невыносимо дрожат эти заскорузлые пальцы с большими грязными ногтями, которые впервые заметил у себя Гараська.

— Иван Акиндиныч, а что же ты Ванятке-то… сюрпризец? — спрашивает Марья.

— Не надо, потом… — отвечает торопливо Баргамот. Он обжигается щами, дует на ложку и солидно обтирает усы, — но сквозь эту солидность сквозит то же изумление, что и у Гараськи.

— Кушайте, кушайте, — потчует Марья. — Герасим… как звать вас по батюшке?

— Андреич.

— Кушайте, Герасим Андреич.

Гараська старается проглотить, давится и, бросив ложку, падает головой на стол прямо на сальное пятно, только что им произведенное. Из груди его вырывается снова тот жалобный и грубый вой, который так смутил Баргамота. Детишки, уже переставшие было обращать внимание на гостя, бросают свои ложки и дискантом присоединяются к его тенору. Баргамот с растерянною и жалкою миной смотрит на жену.

— Ну чего вы, Герасим Андреич! Перестаньте, — успокаивает та беспокойного гостя.

— По отчеству… Как родился, никто по отчеству… не называл…

1898

В Сабурове

Село Сабурово стоит на высоком нагорном берегу Десны, господствуя над бесконечной гладью лугов, лишь на далеком горизонте оттеняемых узкой полоской синеватого леса.

Лет 12 тому назад пришел в Сабурово мужик Пармен Еремеев Костылин. Никто на селе не знал, откуда он явился, да и не интересовался этим вопросом. Пармен был не из тех людей, с которыми приятно повести душевный разговор о жизни, сидя где-нибудь у залитой сивухой и засиженной мухами кабацкой стойки или валяясь на сене. Причиной тому была частью отвратительная внешность Пармена, частью его замкнутый, необщительный характер. Мужик он был рослый, здоровый, и, глядя на него сзади, всякий чувствовал расположение к этой крепко сколоченной фигуре, с слегка неуверенными движениями и нерешительной походкой. Но другое являлось чувство, когда человек вглядывался в его лицо. Страшная болезнь, известная в народе под именем волчанки, изъела это лицо, как заправский жестокий зверь. Она уничтожила нос, оставив на его месте дыру, скрываемую Парменом под чи-

стой белой тряпочкой; припухшие красноватые веки были совсем почти лишены ресниц и тяжело повисли над серыми глазами, придавая лицу выражение странной сонливости; щеки и подбородок были изборождены шрамами и рубцами, красными и блестящими, как будто произведшие их раны только что зажили. Ни бороды, ни усов не росло на этом убогом лице; на их месте сиротливо торчали тонкие, бесцветные волосики: так после лесного пожара, уничтожившего молодой березняк и осинник, на бугроватой земле одиноко возвышаются обуглившиеся деревца. Много есть на свете безносых людей, которые и поют, и пляшут, и компанию водят, настолько примирившись с отсутствием носа, что и другим начинает казаться: да этому лицу носа совсем и не нужно. Не таков был Пармен. Точно чувствуя себя виноватым в своем безобразии, этот дюжий мужик боялся людей и хоронился от них, а когда обстоятельства принуждали его к беседе, то говорил угрюмо и кратко. И хотя он мухи от роду не обидел, его не то чтобы побаивались, а считали способным на всякие поступки, на которые не решится другой, по пословице: «Бог шельму метит».

Появился Пармен впервые в качестве работни-

ка у Федота Гнедых, мужика хворого и слабосильного. Работал Пармен много и не покладая рук, но как-то беззвучно и невидно, точно его и нет. Через три года Федот умер. Пелагея, жена его, поголосила, сколько полагается, над покойником, выветрила избу от мертвого духа и продолжала жить, как и раньше, т. е. разрываясь на три части, по количеству детей. Старшему, Гришке, было всего 11 лет, а Санька, весьма требовательная и воинственная девица, еще не была отнята от груди. Подождав немного, Пармен попросил вдову отпустить его.

— Платить тебе нечем, какой я тебе работник, — заявил он коротко и резко.

Пелагея знала, что за золотые руки у Пармена, и в эту минуту он показался ей чуть ли не красавцем.

— Что я одна-то с ребятами поделаю, — заплакала она. — Не оставь ты меня, Еремеич, с малыми сиротами, будь им заместо отца… А я тебя по гроб твоей жизни не оставлю.

Пармен остался. Если раньше он работал за двоих, то теперь стал работать за десятерых, все так же тихо и безмолвно: одному ему был известен способ, посредством которого он ухитрялся делать невидимою свою рослую фигуру. Даже

с Пелагеей, с которой он спал на месте покойного Федота, он был неразговорчив, и только Санька умела вызывать его на разговор и даже на шутку. Эта юная особа, только что усвоившая первые начала пешего хождения и лишь в важных случаях, когда требовалась особенная быстрота, передвигавшаяся на четвереньках, была совершенно чужда чувству красоты. Отсутствие носа у дяди Пармена не только ее не шокировало, как взрослых, но, впадая в крайность, она находила нос излишним придатком. Не говоря уже о том, что он являлся обыкновенно первой жертвой при ее многочисленных падениях, — у матери ее, Пелагеи, существовала очень дурная привычка: завернув подол платья, хватать им Саньку за нос и немилосердно дергать. Хорошо еще, что нос был маленький, а с большим Саньке совсем бы и не управиться. Сидя у Пармена на коленях, Санька гладила пальцами блестящие края раны и, придерживая другой рукой для вящей ясности свою замазанную сопатку, наводила справки о том, какого приблизительно размера был дядин нос и куда он девался.

— Собака откусила, — шутил Пармен.

— Жучка? — спрашивала Санька, тараща глаза.

— Она самая.

Всесторонне обсудив это сообщение, Санька находила в нем несомненные признаки клеветы: Жучка не такая собака, чтобы откусить нос. Барбос — тот мог, но Жучка никогда. И Санька с ужасом смотрела на соседнего лохматого Барбоса, воображая, как хрустит у него на зубах дядин нос, и с визгом ковыляла к матери, когда Барбоска, пес в действительности вежливый и обходительный, выражал намерение лизнуть ее в лицо.

Постепенно Пармен привык к своему положению и значительно изменился нравом. Смеяться стал; раз, проезжая лесом, хотел запеть, но, видно, и горло было у него испорчено: звук получился такой, как будто ворона закаркала, а не мужик запел. Начал Пармен пользоваться и привилегией счастливых людей: вызывать к себе хорошее отношение. Его меньше чурались, и если продолжали звать Безносым, то не ради насмешки или от злобы, а просто в отметку действительного факта. Была бы довольна и Пелагея, если бы ее взгляд давно не заметил на этом чистом небе облачка, грозившего превратиться в тучу. Дело было в Гришке. Смуглый, как цыганенок, красивый мальчуган чувствовал непобеди-

мое нерасположение к Пармену. Говорливый со всеми, с Парменом он держался дичком и проницательным взглядом не по годам развитого ребенка провожал Пармена, когда тот укладывался на печи спать бок о бок с Пелагеей. В этом взгляде были и ревность, и пренебрежение к Безносому, занимающему место отца. Но еще больше, чем к матери, ревновал его Гришка к хозяйству, к дому, безотчетно возмущаясь тем, что какой-то чужак, пришелец, распоряжается, как своим, всем этим добром, идущим от деда, а то и прадеда.

— Воистину господь послал нам Пармена Еремеича, — издалека заводила разговор Пелагея, искоса поглядывая на Гришку.

Обыкновенно тот молча уходил, но, когда и он, и брат Митька подросли настолько, что сами могли управиться с хозяйством, он начал возражать матери.

— Прожили бы и одни, — бурчал он. — Эка невидаль. Думает, — безносый, так всякое ему и уважение. Держи карман шире.

— Чистый ты, Гришка, змееныш, — говорила Пелагея.

Пармен, в противоположность былой мнительности, ставший доверчивым даже до легкомыс-

ленности, ничего этого не замечал. Раз Григорий, уже семнадцатилетний здоровый малый, пришел домой особенно злой.

— Послушала бы, что люди-то говорят, — сказал он матери. — «У тебя, говорят, заместо отца Безносый». Ребята засмеяли, проходу не дают. Пожил, пора и честь знать.

Чуть ли не каждый день Григорий стал возвращаться к разговору на тему «пора и честь знать». Пелагея возражала, но с каждым разом все слабее. Ей самой начинало казаться странным хозяйничанье Пармена. «И чего он тут в самделе? — думала она, глядя на чужую, отвратительную физиономию Пармена, который, ничего не подозревая, с топориком охаживал кругом плетня. — Ишь колотит, кабудь и вправду мужик». Митька, парень болезненный и ко всему равнодушный, делал вид, что не замечает озлобления брата.

Было это осенним вечером, в воскресенье. Пармен, благодушествуя, сидел в избе за чаепитием. Тряпочку, которой обвязывался его нос, дома из экономии он снимал, и теперь лицо его, покрытое красными рубцами, лоснилось от пота и было неприятнее обыкновенного. Потягивая из блюдечка жиденький чай, отдающий запахом

распаренного веника, Пармен думал о Саньке, где-то гулявшей с девчонками, удивлялся этому невероятному мужику, Пармену, который пьет сейчас такой вкусный чай. И так незаслуженно счастлив, размышлял о том, с чего он начнет завтрашний рабочий день… Вошел Григорий, хмельной и решительный. «Эк подгулял парню-га, — усмехнулся Пармен. — Пущай: это он силу в себе чувствует». Не снимая шапки, Григорий остановился перед Парменом. На губах его блуждала пьяная усмешка.

— Проклаждаетесь? Чай, значит, распиваете. Так. А на какие-такие капиталы?

Пармен, продолжая улыбаться, хотел что-то сказать, но Григорий прервал его:

— А ежели скажем так: вот бог, а вот и порог. По-жалте, как ваше здоровье?

В глазах Пармена мелькнул испуг, хотя губы все еще продолжали кривиться в улыбку. Григорий, пошатываясь, подошел к Пармену вплотную, вырвал блюдце и выплеснул чай.

— Довольно-таки покуражились. Достаточно. Прямо так скажем: пора и честь знать. А нам безносых не надоть. Пож-жалте! Пофорсили — и будет. А вот, ежели угодно… раз! — Григорий сорвал с крюка армяк Пармена и бросил его

на пол. — Два! — За шапкой последовал пояс, потом сапоги, которые Григорий с трудом достал из-под лавки. — Три! Четыре! — Пармен, раскрыв рот, смотрел на парня. Пальцы, в которых он держал блюдце, так и остались растопыренными и дрожали. Вдруг он смутился, из бледноты ударился в краску и засуетился, собирая разбросанные вещи.

— Ты что же это, пьяница, делаешь? — заголосила Пелагея, которой стало жаль Пармена.

— А вы, маинька, не суйтесь. Ваше дело бабье, а ежели желаете, то вот... Семь! — Григорий выказал намерение сбросить еще что-то, но пошатнулся и плюхнулся на лавку.

— Что ж это, ничего, — бормотал Пармен, — это правильно. Волчанка съела. Я уйду.

— Да плюнь ты на него, непутевого, — причитала Пелагея. — Ишь, буркалы-то налил. Головушка моя горькая, доля ты моя бесталанная!..

— Восемь! — считал Григорий, опуская голову на грудь и засыпая. — Двенадцать!..

Через несколько дней Пармен ушел. Григорий во все эти дни избегал всякого с ним разговора; Пелагея тоже не удерживала и только твердила: «Голова моя горькая»; Митька делал вид, что ничего не замечает. Только Санька заревела бе-

лугой, узнав, что дядя Безносый уходит.

— А с кем я у поле поеду! — вопияла она, энергично вцепившись в Парменов полушубок.

В эту ночь, первую, проведенную без Пармена, она долго хныкала, вспоминая свою горькую участь. Побитая матерью, она наконец заснула, но часто вскрикивала спросонья и стонала.

Пармену удалось пристроиться сторожем в Шаблыкинском лесу, начинавшемся почти у самого села. Долгую зиму Пармен слушал по ночам волчий протяжный вой, пока не подошла весна, принесшая с собой жизнь для всей природы. Пробудилась жизнь и в окаменелом Пармене. Проваливаясь по колена в мягкий снег, под которым стояла чистая, прозрачная вода, Пармен пошел в гости к Пелагее, но был встречен недружелюбно. Так и ушел он, смущенный и потерянный. Но с тех пор по ночам часто бродил он вокруг темной хаты.

Страстная неделя кончалась. Вечером в субботу Пармен отправился в церковь, захватив с собой кулич, спеченный ему одной бабой с села. От сторожки до Сабурова было версты две, сперва лесом, потом полем, покрытым оврагами и водомоинами. Когда Пармен вышел из дому, темень была такая, что хоть глаз выколи. Звезд

и тех не видать было, хотя небо было безоблачно. Воздух стоял теплый, слегка сыроватый от испарений, поднимавшихся с оттаявшей, но не просохшей еще земли. Отовсюду окрест доносился тихий и ровный звук журчащей по межам воды. Разом на Пармена пахнуло свежестью и легким холодком: то потянуло ветром из глубокого оврага, еще наполовину полного снегом. На дне его, между отвесных стен, чуть слышно бурлила вешняя вода. Из беспросветно-черной дали доносились неясный гул и треск, то усиливаясь, то затихая, — это сталкивались, налезали друг на друга и ломались льдины на широко разлившейся Десне. Гул становился все яснее и громче, по мере того, как Пармен приближался к высокому нагорному берегу, по которому пролегала проезжая дорога. Вот уже ухо различает отдельные звуки: слышно, как бегут одна за другой веселые, бойкие струйки и вертятся, образуя водовороты; слышится, как разогнавшаяся большая льдина врезывается с треском в землю, выплескивая с собой волну. Берег круто заворачивает и открывает вид на церковь. Верх ее теряется в темном небе, но внизу ярко горят освещенные окна и дрожащими, колеблющимися пятнами отражаются на темной, движущейся

поверхности многоводной реки, на много верст затопившей луговую сторону.

Церковь была полна. Тоненькие восковые свечи горели тусклым, желтоватым огоньком в душном, спертом воздухе, полном запаха овчины. Сквозь неопределенный шуршащий звук, издаваемый толпой, прорывался страстный молитвенный шепот. Пармен стал в притворе, куда чуть слышно доходил протяжный голос священника. Звучало радостное пение:

«Христос воскрес из мертвых»...

Сгрудившаяся в притворе толпа всколыхнулась и сжалась еще более, давая дорогу причту. Прошел в светлых ризах священник; за ним, толкаясь и торопясь, беспорядочно двигались хоругвеносцы и молящиеся. Выбравшись из церкви, они быстро, почти бегом троекратно обошли ее. Радостно возбужденное, но нестройное пение то затихало, когда они скрывались за церковью, то снова вырывалось на простор. Надтреснутый колокол звонил с отчаянным весельем, и его медные, дрожащие звуки неслись, трепеща, в темную даль через широкую разлившуюся реку. Внезапно звон затих, и густое, дрожащее гуденье, замирая, позволяло слышать, как шумит река. Утомленное

ухо ловило звук далекого благовеста.

— Это в Измалкове звонют, — сказал один из мужиков, прислушиваясь. — Ишь как по воде-то доносит. По всей-то теперь земле звон идет…

И устремленным в темную даль глазам мужика представились бесконечные поля, широкие разлившиеся реки, и опять поля, и одинокие светящиеся церкви… И над всем этим, сотрясая теплый воздух, стоит радостный звон.

— Эх, — вздохнул мужик полной грудью, — простору-то, простору-то и-и…

Пармен пошел домой еще до окончания церковной службы. В сторожке было холодно и пусто. Пармен разложил на столе кулич, яйца и хотел разговляться, но кусок не шел в горло. Поколебавшись, он снова оделся и пошел в село.

В Сабурове улицы были пустынны и темны, но во всех окнах светился огонь, придавая селу вид необычного скрытого оживления. Хлопнула калитка. Пармен не успел перейти на другую сторону и был остановлен толстым мужиком. Это был Митрофан, поповский работник. Растопырив руки и покачиваясь, он запел:

А-ах, прости-прощай, ты, кра-са-вица,
Красота ль твоя мне не нра-а-витца…

Пармен молчал, а подгулявший Митрофан перешел в серьезный тон:

— Христос воскресе, Пармен Еремеевич.

— Воистину воскресе, Митрофан Панкратьич.

Мужики сняли шапки и троекратно поцеловались.

Митрофан надвинул шапку на затылок, вытер рукавом толстые губы и дружески заметил:

— Вишь ты, и рот-то у тебя какой липкий! А я, брат, того — выпил. Поп поднес. На, говорит, Митрофан, выпей от трудов праведных. Я и выпил. Отчего не выпить? Пойду к Титу и у Тита выпью, а поутру у Макарки выпью…

Митрофан наморщил брови, вычисляя, где еще и сколько ему придется выпить за эту неделю. Видимо, результат был утешительный: чело его разгладилось, и шапка как-то сама собой съехала на затылок. Простившись, Митрофан тронулся дальше.

Жучка заметалась и залаяла, когда Пармен подошел к хате Гнедых, но, увидав своего, завертелась волчком и в знак покорности и извинения легла на спину. Пармен погладил ее и осторожно вошел в калитку; он не хотел, чтобы с улицы заметили его.

Сквозь вымытые к празднику стекла оконца

отчетливо видна была часть избы. Прямо против Пармена сидела за столом Санька и с надувшимися, как барабан, щеками, с трудом что-то пережевывала. Глаза ее слипались, но зубы неутомимо работали. Рядом сидела Пелагея. Ее худощавый и острый профиль с слегка втянутыми губами был полон праздничной торжественности. Других Пармену видно не было. Вероятно, было сказано что-нибудь очень веселое, потому что Пелагея засмеялась, а Санька подавилась, и мать несколько раз стукнула ее по горбу. Пармен пристально смотрел в одну точку, не замечая, как была покончена еда и Пелагея начала убирать стол. Привел его в себя звук открывающейся двери. Захваченный врасплох Пармен отскочил в угол сарая и притаился, стараясь не дышать. На крыльцо вышел Григорий, посмотрел на посветлевшее небо, по которому зажглись запоздавшие звезды, почесался и продолжительно зевнул, оттолкнув от себя Жучку, заявившую о своем желании приласкаться. Оскорбленная собака направилась к Пармену и начала тереться около него.

— Цыц! Назад! — крикнул Григорий, но Жучка не шла. — Аль там кто есть? Мить, ты?

Пармен молчал, прижимаясь к стене. Григорий

подошел и увидел сгорбившуюся фигуру.

— Кто это? Чего тебе тут надо? Тебе говорят!

Пармен обернулся. Григорий узнал его и, насупившись, хотел поворотить от него в избу, но вдруг у него в голове мелькнула мысль о поджоге, тотчас же перешедшая в уверенность.

— Ты чего же здесь прячешься ночью? а?

Пармен молчал.

— А, так ты вот как! — схватил его Григорий за ворот и закричал: — Митька! Митька! Не, брат, не уйдешь.

Но Пармен и не думал уходить. Оцепенев, он бессмысленно смотрел на побледневшее от злости лицо Григория, потом на Митьку, который по настойчивому требованию брата стал шарить в его карманах, вытащив оттуда какую-то веревочку и коробок фосфорных спичек.

— А, поджигатель! — заорал Григорий. — Вот он твой благодетель-то, гляди! — крикнул он матери, с испугом смотревшей на эту сцену, и, рванув, стукнул Пармена головой о стену.

Санька, глаза которой хотели, казалось, выскочить из своих впадин, легонько охнула.

— Да что ты! — заговорил наконец Пармен. — Нешто я могу. Опамятовайся, бог с тобой.

— Еще поговори, гунявый!

— Так, значит, пришел, вот тебе крест. Не чужие ведь. Заместо отца был. Грех тебе, Гриша.

Гнев Григория начал было отходить, но последние слова снова разбудили его. Тряся Пармена за ворот, он грозил сейчас же отправить его в волостное правление и требовал, чтобы ему подали шапку и одежду.

Митрий лениво вступился:

— Пусти его, Григорий! Пущай идет.

— Головушка моя горькая! — запричитала Пелагея, скрываясь в избу и таща за собой Саньку, но та снова выскочила: у нее были свои мысли по поводу происходящего.

— Ну, так и быть, в последний раз, — отпустил Григорий ворот Парменова полушубка. — Только попомни мое слово: ежели еще раз увижу, безо всякого разговора колом огрею! Ну, чего стал! Иди, коли говорят!

Пармен поднял упавшую шапку и хотел что-то сказать, но трясущиеся губы не повиновались. Раза два открывался его рот, обнаруживая черные сгнившие зубы, но только одно слово вылетело оттуда:

— Про… щайте.

Сгорбившийся, как будто на его вороте все еще лежала тяжелая рука Григория, шагал Пармен

по улицам. Огоньки всюду погасли, и на селе царила тишина, — только один какой-то неудовлетворенный пес меланхолически завывал, восходя до самых высоких, чистых нот и спускаясь оттуда до легкого повизгивания. До солнца было еще далеко, но ночной мрак начал уже рассеиваться и сменился сероватым полусветом. Внезапно сзади Пармена послышался частый, дробный топот босых ног. Детский задыхающийся голос кричал, вытягивая, последние слова:

— Дядя Без-но-сай! Дядя Безно-сай!..

Пармен обернулся. С развевающейся вокруг ног юбчонкой бежала к нему Санька; кричать она была уже не в силах и только раскрывала рот.

Рядом с Санькой бежала вприпрыжку куцая Жучка. Подлетев к Пармену, Санька с разгону протянула к нему руку и из последнего запаса воздуха отрывисто шепнула:

— На.

— Что ты, Сашута? — наклонился к ней удивленный Пармен, не видя, что Жучка, перевернувшись на спину, также старается привлечь на себя его внимание! — Санька широко раскрыла рот и набрала воздуха для целой речи, но с первым же словом выпустила его:

— Тебе.

— Куда ты бежишь-то, стрекоза? — недоумевал все более Пармен.

— Дядя Безносый, пирог, — разрешилась наконец Санька, из благоразумной предосторожности не останавливаясь на знаках препинания.

Ее ручонка с трудом охватывала большой кусок пирога, порядком уже замусоленный. Присутствуя при объяснении Григория с Парменом, Санька без труда сообразила, что дядя Безносый приходил не поджигать, а разговляться, потому что живет он один и есть ему нечего. Раньше ему есть мамка давала, а теперь кто даст?

— Ешь, — протягивала Санька пирог. Как все особы ее возраста, она любила видеть немедленное осуществление своих планов. — Чего же ты не ешь?

Пармен, сжимая руками худенькие плечи, смотрел, не отрываясь, на ее пухлые щеки и вздернутый носик, не изменивший своим привычкам и где-то запачканный.

«Вот чудак-то: есть не хочет, — думала с недоверием Жучка, косясь на пирог и легонько подрягивая задней ногой. — А я бы съела».

— Ну, ешь, — просила Санька.

Вместо ожидаемого ответа Пармен подхватил ее на руки и прижал лохматую головенку к своей

рубцеватой, шершавой щеке. Саньке было тепло и хорошо, пока что-то мокрое не поползло по ее шее. Отдернув голову, она увидела, что дядя Безносый, этот страшно высокий и сильный дядя Безносый — плачет.

— Чего ты? Не плачь, — прошептала Санька. — Не плачь, — сурово продолжала она, не получая ответа. — А то и я зареву.

Пармен знал, что значит, когда Санька ревет, — значило это разбудить всю деревню, — и прошептал, целуя большие влажные глаза:

— Ничего, Сашута, ничего, девочка. Так это я, пройдет. Не забыла, вспомнила. — И снова слезы быстро закапали из глаз Пармена. — Обидели меня, Сашута. Да что ты, голубка?

Закрыв один глаз рукой, в которой находился пирог, Санька выразительно скривила рот и загудела:

— У-у… Гришка… Злю-ка-а!

— Ну что ты, Сашута, — упрашивал ее Пармен.

— Разбо-й-ник, — продолжала непримиримая девица. Со двора Гнедых послышался зов: «Санька-а-а-а!»

— Не пойду-у, — гудела Санька, несколько понизив тон.

Услышав голос Пелагеи, Пармен поспешно

спустил Саньку наземь и, суетливо крестя ее, шептал:

— Иди с богом, девочка моя милая, иди, а то матка осерчает.

— Пуща-ай, не бою-у-сь.

— Иди, милая, иди.

Нагнув голову, как бычок, готовый бодаться, Санька нерешительно тронулась с места, но, спохватившись, что миссия ее еще не окончена, вернулась, отдала пирог — и легче пуха полетела к дому. Бросив прощальный взгляд на пирог, неохотно заковыляла за ней Жучка. В следующую минуту со двора Гнедых послышался сердитый крик Пелагеи.

Было почти светло, когда Пармен вышел на берег и сел на бугре, покрытом желтой прошлогодней травой, среди которой там и здесь проглядывали зеленые иглы новой. Внизу плескалась река. Воды за ночь прибыло, и вся река как будто приблизилась. С верховьев шел густой белый лед. Он двигался плавно, неслышно, как по маслу. Точно не он шел, а вся река.

Небо из серого стало белым, потом поголубело, а Пармен все сидел. И тосковал глубоко.

1899

Прекрасна жизнь для воскресших

Не случалось ли вам гулять по кладбищам?

Есть своя, очень своеобразная и жуткая поэзия в этих огороженных, тихих и заросших сочной зеленью уголках, таких маленьких и таких жадных.

День изо дня несут в них новых мертвецов, и уже вот весь живой, огромный и шумный город перенесен туда, и уже народившийся новый ждет своей очереди, — а они стоят, все такие же маленькие, тихие и жадные. Особенный в них воздух, особенная тишина, и другой там и лепет деревьев — элегический, задумчивый, нежный. Словно не могут позабыть эти белые березки всех тех заплаканных глаз, которые отыскивали небо между их зеленеющими ветвями, и словно не ветер, а глубокие вздохи продолжают колебать воздух и свежую листву.

Тихо, задумчиво бредете по кладбищу и вы. Ухо ваше воспринимает тихие отголоски глубоких стонов и слез, а глаза останавливаются на богатых памятниках, скромных деревянных крестах и немых безвестных могилах, укрывших собой людей, которые немы были всю жизнь, без-

вестны и незаметны. И надписи на памятниках читаете вы, и встают в вашем воображении все эти исчезнувшие из мира люди. Видите вы их молодыми, смеющимися, любящими; видите вы их бодрыми, говорливыми, дерзко уверенными в бесконечности жизни.

И они умерли, эти люди.

Но разве нужно выходить из дому, чтобы побывать на кладбище? Разве недостаточно для этого, чтобы мрак ночи охватил вас и поглотил дневные звуки?

Сколько памятников, богатых и пышных! Сколько немых, безвестных могил!

Но разве нужна ночь, чтобы побыть на кладбище? Разве недостаточно для этого дня — беспокойного, шумного дня, которому довлеет злоба его?

Загляните в душу свою, и будет ли тогда день или ночь, вы найдете там кладбище. Маленькое, жадное, так много поглотившее. И тихий, грустный шепот услышите вы — отражение былых тяжелых стонов, когда дорог был мертвец, которого опускали в могилу, и вы не успели ни разлюбить его, ни позабыть; и памятники увидите вы, и надписи, которые наполовину смыты слезами, и тихие, глухие могилки — маленькие,

зловещие бугорки, под которыми скрыто то, что было живо, хотя вы не знали его жизни и не заметили смерти. А может быть, это было самое лучшее в вашей душе…

Но зачем говорю я: загляните. Разве и так не заглядывали вы в ваше кладбище каждый день, сколько есть этих дней в длинном, тяжелом году? Быть может, еще только вчера вы вспоминали дорогих покойников и плакали над ними; быть может, еще только вчера вы похоронили кого-нибудь, долго и тяжело болевшего и забытого еще при жизни.

Вот под тяжелым мрамором, окруженная частой чугунной решеткой, покоится любовь к людям и сестра ее, вера в них. Как они были красивы и чудно хороши, эти сестры! Каким ярким огнем горели их глаза, какой дивной мощью владели их нежные белые руки!

С какой лаской подносили эти белые руки холодное питье к воспаленным от жажды устам и кормили алчущих; с какой милой осторожностью касались они язв болящего и врачевали их!

И они умерли, эти сестры, от простуды умерли они, как сказано на памятнике. Не выдержали леденящего ветра, которым охватила их жизнь.

А вот дальше покосившийся крест знаменует

место, где зарыт в землю талант. Какой он был бодрый, шумный, веселый; за все брался, все хотел сделать и был уверен, что покорит мир.

И умер — как-то незаметно и тихо. Пошел однажды на люди, долго пропадал там и вернулся разбитый, печальный. Долго плакал, долго порывался что-то сказать — и так, не сказавши, и умер.

Вот длинный ряд маленьких бугорков. Кто там?

Ах, да. Это дети. Маленькие, резвые: шаловливые надежды. Их было так много, и так весело и людно было от них на душе, — но одна за другой умирали они.

Как много было их, и как весело было с ними на душе! Тихо на кладбище, и печально шелестят листьями березки.

Пусть же воскреснут мертвецы! Раскройтесь, угрюмые могилы, разрушьтесь вы, тяжелые памятники, и расступитесь, о, железные решетки!

Хоть на день один, хоть на миг один дайте свободу тем, кого вы душите своей тяжестью и тьмой!

Вы думаете, они умерли? О нет, они живы. Они молчали, но они живы.

Живы!

Дайте же им увидеть сияние голубого безоблачного неба, вздохнуть чистым воздухом весны, упиться теплом и любовью.

Приди ко мне, мой уснувший талант. Что так смешно протираешь ты глаза — тебя ослепило солнце? Не правда ли, как ярко светит оно? Ты смеешься? Ах, смейся, смейся — так мало смеху у людей. Буду с тобой смеяться и я. Вон летит ласточка — полетим за нею! Ты отяжелел в могиле? И что за странный ужас вижу я в твоих глазах — словно отражение могильной тьмы? Нет, нет, не надо. Не плачь. Не плачь, говорю я тебе!

Ведь так прекрасна жизнь для воскресших!

А вы, мои маленькие надежды! Какие милые и смешные личики у вас. Кто ты, потешный, толстый карапуз? Я не узнаю тебя. И чему ты смеешься? Или сама могила не устрашила тебя? Тише, мои дети, тише. Зачем ты обижаешь ее — ты видишь, какая она маленькая, бледненькая и слабая? Живите в мире — и не кружите меня. Разве не знаете вы, что я тоже был в могиле, и теперь кружится моя голова от солнца, от воздуха, от радости.

Пришли и вы, величавые, чудные сестры. Дайте поцеловать ваши белые, нежные руки. Что я вижу? Вы несете хлеб? Вас, нежных, женственных

и слабых, не испугал могильный мрак, и там, под этой тяжелой громадой, вы думали о хлебе для голодных? Дайте поцеловать мне ваши ножки. Я знаю, куда пойдут они сейчас, ваши легкие быстрые ножки, и знаю, что там, где пройдут они, вырастут цветы — дивные, благоухающие цветы. Вы зовете с собой? Пойдемте.

Сюда, мой воскресший талант — что зазевался там на бегущие облачка? Сюда, мои маленькие, шаловливые надежды.

Стойте!..

Я слышу музыку. Да не кричи же ты так, карапуз! Откуда эти чудные звуки? Тихие, стройные, безумно-радостные и печальные. О вечной жизни говорят они…

…Нет, не пугайтесь. Это сейчас пройдет. Ведь от радости я плачу!

Ах, как прекрасна жизнь для воскресших!

1900

Гостинец

I

— Так ты приходи! — в третий раз попросил Сениста, и в третий раз Сазонка торопливо ответил:

— Приду, приду, ты не бойся. Еще бы не прийти, конечно, приду.

И снова они замолчали. Сениста лежал на спине, до подбородка укрытый серым больничным одеялом, и упорно смотрел на Сазонку; ему хотелось чтобы Сазонка подольше не уходил из больницы и чтобы своим ответным взглядом он еще раз подтвердил обещание не оставлять его в жертву одиночеству, болезни и страху. Сазонке же хотелось уйти, но он не знал, как это сделать без обиды для мальчика, шмурыгал носом, почти сползал со стула и опять садился плотно и решительно, как будто навсегда. Он бы еще посидел, если бы было о чем говорить; но говорить было не о чем, и мысли приходили глупые, от которых становилось смешно и стыдно. Так, его все время тянуло называть Сенисту по имени и отчеству — Семеном Ерофеевичем,

что было отчаянно нелепо: Сениста был мальчишка-подмастерье, а Сазонка был солидным мастером и пьяницей и Сазонкой звался только по привычке. И еще двух недель не прошло с тех пор, как он дал Сенисте последний подзатыльник, и это было очень дурно, но и об этом говорить тоже нельзя.

Сазонка решительно начал сползать со стула, но не доведя дело до половины, так же решительно всполз назад и сказал не то в виде укоризны, не то утешения:

— Такие вот дела. Болит, а?

Сениста утвердительно качнул головой и тихо ответил:

— Ну, ступай. А то он бранить будет.

— Это верно, — обрадовался Сазонка предлогу. — Он и то приказывал: ты, говорит, поскорее. Отвезешь — и той же минутой назад. И чтобы водки ни-ни. Вот, черт!

Но вместе с сознанием, что он может теперь уйти каждую минуту, в сердце Сазонки вошла острая жалость к большеголовому Сенисте. К жалости призывала вся необычная обстановка: тесный ряд кроватей с бледными, хмурыми людьми; воздух, до последней частицы испорченный запахом лекарств и испарениями больного

человеческого тела; чувство собственной силы и здоровья. И, уже не избегая просительного взгляда, Сазонка наклонился к Сенисте и твердо повторил:

— Ты, Семен… Сеня, не бойся. Приду. Как ослобонюсь, так и к тебе. Разве мы не люди? Господи! Тоже и у нас понятие есть. Милый! Веришь мне аль нет?

И с улыбкой на почерневших, запекшихся губах Сениста отвечал:

— Верю.

— Вот! — торжествовал Сазонка.

Теперь ему было легко и приятно, и он мог уже поговорить о подзатыльнике, случайно данном две недели назад. И он осторожно намекнул, касаясь пальцем Сенина плеча:

— А ежели тебя по голове кто бил, так разве это со зла? Господи! Голова у тебя очень такая удобная: большая да стриженая.

Сениста опять улыбнулся, и Сазонка поднялся со стула. Ростом он был очень высок, волосы его, все в мелких кудряшках, расчесанные частой гребенкой, подымались пышно и веселой шапкой, и серые припухшие глаза искрились и безотчетно улыбались.

— Ну, прощевай! — сказал он, но не тронулся

с места.

Он нарочно сказал «прощевай!», а не «прощай!», потому что так выходило душевнее, но теперь ему показалось этого мало. Нужно было сделать что-то еще более душевное и хорошее, такое, после которого Сенисте весело было бы лежать в больнице, а ему легко было бы уйти. И он неловко топтался на месте, смешной в своем детском смущении, когда Сениста опять вывел его из затруднения.

— Прощай! — сказал он своим детским тоненьким голоском, за который его дразнили «гуслями», и совсем просто, как взрослый, высвободил руку из-под одеяла и, как равный, протянул ее Сазонке.

И Сазонка, чувствуя, что это именно то, чего не хватало ему для полного спокойствия, почтительно охватил тонкие пальчики своей здоровенной лапищей, подержал их и со вздохом отпустил. Было что-то печальное и загадочное в прикосновении тонких горячих пальчиков: как будто Сениста был не только равным всем людям на свете, но и выше всех и всех свободнее, и происходило это оттого, что принадлежал он теперь неведомому, но грозному и могучему хозяину. Теперь его можно было назвать Семеном

Ерофеевичем.

— Так приходи же, — в четвертый раз попросил Сениста, и эта просьба прогнала то страшное и величавое, что на миг осенило его своими бесшумными крыльями.

Он снова стал мальчиком, больным и страдающим, и снова стало жаль его — очень жаль.

Когда Сазонка вышел из больницы, за ним долго еще гнался запах лекарств и просящий голос:

— Приходи же!

И, разводя руками, Сазонка отвечал:

— Милый! Да разве мы не люди?

II

Подходила Пасха, и портновской работы было так много, что только один раз, в воскресенье Сазонке удалось напиться, да и то не допьяна. Целые дни, по-весеннему светлые и длинные, от петухов до петухов, он сидел на подмостках у своего окна, по-турецки поджав под себя ноги, жмурясь и неодобрительно посвистывая. С утра окно находилось в тени, и в разошедшиеся пазы тянуло холодком, но к полудню солнце прорезывало узенькую желтую полоску, в которой светящимися точками играла приподнятая пыль. А через полчаса уже весь подоконник с набросан-

ными на него обрезками материй и ножницами горел ослепительным светом, и становилось так жарко, что нужно было, как летом, распахнуть окно. И вместе с волной свежего, крепкого воздуха, пропитанного запахом преющего навоза, подсыхающей грязи и распускающихся почек, в окно влетала шальная, еще слабосильная муха и проносился разноголосый шум улицы. Внизу у завалинки рылись куры и блаженно кудахтали, нежась в круглых ямках; на противоположной, уже просохшей стороне играли в бабки ребята, и их пестрый, звонкий крик и удары чугунных плит о костяшки звучал и задором, и свежестью. Езды по улице, находящейся на окраине Орла, было совсем мало, и только изредка шажком проезжал пригородный мужик; телега подпрыгивала в глубоких колеях, еще полных жидкой грязи, и все части ее стучали деревянным стуком, напоминающим лето и простор полей.

Когда у Сазонки начинало ломить поясницу и одеревеневшие пальцы не держали иглы, он босиком и без подпояски, как был, выскакивал на улицу, гигантскими скачками перелетал лужи и присоединялся к играющим ребятам.

Ну-ка, дай ударить, — просил он, и десяток грязных рук протягивали ему плиты, и десяток

голосов просили:

— За меня! Сазонка, за меня!

Сазонка выбирал плиту поувесистее, засучивал рукав и, приняв позу атлета, мечущего диск, измерял прищуренным глазом расстояние. С легким свистом плита вырывалась из его руки и, волнообразно подскакивая, скользящим ударом врывалась в середину длинного кона, и пестрым дождем рассыпались бабки, и таким же пестрым криком отвечали на удар ребята. После нескольких ударов Сазонка отдыхал и говорил ребятам:

— А Сениста-то еще в больнице, ребята.

Но, занятые своим интересным делом, ребята принимали известие холодно и равнодушно.

— Надобно ему гостинца отнести. Вот ужо отнесу, — продолжал Сазонка.

На слово «гостинец» отозвались многие. Мишка Поросенок поддергивал одной рукой штанишки — другая держала в подоле рубахи бабки — и серьезно советовал:

— Ты ему гривенник дай.

Гривенник была та сумма, которую обещал дед самому Мишке, и выше ее не шло его представление о человеческом счастье. Но долго разговаривать о гостинце не было времени, и такими же гигантскими прыжками Сазонка

перебирался к себе и опять садился за работу. Глаза его припухли, лицо стало бледно-желтым, как у больного, и веснушки глаз и на носу казались особенно частыми и темными. Только тщательно расчесанные волосы подымались все той же веселой шапкой, и, когда хозяин, Гавриил Иванович, смотрел на них, ему непременно представлялся уютный красный кабачок и водка, и он ожесточенно сплевывал и ругался.

В голове Сазонки было смутно и тяжело, и по целым часам он неуклюже ворочал какую-нибудь одну мысль: о новых сапогах или гармонике. Но чаще всего он думал о Сенисте и о гостинце, который он ему отнесет. Машинка монотонно и усыпляюще стучала, покрикивал хозяин — и все одна и та же картина представлялась усталому мозгу Сазонки: как он приходит к Сенисте и подает ему гостинец, завернутый в ситцевый каемчатый платок. Часто в тяжелой дреме он забывал, кто такой Сениста, и не мог вспомнить его лица; но каемчатый платок, который еще нужно купить, представлялся живо и ясно, и даже казалось, что узелки на нем не совсем крепко завязаны. И всем, хозяину, хозяйке, заказчикам и ребятам, Сазонка говорил, что пойдет к мальчику непременно на первый день Пасхи.

— Уж так нужно, — твердил он. — Причешусь, и той же минутой к нему. На, милый, получай!

Но, говоря это, он видел другую картину: распахнутые двери красного кабачка и в темной глубине их залитую сивухой стойку. И его охватывало горькое сознание своей слабости, с которой он не может бороться, и хотелось кричать громко и настойчиво: «К Сенисте пойду! К Сенисте!»

А голову наполняла серая, колеблющаяся муть, и только каемчатый платок выделялся из нее. Но не радость была в нем, а суровый укор и грозное предостережение.

III

И на первый день Пасхи, и на второй Сазонка был пьян, дрался, был избит и ночевал в участке. И только на четвертый день удалось ему выбраться к Сенисте.

Улица, залитая солнечным светом, пестрела яркими пятнами кумачовых рубах и веселым оскалом белых зубов, грызущих подсолнухи; играли вразброд гармоники, стучали чугунные плиты о костяшки, и голосисто орал петух, вызывая на бой соседского петуха. Но Сазонка не глядел по сторонам. Лицо его, с подбитым глазом и рассеченной губой, было мрачно и со-

средоточенно, и даже волосы не вздымались пышной гривой, а как-то растерянно торчали отдельными космами. Было совестно за пьянство и неисполненное слово, было жаль, что представится он Сенисте не во всей красе, — в красной шерстяной рубахе и жилетке, а пропившийся, паскудный, воняющий перегоревшей водкой. Но чем ближе подходил он к больнице, тем легче ему становилось, и глаза чаще опускались вниз, направо, где бережно висел в руке узелок с гостинцем. И лицо Сенисты виделось теперь совсем живо и ясно, с запекшимися губами и просящим взглядом.

— Милый, да разве? Ах, господи! — говорил Сазонка и крупно надбавлял шагу.

Вот и больница — желтое, громадное здание с черными рамами окон, отчего окна походили на темные, угрюмые глаза. Вот и длинный коридор, и запах лекарств, и неопределенное чувство жути и тоски. Вот и палата, и постель Сенисты…

Но где же сам Сениста?

— Вам кого? — спросила вошедшая следом сиделка.

— Мальчик тут один лежал. Семен. Семен Ерофеев. Вот на этом месте. — Сазонка указал пальцем на пустую постель.

— Так нужно допрежде спрашивать, а то ломится зря, — грубо сказала сиделка. — И не Семен Ерофеев, а Семен Пустошкин.

— Ерофеев — это по отчеству. Родителя звали Ерофеем, так вот он и выходит Ерофеич, — объяснил Сазонка, медленно и страшно бледнея.

— Помер ваш Ерофеич. А только мы этого не знаем: по отчеству. По-нашему — Семен Пустошкин. Помер, говорю.

— Вот как-с! — благопристойно удивился Сазонка, бледный настолько, что веснушки выступили резко, как чернильные брызги. — Когда же-с?

— Вчера после вечерен.

— А мне можно!.. — запинаясь, попросил Сазонка.

— Отчего нельзя? — равнодушно ответила сиделка. — Спросите, где мертвецкая, вам покажут. Да вы не убивайтесь! Кволый он был, не жилой.

Язык Сазонки расспрашивал дорогу вежливо и обстоятельно, ноги твердо несли его в указанном направлении, но глаза ничего не видели. И видеть они стали только тогда, когда неподвижно и прямо они уставились в мертвое тело Сенисты. Тогда же ощутился и страшный холод, стоявший в мертвецкой, и все кругом стало видно: покрытые сырыми пятнами стены, окно,

занесенное паутиной; как бы ни светило солнце, небо через это окно всегда казалось серым и холодным, как осенью. Где-то с перерывами беспокойно жужжала муха; падали откуда-то капельки воды; упадет одна — кап! — и долго после того в воздухе носится жалобный, звенящий звук.

Сазонка отступил на шаг назад и громко сказал:

— Прощевай, Семен Ерофеич.

Затем опустился на колени, коснулся лбом сырого пола и поднялся.

— Прости меня, Семен Ерофеич, — так же раздельно и громко выговорил он, и снова упал на колени, и долго прижимался лбом, пока не стала затекать голова.

Муха перестала жужжать, и было тихо, как бывает только там, где лежит мертвец. И через равные промежутки падали в жестяной таз капельки, падали и плакали — тихо, нежно.

IV

Тотчас за больницей город кончался и начиналось поле, и Сазонка побрел в поле. Ровное, не нарушаемое ни деревом, ни строением, оно привольно раскидывалось вширь, и самый вете-

рок казался его свободным и теплым дыханием. Сазонка сперва шел по просохшей дороге, потом свернул влево и прямиком по пару и прошлогоднему жнитву направился к реке. Местами земля была еще сыровата, и там после его прохода оставались следы его ног с темными углублениями каблуков.

На берегу Сазонка улегся в небольшой, покрытой травой ложбинке, где воздух был неподвижен и тепел, как в парине, и закрыл глаза. Солнечные лучи проходили сквозь закрытые веки теплой и красной волной; высоко в воздушной синеве звенел жаворонок, и было приятно дышать и не думать. Полая вода уже сошла, и речка струилась узеньким ручейком, далеко на противоположном низком берегу оставив следы своего буйства, огромные, ноздреватые льдины. Они кучками лежали друг на друге и белыми треугольниками подымались вверх, навстречу огненным беспощадным лучам, которые шаг за шагом точили и сверлили их. В полудремоте Сазонка откинул руку — под нее попало что-то твердое, обернутое материей. Гостинец.

Быстро приподнявшись, Сазонка вскрикнул:

— Господи! Да что же это?

Он совершенно забыл про узелок и испуганны-

ми глазами смотрел на него: ему чудилось, что узелок сам, своей волей пришел сюда и лег рядом, и страшно было до него дотронуться. Сазонка глядел — глядел — глядел, не отрываясь, — и бурная, клокочущая жалость и неистовый гнев подымались в нем. Он глядел на каемчатый платок — и видел, как на первый день, и на второй, и на третий Сениста ждал его и оборачивался к двери, а он не приходил. Умер одинокий, забытый — как щенок, выброшенный в помойку. Только бы на день раньше — и потухающими глазами он увидел бы гостинец, и возрадовался бы детским своим сердцем, и без боли, без ужасающей тоски одиночества полетела бы его душа к высокому небу.

Сазонка плакал, впиваясь руками в свои пышные волосы и катаясь по земле. Плакал и, подымая руки к небу, жалко оправдывался:

— Господи! Да разве мы не люди?

И прямо рассеченной губой он упал на землю — и затих в порыве немого горя. Лицо его мягко и нежно щекотала молодая трава; густой, успокаивающий запах подымался от сырой земли, и были в ней могучая сила и страстный призыв к жизни. Как вековечная мать земля принимала в свои объятия грешного сына и теплом, любо-

вью и надеждой поила его страдающее сердце.

А далеко в городе нестройно гудели веселые праздничные колокола.

1901

Н. А. Лухманова

Скарлатинная кукла

В Петербурге стояла весна, солнышко уже растопило снег на крышах домов, но иногда еще большие хлопья снега снова падали на улицы и тротуары; только этот снег держался недолго: он быстро таял, дворники большими метлами сметали его, а солнышко, выглянув, сушило землю, и тогда все дети спешили гулять.

Всем им хотелось в особенности туда, где были выстроены легкие балаганы, в которых три дня продают игрушки, пряники, конфеты, птичек и рыбок. Эти три дня называются Вербными днями. Приходятся они всегда на 6-ю неделю Великого поста, в конце марта, а иногда и в апреле, когда уже детям не сидится в комнате, а так и хочется погулять.

В одной маленькой квартире, где жила Анна Павловна с четырьмя детьми, было очень шумно: дети смеялись, кричали, приготовляясь идти на вербу, и каждый хотел купить себе что-нибудь особенное на те деньги, которые мама подарила каждому из них для этого праздника.

Посреди комнаты, уже совсем одетая в коричневый ватный капотик, в шляпке и с муфточкой,

стояла пятилетняя Катя и ждала, когда отворится дверь другой комнаты и выйдет оттуда мама, чтобы взять ее на руки и снести с высокой лестницы вниз, на улицу. Старшая сестра ее, Настя, уже ходившая в гимназию, была тоже одета и теперь повязывала теплые шарфики на шею двум младшим детям, Грише и Соне. Возле детей прыгал маленький такс Трусик, на низких лапочках, вертлявый, веселый. Он с лаем бросался на детей, хватал их за перчатки, за шубки, и дети, то один, то другой, вырывались из рук Насти и бросались возиться со своим любимцем. Настя уже хотела постучать в комнату мамы и сказать, что все дети готовы, как дверь открылась и вышла Анна Павловна. Катя протянула к матери ручки: «Мама, ну!»

«Ну» и «зачем» были любимыми словами Кати. Восторг, удивление, радость и требования, все воплощалось в «ну!».

А всякий отказ в ее просьбах, всякий выговор вызывали в ней вопрос: «Зачем?» И хотя ребенок говорил почти все, эти два слова, с разнообразнейшими оттенками голоса и мимики, слышались весь день.

— Ну, мама! — повторила Катя уже со слезами в голосе, и ротик ее покривился.

Анна Павловна поглядела на ребенка и тревожно перевела глаза на Настю.

— Да, мама, по-моему, дитя нездорово. — И старшая сестра заботливо взяла за руку малютку, но Катя капризно вырвалась от нее.

— Гулять, мама, гулять — ну!

— У нее как будто жарок… — заметила Настя.

— Ничего, разгуляется, — решила Анна Павловна, — Гриша и Соня, идите вперед; Трусик, назад, дома!

Дети побежали в прихожую, а Трусик, опустив хвост, растопырив свои крокодильи лапки, почти припадая животом к полу, огорченный до глубины своего собачьего сердца, поплелся в кухню, с тайной надеждой погулять хоть с кухаркой, когда она побежит в лавочку.

Сойдя с извозчика у Гостиного двора, Анна Павловна взяла на руки Катю, Гриша с Соней шли впереди. Дети с любопытством и радостью стали разглядывать прелести, разложенные на прилавках открытых лавочек.

Когда Анна Павловна с детьми обходила третью линию, Гриша нес уже в правой руке баночку с золотыми рыбками и, боясь расплескать воду, шел осторожно, не спуская глаз с живого золота, игравшего перед его глазами.

Если бы не Соня, которая теперь вела брата под руку, он, от избытка осторожности, наверно, споткнулся бы и разбил банку. Соня еще не покупала ничего, мечтая выпросить у мамы живую птичку. Маленькие сердца детей жаждали приобрести существо, на которое могли бы изливать свое покровительство, уход и ласку. Катя капризно отворачивалась от всего, что ей предлагала мать.

— Мама, — робко остановила Анну Павловну Соня, — купите мне воробушка, у нас есть клетка, мама…

Анна Павловна остановилась у выставки птиц и купила за тридцать копеек куцего, но юркого, веселого чижа. Получая птичку, Соня радостно вспыхнула и, несмотря на давку, на лету успела поцеловать руку матери, затем прижала к груди крошечную клетку. Брат и сестра, не глядя уже по сторонам, завели беседу о том, как содержать и чем кормить своих новых маленьких друзей.

Так дошли они до следующего угла, как вдруг Катя рванулась с рук матери и с необыкновенным восторгом крикнула свое «ну!».

Анна Павловна и дети остановились: за громадным зеркальным стеклом, среди массы всевозможных игрушек, стояла кукла величиною

с трехлетнего ребенка. Длинные локоны льняного цвета падали ей на плечи; большие голубые глаза глядели весело на детей; громадная розовая шляпа, с перьями и бантами, сидела набок; шелковое розовое платье, все в кружевах, пышными складками падало на толстые ножки в розовых чулках и настоящих кожаных башмачках; в правой, согнутой на шарнире руке кукла держала розовое яйцо; на груди у куклы был пришпилен ярлычок с надписью: «Заводная, цена 35 р.». Анна Павловна сама залюбовалась на игрушку.

— Что, хороша кукла? — спросила она Катю, но та, протянув ручонки вперед и не сводя с игрушки своего загоревшегося взора, уже кричала:

— Мама, куклу! Хочу куклу! Ну?

Гриша и Соня, как взрослые, уже понимающие стоимость вещей, рассмеялись:

— Мама не может купить этой куклы, — заговорили они в голос.

— Зачем? — уже со слезами протестовала малютка и вдруг, охватив ручонками шею матери, начала осыпать ее лицо поцелуями. — Мама, куклу! Кате куклу, ну!

Анна Павловна смеялась. Цена 35 рублей была для нее так высока, что ей казалась невозможной, даже со стороны Кати, такая просьба.

— Нельзя, Катюша, это чужая кукла, нам ее не дадут; я куплю тебе другую. — И Анна Павловна двинулась дальше.

Когда чудная розовая кукла скрылась из глаз Кати, девочка неожиданно разразилась страшными рыданиями.

— Зачем? Зачем? Куклу! Куклу! — кричала она, захлебываясь от слез.

Личико ее посинело от натуги, она капризно изгибалась всем телом, чуть не выскользая из рук матери. Растерявшаяся Анна Павловна остановилась, прижавшись к какому-то магазину. Кругом нее уже собралась толпа.

— Ах, как стыдно капризничать, — наставительно сказала какая-то барыня, — такая большая и так кричит!

— Да ваша девочка просто больна, — сказал, проходя, какой-то старик.

«Больна? — слово это испугало Анну Павловну. — Конечно, Катя больна, — оттого ее капризы и слезы. Ах, зачем я сразу не отменила этой прогулки, когда еще дома у меня мелькнула та же мысль!» — мучилась она. Прижимая к себе плакавшего ребенка, направляя перед собою Гришу и Соню, она с трудом выбралась из толпы и, сев на первого попавшегося извозчика, поехала до-

мой, на Васильевский остров.

Извозчик попался плохой, лошадь скакала и дергала, когда кнут хлестал ее худые, сивые бока. Гриша, усевшись в глубине, держал двумя руками банку с плескавшейся водой. Соня, стоя за извозчиком, защищала своего чижа и всякий раз, когда взвивался кнут, — кричала: «Не бей, пожалуйста, лошадку, извозчик, не бей!» Катя вздрагивала, плакала и в бреду требовала куклу. При въезде на Николаевский мост погода вдруг изменилась: ласково сиявшее солнце скрылось, небо заволокло серой мглой, откуда-то рванулся ветер и осыпал хлопьями мокрого снега и прохожих, и проезжих. Анна Павловна начала укутывать Катю, но малютка вертела головой и ручками, отстраняла капюшон, который мать накидывала на нее. Хлопья снега залепляли ее распухшие от слез глаза и, как клочки мокрой ваты, шлепались на ее открытый ротик, мгновенно таяли и холодными струйками бежали в рот и за шею. Измученная мать обрадовалась, когда наконец извозчик остановился у дома. Гриша сошел осторожно, улыбаясь тому, что рыбки его доехали благополучно, и, не оглядываясь, направился в подъезд. Соня бежала рядом с ним, шепча взволнованно: «Ты знаешь, он два раза доро-

гою начинал петь... Я нагнула ухо к клетке, а он там — пи-и...» Дети снова погрузились в заботы о своих питомцах. В этот вечер Катюша лежала в жару, впадая минутами в беспамятство, и Анна Павловна, произнося громко молитвы, чутко прислушивалась, не дрогнет ли звонок, возвещая приход доктора. Доктор наконец пришел и, заявив, что у ребенка скарлатина, потребовал немедленного отделения здоровых детей.

— Мама, вам надо будет завтра отвезти Катю в детскую Елизаветинскую больницу «сестрице» Александре Феодоровне, — проговорила Настя, стараясь казаться спокойной.

Анна Павловна с ужасом подняла голову:

— Катю в больницу?

Настя зашла за кресло и обняла мать за плечи.

— Мамочка, а как же? Разве мы можем дать Кате и ванны, и доктора, и лекарства? Милая, не плачьте! — И Настя, став на колени у кресла, прижала к себе голову рыдавшей матери.

Катюшу отвезли в больницу.

Лампа под зеленым абажуром мягко освещает большую комнату с четырьмя беленькими детскими кроватками; занята только одна крайняя. В ней уже пятый день лежит Катя. Личико ее горит, сухие губки припухли и растрескались,

глазки смотрят странно, задумчиво, и только когда останавливаются на великолепной кукле в розовом платье, сознание как будто возвращается в них, и Катя лепечет ласковые, нежные слова, прижимая к себе длинные шелковистые кудри, любуясь широкими голубыми зрачками. Самое заветное, самое страстное желание ребенка неожиданно исполнилось: при поступлении в больницу ей положили в кровать двойника чудной куклы, которая на вербах так поразила ее в окне магазина.

Великолепная «скарлатинная» кукла еще раз делала свое дело: доставляла покой и радость бедному ребенку. Года два тому назад одна из богатых «матерей», которые не могут забыть, что на свете есть и бедные, больные малютки, о которых некому заботиться, прислала в детскую больницу целую корзину всевозможных игрушек, в том числе и куклу. Большая розовая кукла попала в скарлатинное отделение и с тех пор осуждена никогда не выходить оттуда.

Сестры заметили, что ни лекарства, ни уход, ничто так быстро не осушало слез, не вызывало улыбки на детские губки, как появление в кровати «скарлатинной» куклы, и, если бы ее мастиковый ротик открылся, как много чистого,

нежного, трогательного рассказала бы эта кукла о тех, которые прощались с ней по выздоровлении, когда радостные матери уносили их домой, и о тех, которые лежали больные, охватив ее шею горячими ручонками. Но кукла молчала и все с той же улыбкой, с тем же выражением голубых глаз переходила из рук в руки, из кроватки в кроватку.

Сестра милосердия, Александра Феодоровна, сидевшая все время около Кати, встала и, пройдя по комнате, оправила горевшую перед образом лампадку и стала на колени у крошечной кровати. Она знала, что девочка тяжело больна, а мать ее, по правилам, не могла оставаться в больнице ночью.

Катя протянула к ней куклу и прошептала:

— Давай играть, ну!

— Давай играть, — улыбнулась сестрица и начала лепетать за куклу, подражая ребенку.

Наступила пасхальная, торжественная ночь, холодная, но сухая. По улицам, спешно ступая почти без разговоров, шли группы людей. Куличи, пасхи и крашеные яйца расставлялись по церковным папертям и переходам.

Дрогнул бархатный голос Исаакиевского колокола, и по всем направлениям понеслись кареты

на резиновых шинах, развозя нарядных дам и детей по домовым церквам.

Катина мама и Настя, перекрестив спавших Гришу и Соню, тоже спешили к заутрене, чтобы помолиться в толпе, где-нибудь в уголке, откуда видны только лик Спасителя да звездочкой горевший огонек лампады. Они пришли молиться о здоровье Кати.

На другое утро пасхальный благовест разбудил малютку Катю; жар у нее спал, и она в первый раз со вниманием поглядела кругом себя.

Комната, в которой она лежала, была вся белая, чистая, сквозь белые спущенные шторы виден был яркий свет солнца, на кресле возле ее кроватки лежала сестра милосердия, которая целую ночь не отходила от маленькой больной. В кровати рядом с девочкой, лежала великолепная розовая кукла. Катя поцеловала ее и сказала:

— Тсс, не болтай! Чтоб сестрица не проснулась…

Но как только девочка залепетала, сестрица открыла глаза и с радостью увидала, что у ребенка нет более жару, что глазки девочки смотрят весело и ясно.

— Христос Воскресе, Катюша! — сказала сестрица. — Ты слышишь, как звонят?

Катя прислушалась к веселому колокольному звону, который, казалось, так и выговаривал: «Праздник! Праздник! Великий праздник!»

— Зачем? — спросила девочка.

— Затем, — засмеялась сестрица, — что сегодня всем будет весело, всем будет большая радость! Великий праздник Христова Воскресения! Придет доктор и обрадуется, что у тебя нет жару, приедет твоя мама и тоже будет счастлива, когда увидит твои светлые глазки и услышит твой веселый голосок.

— А домой можно ехать, сестрица, сегодня?

— Нет, Катюша, сегодня нельзя, но теперь уже скоро.

— И она поедет со мною? — И Катя обняла розовую куклу.

— Нет, Катюша, кукла никогда не выезжает из больницы, она живет здесь и принимает к себе в гости маленьких больных девочек — вот таких, как ты. Ты выздоровела и уедешь к своей маме, у тебя есть там другие игрушки, а главное, — у тебя есть братья и сестры, а к нам привозят детей, у которых нет никого, никого близкого и нет никаких игрушек: такая бедная девочка ляжет в кроватку, и ей дадут играть эту розовую куклу, она тоже будет с ней спать, угощать ее чаем,

разговаривать, и ей будет веселее, у нее меньше будет болеть головка. Неужели же ты от больной девочки захочешь унести эту куклу?

Катя молчала; ведь сейчас около нее такой бедной больной девочки не было, а кукла так нравилась ей; она сжала ее в объятиях, и бровки ее сердито сдвинулись.

После 12 часов к Кате пустили маму и Настю. Обе они не знали, как выразить свою радость при виде выздоравливающей девочки, но их сильно огорчало, что Катя не выпускала из рук куклу и все время спрашивала о том, надо ли будет ей действительно куклу оставить здесь, когда она пойдет домой.

В это время приехал доктор; это был добрый старик с седыми, густыми волосами и веселыми серыми глазами. Он умел разговаривать с детьми, и маленькие больные любили его.

— Здравствуй, Катя! — сказал он, целуя девочку. — Вот ты и выздоровела, скоро поедешь домой.

— С куклой? — спросила Катя.

— Нет, дружок, эта кукла обещала никогда-никогда не уходить из больницы, она не принадлежит ни тебе, ни мне, а каждой больной девочке.

— Я отдам… — сказала Катя, но вздохнула глу-

боко и прижала к своему сердцу куклу.

Анна Павловна и Настя вышли от Кати и остановились в коридоре, к ним подошли доктор и старшая сестра.

— Поздравляю вас! — сказал доктор. — Девочка прекрасно перенесла скарлатину, и скоро вы можете взять ее домой.

Но сестра заметила печальное лицо Анны Павловны.

— Вы не печальтесь, — сказала она, — я знаю, что вы боитесь Катиных слез, когда от нее отберут «скарлатинную» куклу, но сегодня такой большой праздник, что надо только радоваться и надеяться на помощь Божью… Бывают иногда и чудеса…

И чудо это совершили доктор и добрые сестры милосердия. Они знали из рассказов Насти о том, как захворала Катя, знали, как много работала Анна Павловна и как тяжело ей было воспитать своих детей, и они сложились все вместе и купили куклу, если и не такую дорогую, но с такими же локонами, и сами сшили ей такое же розовое платье.

В день, когда приехали за Катей ее мама и Настя, девочка простилась с доброй сестрой, обвила ее шею руками, поцеловала, простилась

с доктором, со всеми другими и, наконец, снова взяла в руки свою большую «скарлатинную» куклу. Она ей долго шептала что-то на ухо, целовала ее, затем положила ее обратно в ту кроватку, где лежала сама, и, взяв за руку мать, быстро топая ножками по длинному коридору, ни слова не говоря, пошла к выходу; личико ее было очень печально, но она хорошо понимала, что куклу нельзя уносить, потому что в тот день поступила как раз новенькая больная, и ей обещали принести в кроватку розовую куклу.

В швейцарской Катю одели, укутали, и мать понесла ее к ожидавшей их у подъезда карете. Настя бежала вперед, она открыла дверцу, и Катя вдруг вскрикнула от восторга: в карете, как бы ожидая ее, уже сидела большая розовая кукла. На этот раз это была ее собственная кукла, которую она и везла теперь с восторгом домой.

1903

Н. А. Колосов

Не может быть!

Посвящается Е. А.С.

«По убогой, запущенной церкви ходит священник. Кадит и поет: «Хвалите имя Господне, хвалите рабы Господа»... Поет и кадит, а рабов-то и нет: в церкви пусто»...

В. Розанов

Уже с середины поста у о. Петра по обыкновению стало создаваться предпраздничное настроение. Самый пост становился о. Петру все ближе и дороже. Он не только привыкал к строгому воздержанию, но находил в нем особенную прелесть и сладость. Пост усугублял радость ожидания. И часто о. Петр думал:

— А некоторые не любят поста. Бог с ними, но я не понимаю: зачем они умаляют радость праздника? В пост как-то углубляешься в мысли о Христе, об Его уничижении, об Его терпении и страстях. В пост страдаешь вместе со Христом, а потом в воскресении вместе с Ним воскресаешь.

И о. Петр простаивал долгие, покаянные служ-

бы, довольствовался супом с грибами и чаем с медом, с улыбкой смотрел, как все ниже и ниже падают снежные сугробы, как по утрам покрываются они глянцевитым ледяным слоем, который серебристыми брызгами горит на великолепном — веселом и вместе меланхолическом — солнышке.

— А вот здесь и не тает, — говорит про себя о. Петр, когда, проходя из церкви после исповеди, видел близ узкой, извилистой тропинки доску или клок соломы, под которыми снег не таял и стоял маленьким, но задорным бугорком.

О. Петр перебрасывал доску или солому на другое место и радовался, когда, проходя по узкой, извилистой тропинке на другой день, уже не видел задорного бугорка.

— Быстро тает. Скоро Пасха.

И чем дальше шло время, тем напряженнее становилось у о. Петра чувство ожидания праздника. Он чувствовал, будто сердце у него ширится и растет в груди. С половины шестой недели начались уже и приготовления к празднику. В церкви очищались от пыли иконы, киоты, мылись стены и пол, наводился блеск на золотые вещи, на сосуды, приготовлялись лампадки и фонари для иллюминации, пересматривалась

ризница, псаломщик в церковной школе устраивал спевки к празднику. Готовили концерт «Да воскреснет Бог». Псаломщик назначал спевки по вечерам около 6 часов. Часов в деревне было немного, а те, какие были, показывали время поразному. Поэтому некоторые дисканты и альты приходили в школу около 4 часов и раньше. Кроме певчих к школе собирались любители пения, и около школы всегда толпился народ. От этого казалось, что праздник совсем близко, что его уже вышли встречать. Школьный сторож Трофимыч чувствовал себя на спевках чем-то вроде героя и виновника торжества, с важностью генерала ходил по школе, зачем-то передвигал парты, делал сердитые замечания шаловливым дискантам и жарко-прежарко топил печку, ни под каким видом не позволяя зажигать ламп:

— Нынче керосин-то дорог.

Пели с восковыми свечами. И это пение в полутьме большой классной комнаты с темными силуэтами слушателей по углам и с красными, дрожащими бликами по стенам от горящих дров в печке придавало спевкам отпечаток чего-то необычного, с одной стороны — торжественного, важного, с другой — спешного, торопливого, экстренного.

О. Петр любил заходить на собрания в школе после вечерен, и необычная обстановка спевок еще более усиливала предпраздничность его настроения:

— Скоро Пасха.

Со Страстной недели начались приготовления и в самом доме о. Петра. Здесь тоже чистили, мыли, скоблили, рубили. Все в доме было в движении, все шумело, суетилось, вскрикивало, восклицало, скрипело, стучало, звенело. В доме о. Петра приготовления велись совсем не так, как в церкви или на спевках, без торжественности и без внутренней сосредоточенности. Здесь — наоборот — все было нервно и иногда вздорно и смешно. И тем не менее, когда о. Петр видел, как кухарка, растрепанная, грязная и сердитая, моя квашню и посуду, беспощадно плескала воду направо и налево и глухо ворчала что-то себе под нос по адресу матушки, — о. Петр и в этом ворчании кухарки слышал одно:

— Скоро Пасха.

Сегодня Страстная суббота. Последний день… Пасха завтра… Во время обедни за пением «Воскресни, Боже» переменили облачение на престоле, на жертвеннике, на всех аналоях. Вместо темного надели все белое, сверкающее. Раскрыли

ярко вычищенные подсвечники и паникадила с вставленными в них высокими белыми, с позолотой свечами. В церкви сразу стало как-то непривычно бело, светло и чисто. После обедни благочестивые женщины еще раз вымыли пол, украсили иконы и подсвечники розовыми и белыми цветами; староста со сторожем расставили по иконостасу и по аркам лампадки с маслом так, что они образовывали вензеля «Х.В.» и целые фразы: «Радуйтеся, людие! И паки реку: радуйтеся!», «Несть зде, но воста» и т. д. В 7 часов о. Петр положил начало чтению «Деяний», потом пришел домой, немного закусил, выпил два стакана чаю и, чтоб подкрепиться силами к служению праздничной утрени, прилег отдохнуть, распорядившись — непременно разбудить его к половине 11-го.

О. Петр сильно устал от службы и от поста на Страстной неделе. Предыдущую ночь он совсем не спал. Утреню служили около часу ночи. Спать хотелось, но как-то странно было спать в необычайный, таинственный вечер пред пасхальной заутреней. Тем не менее о. Петр прилег. Усталость чувствовалась во всех членах. Все тело как будто каменело, но в груди было так много жизни и острого, горячего чувства празднич-

ной радости, что о. Петр долго ворочался с боку на бок, как это бывает при нервной взвинченности во время бессонницы. Но, как бы то ни было, усталость превозмогла напор чувств, и о. Петр забылся.

И каково же было его смятение, его ужас и страх, когда он, проснувшись, увидел, что часы показывают… полвторого.

— Боже мой! — растерялся о. Петр, — полночь давно прошла… Что же это такое! Как случилось?.. Не разбудили… Не разбудили… Как это так? Как это… Но где же все?

О. Петр в замешательстве метался по комнате, хватался то за одно, то за другое, брал не то, что было нужно, путался, задевал за стулья, уронил лампу, разбил стекло у часов.

— Боже мой! Ничего не найдешь… Да где же все? Уехали в другое село? Боже! Что такое? Кто здесь? Кто здесь? — вскрикивал о. Петр.

Кое-как ему удалось набросить на себя рясу, и он с взъерошенными волосами, горячий, потный стремглав бросился на улицу. Но едва он вышел за калитку двора, как в онемении остановился.

— Что это?

На площади вокруг церкви было совершенно

темно и пусто. Ни в одном окне не было видно ни огонька. Не было слышно ни звука. Это совсем не так, как в пасхальную ночь. Тогда церковь и изнутри, и снаружи горит сотнями огней. Тогда гул голосов на площади несется далеко за реку и эхом отдается где-то там, в горах. А это? Боже!..

О. Петр не мог двинуться с места. Взгляд его упал на деревню. И тут все было, как обычно. Ночь как ночь. Самая обыкновенная ночь. В крестьянских избах темно. Вокруг ничто не зашелохнет. Слышно, как работает на реке водяная мельница.

— Работают! — ужаснулся о. Петр. — В такой день работают!..

И он почти прокричал:

— Не понимаю. Ничего не понимаю.

На крик о. Петра отозвалась где-то на деревне собака. На чьем-то дворе звякнуло ведро, и послышался голос:

— Да тпру, стой!.. Тпру…

Ничего похожего на пасхальную ночь.

О. Петр в недоумении бросился опять к себе в дом. Везде тишина. Но в столовой накрыт стол. Белоснежная скатерть блестит. На ней кулич, сыр, яйца, ветчина, все, как нужно для Пасхи. На всем в доме чистота и праздничность.

— Нет… Пасха, Пасха… Но как же так? Что же церковь?.. — О. Петр опрометью направился к церкви. Подошел к двери, взялся за скобку — заперта. Посмотрел на сторожку — темно.

— Это все сторож… Прохорыч, — решил почему-то о. Петр, — это он проспал. Он. Потому так это все и… Потому…

О. Петр подбежал к сторожке и беспощадно застучал по подоконнику:

— Прохорыч! Прохорыч! Проспал! Заутреню проспал!.. Скорее!.. — Ответа не было.

— Прохорыч! — еще громче кричал о. Петр и еще громче стучал кулаком по подоконнику.

Окно отворилось, но высунулась из него голова не Прохорыча, а кого-то другого, бритого и похожего на швейцара.

— Какой Прохорыч? Что такое? Пожар? Где пожар? — спрашивала голова, — А? Что?

— Да проспали заутреню, — горячился о. Петр: — звони скорее… Скорее!.. Понял, что ли? Сегодня Пасха… К заутрене скорее… Ну?

Голова несколько мгновений в недоумении помолчала, потом сощурила заспанные глаза, внимательно и подозрительно окинула взором фигуру о. Петра и, наконец, заговорила:

— Заутреня? Пасха?.. Гм… Чудно!.. Какая такая

заутреня?

— О, Господи Боже мой, — волновался о. Петр, — он еще не понимает! Да ведь нынче же Пасха, Пасха… Сейчас заутреню нужно… Пасхальную заутреню…

Голова опять промычала «гм», опять подозрительным взглядом окинула о. Петра и, изобразив гримасу удивления и досады на лице, промолвила:

— Я сейчас к вам выйду.

Через несколько минут пред о. Петром стоял человек, одетый в какую-то форменную одежду и похожий не то на швейцара, не то на английского кучера.

— Простите, — начал он, — я вас совсем не могу понять. Прежде всего скажите, пожалуйста, — кто вы?

— Как кто? — почти с плачем отвечал о. Петр. — Я здешний священник! Священник здешний! И сегодня Пасха. Нужно служить, но я проспал, и все проспали… Что же вы молчите? Господи! Я тоже ничего не понимаю.

— А я начинаю понимать, — с расстановкой произнес человек в форме, — вы, очевидно, слишком много занимались своими делами или еще что-нибудь такое и упустили из виду, что теперь

не существует ни Пасхи, ни заутрени, ничего такого…

У о. Петра зашевелились волосы на голове. Он стоял и широко раскрытыми, неподвижными глазами смотрел на человека в форме.

— Вот, присядьте, прошу вас, — предложил сторож, — здесь у меня скамейка. Вы очень слабы. Или — если угодно — я провожу вас до дому?

— Куда проводить? До какого до дому? — простонал о. Петр. — Я хочу служить. Пасха, Пасха сегодня. Сегодня великий праздник…

— Ах, да нет же, — раздражаясь уже, проговорил человек в форме, — я же вам говорю, что теперь упразднены все праздники.

И вдруг словно молния прорезала мысль о. Петра. Он вспомнил, как недавно, совсем — кажется ему — недавно кто-то говорил, что у нас слишком много праздников, что храмы, попы и церковные школы — это только один вред для народа, что службы и пост — это только доходная статья для духовенства и т. д., и т. д. Вспомнил о. Петр и о том, как раз один мужик, когда о. Петр говорил ему о необходимости говения и исповеди и пользе бодрствования душою, дерзко и нетерпеливо сказал ему:

— А плевать бы я хотел на все это. Какая там

еще душа? Брюхо — вот это я понимаю. Да вот разве еще кулак. А остальное? Да по мне вы свои церкви хоть запечатайте совсем. И не почешусь.

О. Петр понял все и тихо уже, робким и убитым тоном спросил:

— Значит, запечатана?

— Да. Запечатана… То есть не то чтобы совсем запечатана… Иногда отпираем. Для посетителей. Интересуются некоторые, как это там было раньше.

О. Петр улыбнулся неестественной, болезненной улыбкой.

— Как музей? — спросил он, глядя исподлобья.

— Вот-вот. Как музей. Именно…

— Пустите меня! — тихо и просительно проговорил о. Петр, и в тоне его голоса слышались невероятная скорбь, гнетущая тоска и вместе огненное желание быть в церкви, видеть святой алтарь, а также и боязнь, что человек в форме не пустит его в церковь. Ведь теперь все зависит уже от него.

Человек в форме с состраданием посмотрел на о. Петра и проговорил:

— У нас вход бывает открыт только два раза в неделю от 12 до 3-х. Вот, пожалуйте во вторник. А теперь уже и поздно.

— Но ведь нынче же Пасха, Пасха! Как же во вторник! — прокричал о. Петр. — А как вы пускаете? За плату?

— 15 коп. с персоны.

— Послушайте! — схватил о. Петр сторожа за руку. — Я вам заплачу 15 рублей. Мало? Я вам отдам все, что у меня есть. Но пустите меня сейчас. Сейчас.

Сторож постоял с минуту в нерешительности.

— Ну уж что с вами делать! — решил он наконец.

Когда сторож, запасшись фонарем, отпер знакомый о. Петру замок знакомой ему тяжелой, обитой железом и скрипучей двери, им овладела нервная дрожь.

Господи, спаси и помилуй! Господи!

Сторож смотрел на о. Петра с удивлением.

Отперли и вторую дверь, и о. Петр очутился в церкви.

Чем-то непривычным и жутким пахнуло на о. Петра. По-видимому, все в церкви было как и раньше. Осталось все прежнее. Да. Прежнее, прежнее. Вот прежние иконы. Те самые, пред которыми о. Петр отслужил столько литургий, отпел столько молебнов и акафистов, пред которыми ставил свечи и кадил ладаном. И сколько

глаз устремлялось, бывало — к этим иконам, сколько пред ними было пролито слез и горестных, и радостных, и благодарных!.. Те самые иконы… Тогдашние… И все тогдашнее… И плащаница здесь, у стены. И панихидный столик… И этот ореховый киот с иконой Пантелеймона. Да всё, всё… Но как все это посиротело, как одиноко все и уныло. Подсвечники покосились — и, да, да, — покрылись ржавчиной. Вот, видно даже при фонаре. Резьба искрошилась и то там, то здесь валяется на полу. Под ногами даже трещит. О. Петр поднял веночек с потускневшей позолотой. Но куда его? Он был там, наверху киота. О. Петр бережно положил веночек на окно. Руку его сейчас же опутала густая, липкая паутина. Батюшка пошел дальше. Под ногами хрустела резьба и трещали стекла. Должно быть, были разбиты окна. О. Петр взглянул вверх. По арке были расставлены стаканчики. Можно было разобрать вензеля.

— Боже мой! — обрадовался о. Петр. — Как тогда!

Но многие стаканчики выпали и с застывшим маслом валялись на полу.

«Какое запустение! — подумал о. Петр. — Хоть бы убрали…» Ходя по церкви из угла в угол,

о. Петр с нежностью, с чисто материнской ласковостью дотрагивался то до одной вещи, то до другой, прижимал к себе, подолгу держал в руках, целовал и крестился.

Пришли на клирос. Все было по-прежнему. Вот столик, за которым читали шестопсалмие, часы и проч. Вот место, где всегда стоял бас Никанорыч. Шкапик с книгами. И книги все те же… Апостол, Часослов…

— Боже мой! — пугался о. Петр. — Ужели это я? Я, о. Петр, здешний священник? И ужели это та церковь, где я служил? Боже мой!..

О. Петр прошел на амвон. Все по-старому. Обратился к западным дверям и долго стоял неподвижно.

— Это Пасха? — думал он. — А бывало? А? Сколько радостных, оживленных лиц видно было с этого амвона! Какой чувствовался религиозный подъем! Праздничные одежды, бывало… Свечи в руках…

— Мир все-ем! — протянул о. Петр, и голос у него оборвался. Лицо перекосила судорога.

«Можно ли больше надругаться над верующей душой? — подумал он. Поистине зол и мстителен сатана. Где пасхальные цветы? Где огни пасхальные? Где радость? Где восторг? Где ликующие

гимны? О-о!..»

О. Петр отыскал в шкале цветную триодь и открыл ее на первых страницах. Сторож поставил фонарь в сторону, а сам присел на сундук в углу и задремал. О. Петр попробовал читать по триоди, но было темно.

— Нет ли где здесь свечи? На клиросе всегда были свечи… — Действительно, тут же на окне оказался желтый огарок, твердый, как гвоздь.

О. Петр подошел к фонарю и приложил огарок к огню.

Огарок затрещал, и о. Петр радостно улыбнулся. Он всегда любил этот треск свечи ранними утрами, когда он еще до рассвета приходил в церковь и сам зажигал первую свечу. Он и вообще любил свечу, именно желтую, восковую, такую пахучую. Любил ее запах, ее скромный и пугливый огонек, любил он молиться со свечой. Она как будто зажигала что-то в душе, как будто говорила ей что-то. Она сама была как будто что-то живое и нежное. О. Петр долгим, любовным взглядом посмотрел на свечу и поднес ее к триоди.

Им опять овладела нервная дрожь.

Какие слова! Как все это близко! Как дорого!

«Об часе утреннем параекклисиарх… вшед во храм, вжигает свещи вся, и кандила: устро-

яет же сосуды два со углем горящим, и влагает в них фимиама много благовоннаго… яко да исполнится церковь вся благовония. Также настоятель… со иереи и диаконы облачатся в весь светлейший сан».

И дальше:

«Сей день егоже сотвори Господь, возрадуемся»…

Знакомые, любимые, священные страницы! Помнит о. Петр, как, еще будучи учеником духовного училища, любил он Великим постом заглядывать в эти заветные страницы, и как тогда еще святые и торжественные слова наполняли его благоговейным трепетом.

О. Петр медленным шепотом читал страницу за страницей:

«Очистим чувствия и узрим… Христа блистающая… Да празднует же мир-Христос бо восста… Веселие вечное.

— Вечное! — остановился о. Петр и продолжал читать дальше:

…из гроба Красное правды нам возсия Солнце… О другини! Приидите вонями помажем тело живоносное… Возведи окрест очи твои, Сионе, и виждь: се бо приидоша к тебе, яко богосветлая светила, от запада, и севера, и моря, и востока

чада твоя, в тебе благословящая Христа во веки!»

— Во веки… Во веки… — повторял о. Петр.

В глазах у него зарябило. И дышащие радостью слова священных песен, и восковые капли на листах триоди, и какой-то особенный, ни с чем не сравнимый запах от церковных кожаных книг — все это казалось о. Петру до того сродным, во всем этом было так много души о. Петра, а также души его отца, деда, прадеда, души дьячка Ивана Кузьмича и всех его предков, души церковного старосты, церковного сторожа, здесь было так много подлинной, живой души каждого русского мужика, всего русского народа, что взять все это и куда-то запереть, взять цветную триодь и не дать возможности держать ее в пасхальную заутреню пред радостными, возбужденными лицами певчих, не капать на ее листы воском, не петь по ним веселыми играющими напевами сладостных песней, — да это… это невозможно? Это просто невероятно! Это значит взять душу у о. Петра, у Ивана Кузьмича, у всех мужиков, у всего народа и совершить над этою душою, живою и не думающею умирать, совершить какое-то тяжкое и гнусное преступление… Нет! Это невозможно. И не может быть сомнения, что вот нынче же, сейчас, в эту же ночь запоют по старым, закапан-

ным страницам триоди, оживят эти страницы, а также жизнью наполнят и все вокруг… Это несомненно.

Но о. Петр оглянулся назад, увидел грязь и пустоту церкви, услышал храп сторожа в темном углу, и стремительный поток его радужных мыслей разом оборвался. Он посмотрел на книгу, горько усмехнулся, оглянулся на сторожа и робко, стыдливо как-то спросил:

— А послушайте… Господин!.. Послушайте… Можно здесь немного попеть?.. Я потихоньку бы… А?

Совсем было заснувший сторож приподнялся на локте, посмотрел вокруг, увидел, что ничего особенного не произошло, и пробормотал:

— Ладно… Пожалуйста…

О. Петр торопливым шагом на цыпочках подошел к ризничному шкапу и отворил его. Двери на ржавых петлях заскрипели незнакомым, режущим звуком. О. Петр брал то одну ризу, то другую…

— Вот, вот она… Пасхальная, — произнес он и, благословив белую, отсыревшую ризу, облачился.

Торопливо и осторожно, куда-то спеша и чего-то опасаясь, прошел он в алтарь. Стал пред

престолом и неуверенным, дрожащим от волнения голосом возгласил:

— Слава святой… и неразделимой Троице… — И сам же запел:

— Ами-инь.

И затем продолжал:

— Христос воскресе из ме-ертвых, смертию смерть попра-ав… — Голос о. Петра звучал в пустой, заброшенной церкви глухо и странно. И в звуках этого одинокого голоса пустота и заброшенность церкви сказывались как-то резче, больнее и несноснее:

— И сущим во гробе-ех…

Но здесь голос о. Петра опять оборвался. Он бессильно опустился пред престолом на колена, положил на него свою голову и громко и безудержно зарыдал:

— Господи, Господи! — говорил он между рыданиями. — Великий Боже! За что такое наказание? За что мука такая? Ужас, ужас! Господи! Лучше возьми меня от этого кошмара. Возьми к Себе. Господи! Возьми к Себе. Или пошли, Господи, людям веру. Пошли любовь. Утверди, Господи, веру их. Растопи лед их сердец. Воскресни, Господи, в душах наших. Соедини нас во имя Твое. Господи! Помоги неверию нашему. Или… возьми…

возьми меня к Себе… Не дай мне видеть этого страшного позора… Возьми…

О. Петр рыдал все громче. Все его тело судорожно вздрагивало. Он чувствовал, что облачение престола стало мокро от его слез. Но слезам как будто не было конца.

— Господи! Возьми, возьми меня к Себе…

— Батюшка, а батюшка! — раздалось вдруг над ухом о. Петра. — Да батюшка. Господи, заспался что-то… Батюшка! К утрени пора! В Новоселках благовестят уже. И у нас все готово. Батюшка!

О. Петр вскочил со своей постели встрепанный, раскрасневшийся от волнения, потный.

Несколько секунд он, как пораженный громом, стоял неподвижно напротив церковного сторожа Прохорыча и не говорил ни слова.

Потом он порывисто перекрестился раз и другой. Оглянулся кругом, внимательно осмотрел Прохорыча и вдруг засмеялся веселым, радостным смехом.

— Так это, значит, сон! — вскричал он. — Слава Тебе, Господи! Слава Тебе, Господи!

Он обернулся к иконам и опять перекрестился.

— Али сон худой приснился, батюшка? — спросил недоумевающий Прохорыч.

— И не говори! Такой худой сон… — отвечал

о. Петр и побежал умываться.

— Значит, сон, сон, — повторял он одно и то же, — слава Богу. Но какой же это был ужас! Какой ужас! Господи, благодарю Тебя! Это был сон… Да, конечно. Как же могло быть иначе? Разве это возможно в действительности? Безусловно, нет. Это просто нелепо. Это совершенно невозможно. Этого никогда не может быть. Да. Да. Не может быть.

О. Петр выглянул на площадь. Церковь была вся в огне и поднималась к небу, как одна колоссальная свеча. Вокруг церкви копошился и гудел народ. Собирались жечь смоляные бочки.

— Конечно, конечно, — торопливо говорил о. Петр, — ничего того не может быть. Не может быть. Такой праздник… Не может быть…

Когда о. Петр, одевшись, вышел на улицу, на него тепло и ласково пахнул весенний ветер. Слышался запах прелой земли и распускающихся почек. В мягком и влажном воздухе плавными, но упругими волнами колебались звуки торжественного, чистого благовеста в соседних селах.

— Как хорошо! — вырвалось у о. Петра. — Что может сравниться с этой ночью?

Войдя в церковь, о. Петр увидел горящие вензеля, алтарь, сияющий огнями и цветами. Изоб-

ражение воскресения все было увито цветами, белыми, розовыми, и казалось, что это Христос идет по цветам в саду Иосифа Аримафейского, чтобы сказать Магдалине и прочим:

— Радуйтеся.

О. Петр начал службу с особым подъемом чувства, с каким-то необычным трепетанием в груди. Он пред своими глазами видел все то, чего так беспомощно искал в кошмарном сне. Радость его была беспредельна и слышалась в каждом звуке его голоса, виделась в каждом его движении. Ответным аккордом эта радость о. Петра поднималась со глуби сердец богомольцев.

Когда после пения пред закрытыми дверями о. Петр вошел в искрящуюся огнями, наряженную цветами, блистающую церковь, до пафоса напряженным голосом возгласил: «Христос воскресе!» — религиозное возбуждение народной массы достигло апогея.

— Воистину, воистину воскресе! — гудела и ревела она. — Воистину!.. И в этом «воистину» было что-то стихийное, здесь выражалось что-то непобедимое, как всякая стихия, что-то вечное, не подлежащее умиранию. В этом стихийном «воистину» выливалось все лучшее, что есть

в человеке, все подлинно человеческое и свыше человеческое, здесь духовное, Божественное начало в человеке как бы облекалось плотью и костьми, принимало конкретные формы и становилось очевидным, осязаемым, реальным…

— Воистину!

— Христос воскресе! — еще и еще возглашал о. Петр под аккомпанемент ликующего пения.

В ответ ему еще и еще несся стихийный гул, заглушавший и голос о. Петра, и пение всего хора:

— Воистину, воистину!..

А о. Петр в этом гуле слышал свое собственное:

— Не может быть… Не может быть…

И он служил с такой силой чувства, с такой любовью ко Христу воскресшему и с таким огнем священного воодушевления, как, казалось ему, никогда раньше.

— Как хорошо-то, батюшка, как хорошо, — прошептал сторож Прохорыч, подавая о. Петру в конце заутрени тресвечник, — как в раю… И солнце играет…

В глазах старика стояли слезы.

И о. Петр не удержался и заплакал. Но не теми слезами тоски и отчаяния, которыми он так недавно — казалось — плакал пред этим же престолом, а слезами детской радости и чистого восторга.

1909

А. И. Куприн

По-семейному

Было это… право, теперь мне кажется порой, что это было триста лет тому назад: так много событий, лиц, городов, удач, неуспехов, радостей и горя легло между нынешним и тогдашним временем. Я жил тогда в Киеве, в самом начале Подола, под Александровской горкой, в номерах «Днепровская гавань», содержимых бывшим пароходным поваром, уволенным за пьянство, и его женою Анной Петровной — сущей гиеной по коварству, жадности и злобе.

Нас, постоянных жильцов, было шестеро, все — люди одинокие. В первом номере обитал самый старинный постоялец. Когда-то он был купцом, имел ортопедический и корсетный магазин, потом втянулся в карточную игру и проиграл все свое предприятие; служил одно время приказчиком, но страсть к игре совершенно выбила его из колеи. Теперь он жил бог знает каким нелепым и кошмарным образом. Днем спал, а поздно вечером уходил в какие-то тайные игорные притончики, которых множество на берегу Днепра, около большого речного порта. Был он — как все игроки не по расчету, а по страсти — широким,

вежливым и фатальным человеком.

В номере третьем жил инженер Бутковский. Если верить ему, то он окончил лесной, горный, путейский и технологический институты, не считая заграничной высшей школы. И правда, в смысле всевозможных знаний он был похож на фаршированную колбасу или на чемодан, куда, собираясь в путь, напихали всякого тряпья сверх меры, придавили верхнюю крышку животом и с трудом заперли чемодан на ключ, но если откроешь, то все лезет наружу. Он свободно и даже без просьбы говорил о лоции, об авиации, ботанике, статистике, дендрологии, политике, об ископаемых бронтозаврах, астрономии, фортификации, септаккордах и доминантах, о птицеводстве, огородничестве, облесении оврагов и городской канализации. Он запивал раз в месяц на три дня, когда говорил исключительно по-французски и по-французски же писал в это время коротенькие записочки о деньгах своим бывшим коллегам-инженерам. Потом дней пять он отлеживался под синим английским клетчатым пледом и потел. Больше он ничего не делал, если не считать писем в редакцию, которые он писал всюду и по всяким поводам: по случаю осушения болот Полесья, открытия

новой звезды, артезианских колодцев и т. д. Если у него бывали деньги, он их рассовывал в разные книги, стоявшие у него на этажерке, и потом находил их, как сюрпризы. И, помню, часто он говорил (он картавил):

— Дгуг мой. Возьмите, пгошу вас, с полки Элизе Геклю, том четвегтый. Там между двухсотой и тгехсотой стганицами должны быть пять гублей, котогые я вам должен.

Собою же он был совсем лыс, с белой бородой и седыми бакенбардами веером.

В восьмом номере жил я. В седьмом — студент с толстым, безусым лицом, заика и паинька (теперь он *прокурор с большой известностью*). В шестом — немец Карл, шоссейный техник, жирный остзеец, трясущийся пивопийца. А пятый номер нанимала проститутка Зоя, которую хозяйка уважала больше, чем нас всех остальных, вместе взятых. Во-первых, она платила за номер дороже, чем мы, во-вторых, — платила всегда вперед, а в-третьих, — от нее не было никакого шума, так как к себе она водила — и то лишь изредка — только гостей солидных, пожилых и тихих, а больше ночевала на стороне, в чужих гостиницах.

Надо сказать, что все мы были и знакомы, и как

будто бы незнакомы. Одолжались друг у друга заваркой чая, иголкой, ниткой, кипятком, газетой, чернилами, конвертами и бумагой.

Всех номеров было в нашем прибежище девять. Остальные три занимались на ночь или на время случайными парочками. Мы не сердились. Мы ко всему привыкли.

Наступила быстрая южная весна. Прошел лед по Днепру: река разлилась так мощно, что до самого горизонта затопила левый, низменный черниговский берег. Стояли теплые темные ночи, и перепадали короткие, но обильные дожди. Вчера деревья едва зеленовато серели от почек, а наутро проснулся — и видишь, как они вдруг заблестели нежными, яркими первыми листиками.

Тут подошла и Пасха с ее прекрасной, радостной, великой ночью. Мне некуда было пойти разговеться, и я просто в одиночестве бродил по городу, заходил в церкви, смотрел на крестные ходы, иллюминацию, слушал звон и пение, любовался милыми детскими и женскими лицами, освещенными снизу теплыми огнями свечек. Была у меня в душе какая-то упоительная грусть — сладкая, легкая и тихая, точно я жалел без боли об утраченной чистоте и ясности моего

детства.

Когда я вернулся в номера, меня встретил наш курносый коридорный Васька, шустрый и лукавый мальчуган. Мы похристосовались. Улыбаясь до ушей и обнаруживая все свои зубы и десны, Васька сказал мне:

— Барышня с пятого номера велела, чтобы вы зашли до ее.

Я немного удивился. Мы с этой барышней совсем не были знакомы.

— Она и записку вам прислала, — продолжал Васька. — Вон на столе лежит.

Я взял разграфленный листок, вырванный из записной книжки, и под печатной рубрикой «Приход» прочитал следующее:

«Глубокожамый № 8.

Если вам свободно и не по Брезгуете очень прошу вас зати ко мне У номер разговеца свяченой пасхой.

Извесная вам Зоя Крамаренкова».

Я постучал к инженеру, чтобы посоветоваться с ним. Он стоял перед зеркалом и с упорством всеми десятью пальцами приводил в порядок свои жесткие, запущенные седины. На нем был лоснившийся сюртук, видавший виды, и бе-

лый галстук вокруг заношенного, порыжевшего с краю воротничка.

Оказывается, он тоже получил пригласительную записку. Мы пошли вместе.

Зоя встретила нас на пороге, извиняясь и краснея. У нее было самое заурядное, самое типичное лицо русской проститутки: мягкие, добрые, безвольные губы, нос немного картофелем и безбровые серые глаза навыкате — «лупетки». Но ее улыбка — нынешняя, домашняя, безыскусственная улыбка, такая застенчивая, тихая и женственная — вдруг на мгновение делала лицо Зои прелестным.

У нее уже сидели игрок и шоссейный Карл. Таким образом, за исключением студента, здесь собрались все постоянные обитатели номеров «Днепровская гавань».

Комната у нее была именно такая, какой я себе ее представлял. На комоде пустые бомбоньерки, налепные картинки, жирная пудра и щипцы для волос. На стенах линялые фотографии безусых и курчавых фармацевтов, гордых актеров в профиль и грозных прапорщиков с обнаженными саблями. На кровати гора подушек под тюлевой накидкой, но на столе, покрытом бумагой, вырезанной, как кружево, красовались

пасхи, кулич, яйца, нога ветчины и две бутылки какого-то таинственного вина.

Мы похристосовались с ней щека об щеку, целомудренно и манерно, и сели закусывать. Надо сказать, что все мы в этот час представляли собою странное и редкое зрелище: четверо мужчин, вконец изжеванных и изглоданных неудачной жизнью, четверо старых кляч, которым в общей сложности было во всяком случае больше двухсот лет, и пятая — наша хозяйка — уже немолодая русская проститутка, то есть самое несчастное, самое глупое и наивное, самое безвольное существо на всей нашей планете.

Но как она была неуклюже мила, как застенчиво гостеприимна, как дружески и деликатно проста!

— Получайте, — ласково говорила она, протягивая кому-нибудь из нас тарелку, — получайте и кушайте, пожалуйста. Номер шестой, вы, я знаю, больше пиво пьете. Мне Вася рассказывал. Так достаньте около вас под столом. А вам, господа, я налью вина. Это очень хорошее вино. Тенериф. У меня есть один знакомый пароходчик, так он его постоянно пьет.

Мы четверо знали все в жизни и, конечно, знали, на какие деньги был устроен весь этот

пасхальный стол вместе с пивом и «тенерифом». Но это знание, однако, совсем не коробило и не угнетало нас.

Зоя рассказывала о своих ночных впечатлениях. В Братстве, где она отстояла заутреню, была страшная теснота, но Зое удалось занять хорошее место. Чудесно пел академический хор, а Евангелие читали сами студенты, и читали поочередно на всех языках, какие только есть на свете: по-французски, по-немецки, по-гречески и даже на арабском языке. А когда святили на дворе пасхи и куличи, то сделалась такая толкотня, что богомольцы перепутали свои припасы и перессорились. Потом Зоя задумалась, развздыхалась и стала мечтательно вспоминать Великую неделю у себя в деревне.

— Такие мы цветочки собирали, называются «сон», — синенькие такие, они первые из земли выходят. Мы делали из них отвар и красили яйца. Чудесный выходил синий цвет.

А чтобы желтый был цвет, так мы луком яйца обертывали, шелухой, — и в кипяток. А то еще разноцветными тряпочками красили. А потом целую неделю ходили по селу и били яйцо об яйцо. Сначала носиком, потом ж…кой, кто перебьет другого, тот забирает себе. Один парнишка достал

где-то в городе каменное яйцо — так он всех перекокал. Но когда дознались, в чем дело, то у него все яйца отняли, а самого поколотили.

И целую Святую неделю у нас качели. Одни — большие посередь села: это общественные. А то еще отдельно у каждых ворот маленькие качели — дощечка и пара веревок. Так всю неделю качаются все — мальчишки и девчонки, и все поют: Христос воскресе. Хорошо у нас!

Мы слушали ее молча. Жизнь так долго и ожесточенно колотила нас по головам, что, казалось, навеки выбила из нас всякие воспоминания о детстве, о семье, о матери, о прежних пасхах.

Между тем коленкоровая занавеска на окне холодно поголубела от рассвета, потом стала темнеть и переходить в желтый тон и вдруг незаметно стала розовой от отраженного солнца.

— Вы не боитесь, господа, я открою окно? — сказала Зоя.

Она подняла занавеску и распахнула раму. Вслед за нею и мы все подошли к окну.

Было такое светлое, чистое праздничное утро, как будто кто-то за ночь взял и вымыл заботливыми руками и бережно расставил по местам и это голубое небо, и пушистые белые облака на нем, и высокие старые тополи, трепетавшие

молодой, клейкой, благоухающей листвой. Днепр расстилался под нами на необозримое пространство — синий и страшный у берегов, спокойный и серебряный вдали. На всех городских колокольнях звонили.

И вдруг все мы невольно обернулись. Инженер плакал. Ухватившись руками за косяк оконной рамы и прижавшись к нему лбом, он качал головой и весь вздрагивал от рыданий. Бог весть, что делалось в его старческой, опустошенной и израненной душе неудачника. Я знал его прежнюю жизнь только слегка, по случайным намекам: тяжелая женитьба на распутной бабенке, растрата казенных денег, стрельба из револьвера в любовника жены, тоска по детям, ушедшим к матери…

Зоя жалостно ахнула, обняла инженера и положила его седую, с красной бугристой плешью голову себе на грудь и стала тихо гладить его плечи и щеки.

— Ах, миленький, ах вы, мой бедненький, — говорила она певуче. — Сама ведь я знаю, как трудно вам жить. Все вы, как песики заброшенные… старенькие… одинокие. Ну, ничего, ничего… потерпите, голубчики мои… Бог даст, все пройдет, и дела поправятся, и все пойдет по-хорошему… Ах вы, родненький мой…

С трудом инженеру удалось справиться. Веки у него набрякли, белки покраснели, а распухший нос стал почти синим.

— Чегт! Негвы пгоклятые! Чегт! — говорил он сердито, отворачиваясь к стене.

И по его голосу я слышал, что у него в горле, во рту и в носу еще стоят едкие невылившиеся слезы.

Через пять минут мы стали прощаться и все почтительно поцеловали руку у Зои. Мы с инженером вышли последними, и как раз у самых дверей Зоиного номера на нас наскочил возвращавшийся из гостей студент.

— Ага! — воскликнул он, улыбаясь и многозначительно вздернув брови. — Вы в-вон откуда? Гм… раззз-говелись, значит?

В тоне его голоса мы услышали определенную гнусность. Но инженер великолепно и медленно смерил его взглядом от сапог до верха фуражки и после длинной паузы сказал через плечо тоном непередаваемого презрения:

— Сссуслик!

1910

Пасхальные яйца

И правда: что поделаешь, когда не везет? Приходится смириться, закрыть глаза, не дышать, спрятаться куда-нибудь в угол, накрыться с головой одеялом и терпеливо ждать смерти, в надежде, что при будущем земном воплощении судьба вместо спины повернется к тебе лицом.

Мне, милый мой, никогда и ни в чем не везло. Есть люди, которые ставят пятнадцать раз подряд на zero и, вопреки теории вероятностей, каждый раз выигрывают. Есть удивительные счастливцы на уличные находки, на лотереи-аллегри и на выигрышные билеты. Существуют удачники, благополучно избегающие пожаров, крушений на железных дорогах, заразных болезней, начальственного гнева, бешеных собак и карманных жуликов. Но есть и несчастные, жалкие, позорные, смешные и презренные пасынки жизни, которых судьба с утра до вечера, из года в год стукает и стукает по голове, как деревянных турок в музее восковых фигур. Из этих париев я — номер первый; в том нет никакого сомнения.

Припомните из своего прошлого или по чужим рассказам, или просто вообразите себе любой

случай, любое положение, и я наверно приведу вам аналогичное обстоятельство из своей злосчастной жизни, при котором я неизменно летел вверх тормашками, падал и еле-еле вставал с шишкой на лбу.

Да вот вам живой пример. Завтра у нас Светлое Воскресенье, и я по всем этим вашим кулечкам, сверточкам и картоночкам вижу, что вы несете домой праздничные подарочки: разные там яички со змеями, составные яички с колечками, барашками, цветочками. Вижу, как вы целый день бегали по магазинам в толпе, в давке, забыв даже об еде, и теперь, счастливые, усталые и голодные, зашли сюда, в кабачок, перекусить на скорую руку. Ну вот я вам и расскажу, как через одно пасхальное яичко я лишился наследства, родни и поддержки, и все это в самых отроческих годах. Был я тогда длинным и нескладным шестнадцатилетним балбесом, которого туряли из всех гимназий и из всех училищ, к большому огорчению нашей бедной и многочисленной семьи. Единственной нашей поддержкой был старик дядя — человек холостой и богатый, черствый и самолюбивый, вспыльчивый и капризный. Несмотря на свои семьдесят лет, он был черен волосом, как навозный жук, и имел желтое, сжатое

в комок морщин лицо. Он был беззубый и всегда двигал нижней челюстью влево и вправо, точно задумчиво что-то пережевывал.

На Пасху мы неизменно подносили ему подарки: стишки, написанные каллиграфически на веленевой бумажке и перевязанные голубой ленточкой, вязаные салфеточки — изделия моих сестер, крашенные дома яйца и т. д. Дядя принимал нас и наши подарочки, давал нам целовать свою коричневую маленькую ручку, похожую на мощи, одарял нас маленькими золотыми монетами и отпускал до Рождества или до своих именин. И это повторялось из года в год, трижды в год, почти без изменения: на Рождество, на Пасху и на его именины. Но мне посчастливилось удивить нашего дядю совсем неожиданным подарком. В конце Великого поста я проходил по улице и в окне цветочного магазина увидал большое, с человеческую голову величиною, яйцо. На нем, на его белой, гладкой, блестящей поверхности зелеными буквами из проросшего кресс-салата было написано: «Я был лысым».

Это пленило меня. Но, как я ни был глуп и доверчив, я все-таки нашел надпись немного неподходящей к праздничному дню. Надо было войти в магазин, прицениться и условиться.

Цена яйца была шестьдесят копеек. Стоило только написать водою на нем любые буквы и посыпать семенами кресс-салата, как в продолжение недели на нем зеленым цветом вырастали сладкие пасхальные слова.

— Я бы, — сказал я робко, — мне бы не хотелось… я был лысым…

— О, это пустяки… Вот вам яйцо, которое уже посеяно. Через неделю ростки взойдут, и оно будет собою представлять очаровательное простое зеленое яйцо. Нам все равно: с надписью или без.

Я согласился. И понес яйцо домой. В дверях немец сказал мне, что яйцо нужно держать непременно в темноте.

В воскресенье я с робостью впервые поглядел на мой пасхальный подарок, спрятанный мною в темном чулане. Это было очаровательное, бархатное зеленое яйцо. Я положил его в картонку от шляпы и понес.

Было все по порядку: стишки, вязанье, раскрашенные барашки, целованье руки и так далее. Наконец я раскрыл картонку и вытащил мое яйцо. Вообразите себе, что на нем, на зеленом поле четкими, желто-золотыми буквами было написано: «Я был лысым!»

Бог знает, почему это получилось. Недосмотр

артельщика, ошибка садовода или моя торопливость? Вернее всего, моя вечная неудача.

Дядя вдруг из светло-кирпичного сделался темно-кирпичным, потом пунцовым, потом пурпуровым, затем сизым. И вдруг, сдернув с себя черно-синий парик, бросил его на землю и закричал:

— Мерзавец, проклинаю тебя и лишаю наследства отныне и во веки веков, аминь! Вон!.. Идиотская насмешка! Интриганы! Вон!..

Но я стоял неподвижно и в дрожащих руках держал зеленое яйцо с яркой, солнечной надписью: «Я был лысым», а напротив меня качалась голова с черепом голым и блестящим, как бильярдный шар.

Как меня вывели на улицу, я не помню.

1911

Московская Пасха

Московские бульвары зеленеют первыми липовыми листочками. От вкрадчивого запаха весенней земли щекотно в сердце. По синему небу плывут разметанные веселые облачки; когда смотришь на них, то кажется, что они кружатся, или это кружится пьяная от весны голова?

Гудит, дрожит, поет, заливается, переливается над Москвой неумолчный разноголосый звон всех ее голосистых колоколов.

Каждый московский мальчик, даже сильно захудалый, самый сопливый, самый обойденный судьбою, имеет в эти пасхальные дни полное, неоспоримое, освященное веками право залезать на любую колокольню и, жадно дождавшись очереди, звонить, сколько ему будет угодно, пока не надоест, в любой из колоколов, хоть в самый огромадный, если только хватит сил раскачать его сорокапудовый язык и мужества выдержать его оглушающий, сотрясающий все тело медный густой вопль. Стаи голубей, диких и любительских, носятся в голубой, чистой вышине, сверкая одновременно крыльями при внезапных поворотах и то темнея, то серебрясь и почти растаивая

на солнце.

Как истово-нарядна, как старинно-красива коренная, кондовая, прочная, древняя Москва. На мужчинах темно-синие поддевки и новые картузы, из-под которых гладким кругом лежат на шее ровно обстриженные, блестящие маслом волосы… Выпущенные из-под жилеток косоворотки радуют глаз синим, красным, белым и канареечным цветом или веселым узором в горошек. Как румяны лица, как свежи и светлы глаза у женщин и девушек, как неистово горят на них пышные, разноцветные московские ситцы, как упоительно пестрят на их головах травками и розанами палевые кашемировые платки и как степенны на старухах прабабушкины шали, шоколадные, с желтыми и красными разводами в виде больших вопросительных знаков!

И все целуются, целуются, целуются… Сплошной чмок стоит над улицей: закрой глаза — и покажется, что стая чечеток спустилась на Москву. Непоколебим и великолепен обряд пасхального поцелуя. Вот двое осанистых степенных бородачей издали приметили друг друга, и руки уже распространились, и лица раздались вширь от сияющих улыбок. Наотмашь опускаются

картузы вниз, обнажая расчесанные на прямой пробор густоволосые головы. Крепко соединяются руки. «Христос Воскресе!» — «Воистину Воскресе!» Головы склоняются направо — поцелуй в левые щеки, склоняются налево — в правые, и опять в левые. И все это не торопясь, важевато.

— Где заутреню стояли?

— У Спаса на Бору. А вы?

— Я у Покрова в Кудрине, у себя.

Воздушные шары покачиваются высоко над уличным густым движением на невидимых нитках разноцветными, упругими, легкими весенними гроздьями. Халва и мармелад, пастила, пряники, орехи на лотках. Мальчики на тротуарах у стен катают по желобкам яйца и кокаются ими. Кто кокнул до трещины — того и яйцо.

Пасхальный стол, заставленный бутылками и снедью. Запах гиацинтов и бархатных жонкилий. Солнцем залита столовая. Восторженно свиристят канарейки.

Юнкер Александровского училища в новеньком мундирчике, в блестящих лакированных сапогах, отражающихся четко в зеркальном паркете, стоит перед милой, лукавой девушкой. На ней воздушное платье из белой кисеи на розовом чехле. Розовый поясок, роза в темных

волосах.

— Христос Воскресе, Ольга Александровна, — говорит он, протягивая яичко, расписанное им самим акварелью с золотом.

— Воистину!

— Ольга Александровна, вы знаете, конечно, православный обычай…

— Нет, нет, я не христосуюсь ни с кем.

— Тогда вы плохая христианка. Ну, пожалуйста. Ради великого дня!

Полная важная мамаша покачивается у окна под пальмой в плетеной качалке. У ног ее лежит большой рыжий леонбергер.

— Оля, не огорчай юнкера. Поцелуйся.

— Хорошо, но только один раз, больше не смейте.

Конечно, он осмелился.

О, каким пожаром горят нежные, атласные, прелестные щеки. Губы юноши обожжены надолго. Он смотрит: ее милые розовые губы полуоткрыты и смеются, но в глазах влажный и глубокий блеск.

— Ну, вот и довольно с вас. Чего хотите? Пасхи? Кулича? Ветчины? Хереса?

А радостный, пестрый, несмолкаемый звон московских колоколов льется сквозь летние рамы окон…

1926

Пасхальные колокола

Быстро-быстро промчались впечатления вчерашнего дня и Великой ночи: плащаница в суровой холодной темноте собора, воздержание от еды до разговения, дорога в церковь, в тишине и теплоте апрельского синего вечера, заутреня, крестный ход, ликующая встреча восставшего из Гроба Христа, восторженное пение хора, подвижная, радостная служба, клир в светлых, сияющих парчовых ризах, блеск тысяч свечей, сияющие лица, поцелуи; чудесная дорога домой, когда так нежно сливаются в душе усталость и блаженство, дома огни, добрый смех, яйца, кулич, пасха, ветчина… глаза слипаются; в доме много народа, поэтому тебе стелют постель на трех стульях, поставленных рядком; погружаешься в сон, как камень падает в воду.

Утром проснулся я, и первое, ещё не осознанное впечатление большой — нет! — огромной радости, которой как будто бы пронизан весь свет: люди, звери, вещи, небо и земля. Побаливает затылок, также спина и ребра, помятые спаньем в неудобном положении на жесткой подстилке, на своей же кадетской шинельке с медными

пуговицами. Но что за беда? Солнце заливает теплым текучим золотом всю комнату, расплескиваясь на обойном узоре. Господи! Как еще велик день впереди, со всеми прелестями каникул и свободы, с невинными чудесами, которые тебя предупредительно ждут на каждом шагу!

Как невыразимо вкусен душистый чай (Лянсин императорский!) с шафранным куличом и с пасхой, в которой каких только нет приправ: и марципан, и коринка, и изюм, и ваниль, и фисташки. Но ешь и пьешь наспех. Неотразимо зовет улица, полная света, движения, грохота, веселых криков и колокольного звона. Скорее, скорее!

На улице сухо, но волнующе, по-весеннему, пахнет камнем тротуаров и мостовой, и как звонко разносятся острые детские крики! Высоко в воздухе над головами толпы плавают и упруго дергаются разноцветные воздушные шары на невидимых нитках. Галки летят крикливыми стаями… Но раньше всего — на колокольню!

Все ребятишки Москвы твердо знают, что в первые три дня Пасхи разрешается каждому человеку лазить на колокольню и звонить, сколько ему будет удобно. Даже и в самый большой колокол!

Вот и колокольня. Темноватый ход по каменной лестнице, идущей винтом. Сыро и древне пахнут старые стены. А со светлых площадок всё шире и шире открывается Москва.

Колокола. Странная система веревок и деревянных рычагов-педалей, порою повисших совсем в воздухе, почти наружу. Есть колокола совсем маленькие: это дети; есть побольше — юноши и молодые люди, незрелые, с голосами громкими и протяжными: в них так же лестно позвонить мальчугану, как, например, едучи на извозчике, посидеть на козлах и хоть с минуту подержать вожжи. Но вот и он, самый главный, самый громадный колокол собора; говорят, что он по величине и по весу второй в Москве, после Ивановского, и потому он — гордость всей Пресни.

Трудно и взрослому раскачать его массивный язык, мальчишкам это приходится делать артелью. Восемь, десять, двенадцать упорных усилий и, наконец, — баммм… Такой оглушительный, такой ужасный, такой тысячезвучный медный рёв, что больно становится в ушах и дрожит каждая частичка тела. Это ли не удовольствие?

Самый верхний этаж — и вот видна вокруг вся Москва: и Кремль, и Симонов монастырь,

и Ваганьково, и Лефортовский дворец, и синяя изгибистая полоса Москва-реки, все церковные купола и главки: синие, зеленые, золотые, серебряные… Подумать только: сорок сороков! И на каждой колокольне звонят теперь во все колокола восхищенные любители. Вот так музыка! Где есть в мире такая? Небо густо синеет — и кажется таким близким, что вот-вот дотянешься до него рукою. Встревоженные голуби кружатся стаями высоко в небе, то отливая серебром, то темнея.

И видишь с этой верхушки, как плывут, чуть не задевая за крест колокольни, пухлые серьезные белые облака, точно слегка кружась на ходу.

1928

Инна

Рассказ бездомного человека

Ах, этот Киев! Чудесный город, весь похожий на сдобную, славную попадью с маслеными глазами и красным ртом. Как мне забыть эти часы, когда, возбужденный теплым тополевым запахом весенней ночи, я ходил из церкви в церковь, не минуя единоверцев, греков и старообрядцев. Ах, красота женских лиц, освещаемых снизу живым огнем, этот блеск белых зубов, и прелесть улыбающихся нежных губ, и яркие острые блики в глазах, и тонкие пальчики, делающие восковые катышки.

Точно со стороны, точно мальчишка, выключенный из игры, я видел, что всем беспричинно хотелось смеяться и приплясывать. И мотивы ирмосов были все такие древне-веселые: трам, трам, тра-ля-лям. И все смеялись: смеялись новой весне, воскресенью, цветам, радостям тела и духа. Один я походил на изгнанника, который смотрит сквозь заборную щелку, таясь от всех, на чужое веселое празднество.

Ее звали Инна. Это потом, по расследованию

отцов церкви, оказалось, что имена Инна, Пинна, Римма и Алла — вовсе не женские, а, наоборот, очень мужские имена. Тогда же она была для меня единственная, несравненная, обожаемая Инна. Три года назад мне казалось, что она питает ко мне взаимность. Но совсем неожиданно для меня мне было отказано от их дома. Отказано очень вежливо, без недоразумений и ссоры. Сделала это с грустным видом маменька, толстая дама, большая курительница и специалистка в преферансе. Я сам понял это так, что, по моей молодости, скудному жалованью и отсутствию перспектив в будущем, я никак уж не гожусь в женихи девушке, очень красивой, хорошо воспитанной и с порядочными средствами. Я покорился. Что же мне было делать? Не лезть же с объяснениями или насильственно втираться в дом, где оказался лишним? Но образ Инны застрял в моем сердце и не хотел уходить оттуда. Дешевых амуров я никогда не терпел. Должен признаться, что в первое время я все норовил попадать в те места, где она чаще всего бывала, чтобы хоть на секундочку увидать ее. Но однажды, когда на пристани знаменитого Прокопа она, окруженная веселой молодежью, садилась в лодку и мельком заметила меня, —

я заметил, как недовольно, почти враждебно сдвинулись ее прелестные, союзные, разлетистые брови, с пушком на переносице. Тогда мне стыдно стало, что я ее преследую, вопреки ее желанию, и я перестал.

Однако каждый раз на великую заутреню я в память наших прошлых Пасх приходил в ее любимую церковь — Десятинную, самую древнюю в Киеве, откопанную из старых развалин, и ждал на паперти ее выхода после обедни. Казалось мне, что здесь, среди нищих, я вне укора и презрения. Я ведь был тогда очень верующим и всегда умилялся над одним из пасхальных песнопений:

Воскресения день.
И просветимся торжеством,
И друг друга обымем.
Рцем, братие,
И ненавидящим нас
Простим…

Да! Еще издалека-издалека я видел, как она замечала меня сквозь толпу, но проходила она всегда мимо меня с опущенными ресницами. Что же? Не выпрашивать же мне было у нее

пасхальный поцелуйчик? Хотя мнилось мне порою, что какая-то складка жалости трогала ее розовые уста.

Так и в эту Святую ночь, выждав время, стал я на Десятинной паперти, подождал и дождался.

Встретились мы с ней глазами… Испугался я вдруг и как-то сам себе стал противен со своей назойливостью. Повернулся и пошел куда глаза глядят.

Взобрался я, помню, по длинной плитяной лестнице с широкими низкими ступенями на самый верх Владимирской горки, господствующей над всем городом, и уселся совсем близко около высокого и очень крутого обрыва, на скамье. У моих ног расстилался город. По двойным цепям газовых фонарей я видел, как улицы поднимались по соседним холмам и как вились вокруг них. Сияющие колокольни церквей казались необыкновенно легкими и точно воздушными. В самом низу, прямо подо мною, сине белела еще не тронувшаяся река с черневшимися на ней зловещими проталинами. Около реки, там, где летом приставали барки, уличные огни сбились в громадную запутанную кучу: точно большая процессия с заниженными фонарями внезапно остановилась на одном месте. Светила

чуть ущербленная луна. В трепетном воздухе, в резких, глубоких тенях от домов и деревьев, в дрожащих переливах колокольного звона чувствовалась весенняя нежность.

Вдруг я услышал торопливые и легкие шаги. Обернулся — вижу, идет стройная женщина. «Ну, — думаю, — должно быть, любовное свидание, надо уходить», — и поднялся со скамейки.

И вдруг слышу голос, от которого сердце мое сначала облилось кипятком, а потом запрыгало. Инна!

— Постойте! Куда вы? — говорит она и немного задыхается. — Как вы скоро шагаете, я за вами бегу от самой Десятинной церкви. Но, во-первых, Христос воскресе.

Я едва успел снять шляпу. Она трижды истово поцеловала меня, потом поцеловала еще в лоб и погладила руками мою щеку.

— Сядем, — сказала она. — У меня времени совсем чуть-чуть. И так боюсь, что дома уже беспокоятся. А я хочу вам очень много сказать. Судите меня, но и простите.

И вот передо мною предстала ужасная, подлейшая история, которая когда-либо происходила на свете.

В ту самую пору, когда я еще был вхож в Иннин

дом, где меня как будто бы охотно терпели, существовал у меня дружок, самый закадычный, — Федя. Мы даже долго жили в одной комнате. Радость, горе, кусок хлеба, бутылка пива — все пополам. Никаких секретов друг от друга. Ведь молодость тем и приятна, что в ней так отзывчива, бескорыстна и внимательна дружба, а, кроме того, друг — он же и наперсник, и охотный слушатель всех твоих секретов и замыслов. Словом, с этим Федей я делился всеми милыми, сладкими тайнами, которые были связаны с Инной. Знал он все наши встречи, разговоры, очаровательные, многозначительные лишь для меня одного словечки, случайные долгие взоры и рукопожатия. Не скрывал я от него и нашей переписки: совершенно детские невинные записочки о дне пикника в Борщаговке или Китаеве, благодарность за цветы и ноты, приглашение в театр или в цирк. Все в этом роде.

И вдруг Федя съезжает внезапно из наших меблирашек, а потом и вовсе исчезает с моих глаз… Я тогда совсем не обратил внимания на то, что вместе с его исчезновением пропали и Иннины записочки. Я думал тогда, что наша общая номерная прислуга, бабка Анфиса, глухая и полуслепая женщина, к тому же и весьма глупая, взяла и вы-

кинула их, как ненужные клочки, в мусор; я даже и в мусоре рылся, но напрасно.

И вот вдруг Инна получает письмо, не написанное, а составленное из вырезанных из газеты печатных букв. Подпись же внизу, чернилами, безукоризненно похожа на мою. Федя, надо вам сказать, очень часто, от нечего делать, шутя, подделывал мое факсимиле.

Текст письма был самый омерзительный. Смесь низкого писарского остроумия, грязных намеков и нецензурных слов. Все это в духе отвратительного издевательства над Инной, над нашими чувствами и над всей ее семьей. Но подпись, подпись была совершенно моя. А кроме того, все письмо насквозь было основано на тех фактах и словечках, которые при всей их детской чистоте и невинности были известны лишь Инне и мне, вплоть до чисел и дней.

Зачем он это сделал — понять не могу. Просто из дикого желания сделать человеку беспричинную пакость.

В ту-то пору мне и показали на дверь. Кого я мог тогда винить?

Федя же оказался совсем негодяем, давним преступником, специалистом по шантажам и подлогам. Он успел попасть в руки правосудия, сначала

в Одессе, а потом, недавно, в Киеве. Все его бумаги перешли к судебному следователю. Среди них сохранились не только Иннины записочки, но и Федькины дневники. Это странно, но давно известно: профессиональные преступники весьма часто ведут свои дневники-мемуары, которые потом их же уличают. Это своего рода болезнь, вроде мании величия.

Следователь, друг семьи, изъял из следствия все, что касалось Инны, ибо в остальном материале нашлось достаточно данных, чтобы закатать Федьку на три года в тюрьму. Однако из его дневников можно было с ясностью установить его авторство в псевдонимном письме, подписанном моим именем.

Обо всем этом рассказала мне Инна. Я слушал ее, сгорбившись на скамейке, а она участливо вытирала мне платком слезы, катившиеся по моему лицу, я же целовал ее руки.

— А вот теперь, — продолжала она, — я невеста Ивана Кирилловича, этого самого следователя. Я не скрою, я любила вас немного, но три года, целых три года обиды, огорчения и недоверия, испепелили во мне все, что было у меня к вам хорошего и доброго. Но никогда, слышите ли, никогда я в жизни не забуду того, как вы были

мне верны, несмотря на незаслуженное вами страдание. Дорогой мой, обнимите меня крепко, как брат. И давайте на всю жизнь останемся братом и сестрой.

Мы поцеловались еще раз.

— Не трудитесь провожать меня, — сказала она. — И помните: во всяком горе, нужде, несчастье, болезни — мы самые близкие родные.

Она ушла. Я долго еще сидел на Владимирской горке. Душа моя была ясна и спокойна. Всемогущая судьба прошла надо мною.

1928

М. И. Цветаева

Пасха 1919 года
(Из «повести о сонечке»)

Была Страстная суббота. Поздний вечер ее. Убитая людским и дружеским равнодушием, пустотой дома и пустотой сердца (Сонечка пропала, Володя не шел), я сказала Але:

— Аля! Когда люди так брошены людьми, как мы с тобой — нечего лезть к Богу — как нищие. У него таких и без нас много! Никуда мы не пойдем, ни в какую церковь, и никакого Христос Воскресе не будет, — а ляжем с тобой спать — как собаки!

— Да, да, конечно, милая Марина! — взволнованно и убежденно залепетала Аля, — к таким, как мы, Бог сам должен приходить! Потому что мы застенчивые нищие, правда? Не желающие омрачать Его праздника.

Застенчивые или нет, как собаки или нет, но тут же улеглись вместе на единственную кровать — бывшую прислугину, потому что жили мы тогда в кухне.

Теперь я должна немножко объяснить дом. Дом был двухэтажный, и квартира была во втором

этаже, но в ней самой было три этажа. Как и почему — объяснить не могу, но это было так: низ, с темной прихожей, двумя темными коридорами, темной столовой, моей комнатой и Алиной огромной детской, верх с той самой кухней, и еще другими, и из кухни ход на чердак, даже два чердака, сначала один, потом другой, и один другого — выше, так что, выходит — было четыре этажа.

Все было огромное, просторное, запущенное, пустынное, на простор и пустоту помноженное, и тон всему задавал чердак, спускавшийся на второй чердак и оттуда распространявшийся на все помещение вплоть до самых отдаленных и как будто бы сохранных его углов.

Зиму 1919 г., как я уже сказала, мы — Аля, Ирина и я — жили в кухне, просторной, деревянной, залитой то солнцем, то луною, а — когда трубы лопнули — и водою, с огромной разливанной плитой, которую мы топили неудавшейся мушиной бумагой какого-то мимолетного квартиранта (бывали — и неизменно сплывали, оставляя все имущество: этот — клейкую бумагу, другой — тысяч пять листов неудавшегося портрета Розы Люксембург, еще другие — френчи и галифе… и все это оставалось — пылилось — и видоизме-

нялось — пока не сжигалось)…

Итак, одиннадцать часов вечера Страстной субботы. Аля, как была в платье — спит, я тоже в платье, но не сплю, а лежу и жгу себя горечью первой в жизни Пасхи без Христос Воскресе, доказанностью своего собачьего одиночества… Я, так старавшаяся всю зиму: и дети, и очереди, и поездка за мукой, где я чуть голову не оставила, и служба в Наркомнаце, и рубка, и топка, и три пьесы — начинаю четвертую, — и столько стихов — и такие хорошие — и ни одна собака…

И вдруг — стук. Легкий, резкий, короткий. Команда стука. Одним куском — встаю, тем же — не разобравшимся на руки и ноги — вертикальным пластом пробегаю темную кухню, лестницу, прихожую, нащупываю задвижку — на пороге Володя, узнаю по отграниченности даже во тьме и от тьмы.

— Володя, вы?

— Я, М. И., зашел за вами — идти к заутрене.

— Володя, заходите, сейчас, я только подыму Алю.

Наверху, шепотом (потому что это большая тайна и потому что Христос еще не воскрес):

— Аля! Вставай! Володя пришел. Сейчас идем к заутрене.

Разглаживаю впотьмах ей и себе волосы, бегом сношу ее по темнее ночи лестнице…

— Володя, вы еще здесь? — Голос из столовой: — Кажется — здесь, М. И., я даже себя потерял, — так темно.

Выходим.

Аля, продолжая начатое и за спешкой недоконченное:

— Я же вам говорила, Марина, что Бог к нам сам придет. Но так как Бог — дух, и у Него нет ног, и так как мы бы умерли от страху, если бы Его увидели…

— Что? Что она говорит? — Володя. Мы уже на улице.

Я, смущенная:

— Ничего, она еще немножко спит…

— Нет, Марина, — слабый отчетливый голос изнизу, — я совсем не сплю: так как Бог не мог Сам за нами прийти — идти в церковь, то Он и послал за нами Володю. Чтобы мы еще больше в Него верили. Правда, Володя?

— Правда, Алечка.

Церковь Бориса и Глеба: наша. Круглая и белая, как просфора. Перед этой церковью, как раз в часы службы, целую зиму учат солдат. Внутри — служат, а снаружи — маршируют: тоже

служат. Но сейчас солдаты спят.

Входим в теплое людное многосвечное сияние и слияние. Поют женские голоса, тонко поют, всем желанием и всей немощью, тяжело слушать — так тонко, где тонко, там и рвется, совсем на волоске — поют, — совсем как тот профессор? У меня на голове один волос, но зато — густой?... Господи, прости меня! Господи, прости меня! Господи, прости меня!.. Этого батюшку я знаю: он недавно служил с патриархом, который приехал на храмовый праздник — в черной карете, сияющий, слабый... И Аля первая подбежала к нему, и просто поцеловала ему руку, и он ее благословил...

— М. И., идемте?

Выходим с народом — только старухи остаются.

— Христос воскресе, М. И.!

— Воистину воскресе, Володя!

Домой Аля едет у Володи на руках. Как непривычный к детям, несет ее неловко — не верхом, на спине, и не сидя, на одной руке, а именно несет — на двух вытянутых, так что она лежит и глядит в небо.

— Алечка, тебе удобно?

— Бла-женно! Я в первый раз в жизни так еду —

лежа, точно Царица Савская на носилках!

(Володя, не ожидавший такого, молчит.)

— Марина, подойдите к моей голове, я вам что-то скажу! Чтобы Володя не слышал, потому что это — большой грех. Нет, нет, не бойтесь, не то, что вы думаете! Совсем приличное, но для Бога — неприличное!

Подхожу. Она, громким шепотом:

— Марина! А правда, те монашки пели, как муха, которую сосет паук? Господи, прости меня! Господи, прости меня! Господи, прости меня!

— Что она говорит?

Аля, приподымаясь:

— Марина! Не повторяйте! Потому что тогда Володя тоже соблазнится! Потому что эта мысль у меня была от диавола, — ах, Господи, что я опять сказала! Назвала это гадкое имя!

— Алечка, успокойся! — Володя. (Мне: — Она у вас всегда такая? — Я: — Отродясь.) — Вот ты уже дома, ты сейчас будешь спать, а утром, когда проснешься…

В его руке темное, но явное очертание яичка.

С. Черный

Пасхальный визит

Квартира возле Porta nomentana. Выше учительницы, выше штопальщика-портного, даже выше двух синьор, работниц с кустарной фабрики плетеной мебели. На что уж бедные синьоры, но Варвара Петровна умудрилась еще выше поселиться, рядом с голубями.

Из кухни окно в бездонную коробку двора, — смотреть жутко. Будто и не Рим, а какое-нибудь нью-йоркское захолустье. Изо всех щелей точно в трубу тянется кверху чад жареного лука, томатные ароматы, переливающийся из окна в окно гул перебранки и приветствий. Веревки — вдоль стен вниз и поперек из ниши в нишу. Одни для корзин, куда голосистый поставщик молока и овощей положит что нужно — не подыматься же ему под небеса; на других, слабо надуваясь, сохнет разноцветное тряпье, — словно вымпелы на адмиральском судне в праздничный день. Зато окно из спаленки на вольный простор. Глубоко внизу под узеньким балконом кудрявые купы каменных дубов, эвкалипты и с ранней весны неустанно цветущие мимозы — канареечный, нежный дымок. Темный, вечно закрытый сад

туго разросся между каменными стенами, — ноге никогда его не коснуться, но глазам отрада…

Варвара Петровна не первый год в Риме. Еще до войны попала с мужем-художником на Капри. С золотой медалью укатил он стипендиатом Петербургской Академии художеств в Италию, в апельсиновое царство, два года протосковал, щи варил и программное полотно с лодочниками в красных беретах писал… Простудился, слег, да там, на Капри, и глаза закрыл. А Варвара Петровна переехала в Рим с мальчиком, с крошечной дочкой, с грудой запыленных этюдов и горой неизбывных забот.

Потом началась война. Куда уедешь? Так и застряла Варвара Петровна с детьми в Италии и стала кое-как налаживать жизнь.

Этюды по багетным лавкам рассовала и принялась вплотную за работу, — надо же детей подымать.

Уж так повелось: куда судьба русскую женщину ни забросит, всюду она извернется, силу в себе такую найдет, о которой она дома, пока скатерть-самобранка под рукой была, и не знала.

* * *

Трудно было вначале. Так трудно, что лучше и не вспоминать… Работала она сестрой в местном госпитале, к детям только в свободные часы прибегала. Но спасибо добрым соседям, — заботились они о ее детях, как о своих. А потом, после войны, страна ожила, жить стало всем легче.

Вспомнила Варвара Петровна свое старое рукоделье, завела через отельных портье знакомства и стала на продажу расшивать платки, платья и шарфы павлиньими русскими узорами…

Мальчик как-то незаметно от рук отбился. По-русски говорить не любил. Какой разговор и с кем? В школе, на базаре и в лавках только итальянские звонкие слова в ушах и звучат. Вечно в своей суете толокся: то старые марки перепродавал и обменивал, сбывал букинистам оставшиеся после отца книги, покупал в уличных ларях лотерейные билеты со счастливыми номерами… Домой прибегал на минутку, глотал макароны, уроки учил как-то по-птичьи, на ходу, и опять на улицу. Впрочем, учился неплохо и матери не был в тягость.

Только младшая дочка, шестилетний тихий гномик, Нина и была утехой. Мать вышивает,

а девочка пестрые лоскутки перебирает и поет на итальянский мотив русскую песенку, — слова от матери слышала:

Таня пшенушку полола,

Черный куколь выбирала…

— Мама, что такое куколь?

— Не знаю, котик.

— Ну, какая ты. Русская же песня, а ты не знаешь.

Потом раскроет свою старенькую русскую хрестоматию и начнет — в который уже раз! — перелистывать. Читать Нина еще не умеет. Буквы чужие, в итальянских газетах совсем другие, но картинки и без букв понятны. Вот зима, на еловых лапах густая вата: это снег. Никогда не видела, но, должно быть, очень интересно. А это березка. На Палатинском холме тоже есть березка, Нина видала. Белый-белый ствол, и весной желтые червячки-сережки дождем висят… А вот и любимая картинка: «Генерал Топтыгин». Это так медведя в России называют. Сидит в санях, — это такая «каретца» без колес, — развалился… Лошади испугались (еще бы) и мчатся, как сумасшедшие. Нина вздыхает. Светлые волосы, такого же цвета, как ее бледные восковые

щечки, спустились на глаза…

— Мама, смотритель очень испугался? Что прикажете, генерал, ризотто с пармезаном или омаров? Или, может быть, самовар поставить? А медведь на него — р-р-р! Правда, мама?

Мать все вышивает, отвечает невпопад, а то нитку перекусит и в окно устало смотрит. С утра до вечера такие красивые штучки она вышивает, думает Нина, почему не для себя, почему не для Нины? Ни одного такого чудесного платья у них нет…

Девочка закрывает книжку, берет маленькую игрушечную метлу и старательно подметает пол: ишь, сколько ниточек! Двадцать раз в день метешь, — не помогает.

* * *

Однажды утром Нина проснулась, взглянула на стул перед диваном: сюрприз… белое шелковое платьице, канареечная лента. О! Сегодня ведь праздник, русская Пасха, как же она забыла… Ведь вчера она сама яйца заворачивала в пестрые шелковые тряпочки, помогала красить. А мать сладкое тесто месила и снесла вниз булочнику, синьору Леонарди, чтобы запек.

Она быстро оделась и с лентой в руках побе-

жала в столовую. Та-та-та! Как чисто! На столе мимоза и два розовых тюльпана. Кулич! Какое смешное и милое слово… И яйца, веселые и пестренькие, ну разве можно их есть? Жалко ведь…

Варвара Петровна поставила дочку на табуретку:

— Сама оделась? Вот умница… Христос воскресе, Ниночка!

— А как надо отвечать? Я уже забыла…

— Воистину воскресе…

— Во-ис-ти-ну!

И поцеловались они не три, а пять раз взасос. Так уж случилось.

Нина повертелась по комнате. Пол чистый, подметать не надо. И вспомнила:

— Ты ведь сегодня не вышиваешь?

— Кто же сегодня вышивает?..

— Вот и отлично. Значит, мы пойдем в Зоологический сад. Ты ведь обещала. Да?

— Пойдем, Ниночка. Давай только я ленту завяжу, а то ты так в руке ее и понесешь.

Пили кофе с куличом. Нина молчала и о чем-то своем думала. Когда уж совсем собрались уходить, она подошла к матери и попросила:

— Мама, можно мне четыре яйца в сумочку? Я выберу с трещиной. И кулича кусочек. Только

потолще, хорошо?

— Возьми, конечно.

Варвара Петровна удивилась: никогда девочка не просит… ест, как цыпленок, всегда упрашивать надо. И вдруг — четыре яйца и кулич… Фантазия!

Варвара Петровна быстро шла за дочкой по горбатой, золотистой от песка дорожке. Ишь, как бежит! Куда это она?

Девочка, не останавливаясь, наскоро поздоровалась по-итальянски с верблюдом:

— Добрый день, синьор, как поживаете?

Со всеми зверями она разговаривала только по-итальянски, — по-русски ведь они не понимают.

За поворотом, на высокой желтой скале, окаймленной густой синькой римского неба, стоял тигр. Полосатый злодей, как и львы, жил не в клетке, а на свободном клочке земли. С дорожки рва не было видно, и люди, впервые попадавшие в сад, невольно вздрагивали и останавливались: тигр на свободе!

Нина и с тигром поздоровалась. Но наглый зверь даже и головы не повернул. Через ров не перелетишь, а то бы он… поздоровался!

И вот внизу, под пальмовым наметом, Нина остановилась у клетки, в которой томился бурый

медведь. Остановилась и сказала по-русски, — медведь ведь русский был:

— Здравствуй, здравствуй… Скучаешь? А я тебе поесть принесла. Потерпи, потерпи… Вкусно! Вот увидишь, как вкусно…

Она аккуратно облупила одно за другим крашеные яйца. Зверь встал на задние лапы и приник носом к железным прутьям. Нина положила на деревянную лопатку яйцо. Медведь смахнул его лапой в пасть, съел и радостно заурчал.

— Еще?

Съел и второе, и третье, и четвертое. Куличом закусил и приложил лапу ко лбу, точно под козырек взял. Это он всегда делал, когда был чем-нибудь очень доволен.

Нина в ответ на доброе приветствие зверя показала ему пустую сумочку и ответила странным русским словом, которое ей мать сегодня утром подсказала:

«Воистину, воистину!..»

Должно быть, это то же самое, что «на здоровье!»…

Варвара Петровна опустилась на скамью и закрыла глаза. Ну вот, только этого недоставало… Слезы… «Все съел, Ниночка? Вот и отлично!»

Девочка теребила ее за рукав и весело тара-

торила:

— Конечно, отлично. Я так и думала, что ты не будешь сердиться. Он же русский, понимаешь… Мне сторож давно уже рассказал, что его прислали с Урала еще до войны. Ему очень скучно, никто его не понимает. Тигра вон как хорошо устроили, а медведя в клетку. За что? И он чистый, правда, мама? Видишь, он аккуратно съел, ни одной крошки не рассорил. Не то что мартышка какая-нибудь… До свиданья, синьор Топтыгин. До свиданья!

Она взяла мать за руку и поскакала по дорожке мимо жирных, матово-сизых агав к пантерам; там маленькие детеныши так смешно в прятки играют, надо насмотреться, а то вырастут и будут, как маятники, из угла в угол шагать и через голый ствол прыгать.

1926

Е. Н. Поселянин

Таинственная ночь

Москва успокаивается, готовясь к светлой заутрене. Заперты лавки, вышел и спрятался в домах весь народ. Кое-где редко-редко слышен звук колеса, и на притихающий город, на его «семь холмов» спускается та невыразимая таинственная ночь, которая принесла миру обновление. Тихо-тихо все над Москвой под надвигающимися крылами этой ночи. Заперты еще церкви, не горят вокруг них огни. И прежде чем встрепенется живая земная Москва, раньше ее навстречу Воскресающему Христу поднимается другая, вековечная Москва.

Из запертых соборов, из окрестных монастырей поднимаются нетленные создатели Москвы.

И прежде всех из своей раки в Даниловском монастыре поднимается святой благоверный князь Даниил Александрович Московский.

Тихо проходит он, покрытый схимой, смиренной поступью инока по пустынным улицам Замоскворечья, переходит мосты и вступает в Кремль. Молится на золоченные им соборы Спас на Бору и Архангельский, и широко невидимою рукою отворяются перед храмосоздателем

двери этого собора.

«Здравствуйте вы, — говорит он, вступая в усыпальницу потомков, — благоверные великие князья Московские, здравствуйте вы, цари великие, Большая и Малая Россия царств Казанского, Сибирского, Астраханского и иных земель обладатели».

И на зов князя-схимника отверзаются древние гробы. Встает со светлым лицом его сын, Иоанн Даниил Калита. Встает тем же милостивым, нищелюбивым.

Встает сын Калиты Иоанн Иоаннович Кроткий и внук высокопарящий Димитрий Иоаннович Донской и иные князья: Василий, и державные суровые Иоанны, и благочестивый Феодор, и восьмилетний мученик царевич Димитрий.

Все они встают из гробов под схимами, покрывающими их светлые великокняжеские и царские золотые одежды и венцы, и молча приветствуют друг друга поклонами, собираясь вокруг своего прародителя и первоначальника Москвы — Даниила.

И когда все они соберутся, выступает их сонм из северных, открывающихся пред ними настежь дверей и идет к южным вратам собора Успенского.

«Повели, княже», — тихо говорят они, дойдя до врат.

Святой Даниил делает на дверях широкое крестное знамение, и тогда сами собой отверзаются врата святилища русского народа.

Медленно вступают князья под высокие своды. Тихо-тихо все там. Бесстрастные огни лампад озаряют лики чудотворных икон: Владимирской, столько раз спасавшей Москву в час конечной гибели; Всемилостивого Спаса из Византии; Благовещения, источившей когда-то миро и сохранившей Устюг; храмовой Успенской; Смоленской…

Горят огни над раками великих святителей, и тихо-тихо все в воздухе, где раздавалось столько молитв, вместилось столько событий…

И стоят безмолвно князья, уйдя в прошлое, переживая вновь все то, что видели здесь сами, о чем слышали рассказы.

Вспоминает святой Даниил, как шумел при нем густой бор и на зеленой стене его весело белели срубы двух первых воздвигнутых им церквей и как у подошвы Кремлевского холма под шепот многоводной тогда Московской волны он молился о селении Москве, прося Творца благословить и взыскать любимое им место. «Велик еси, Гос-

поди, — шепчут губы схимника, а слезы падают на каменные плиты пола. — Велик еси, Господи, и чудны дела Твоя!»

А рядом с ним ушел в думы Калита. Он видит себя коленопреклоненным пред святителем Петром и вновь слышит его вещее слово: «Если ты, чадо, воздвигнешь здесь храм, достойный Богоматери, то прославишься больше всех иных князей и род твой возвеличится, кости мои останутся в сем граде, святители захотят обитать в нем, и руки его взыдут на плеща врагов наших».

Видит он день закладки собора, и прозорливым взором, которому не мешают высокие каменные стены, оглянув Русское царство на север и на юг, восток и запад, шепчет Калита за отцом: «Велик еси, Господи, и чудны дела Твоя».

А Дмитрий видит себя малым отроком.

Идет служба, за молебном над гробом святителя Петра сама собой загорается свеча. Его пестун, митрополит Алексий, отправляется в Орду к Тайдуле… Потом видит себя взрослым. Там, на площади, теснится за ратью рать.

Слышатся приветственные клики ратников всех городов, ополчившихся на татар, и князь повторяет себе имена городов: Ростов, Белозерск, Ярославль, Владимир, Суздаль, Переяславль,

Кострома, Муром, Дмитров, Можайск, Углич, Серпухов, Москва. Он молится опять Богу сил, Богу правды, и опять сердце сжимается надеждой и тревогой… А солнце ласково светит над бесчисленным ополчением, первым ополчением объединенной земли Русской…

Вспоминает Василий, как отверг он здесь громогласно, всенародно братанье с Римской ересью, когда изменник Исидор помянул Римского папу, и снова разгорается грудь князя святой ревностью за родную веру…

Иоанн III торжествует опять падение ига, видит свой двуглавый орел-герб, а внук его вновь переживает все великие и грозные тяжкие дни, когда торжествовала и изнемогала здесь его душа, страдающая и бурная.

В страхе не смеет Иоанн взглянуть на близкую раку Филиппа: «Помилуй мя, Боже, — шепчет он… — не вниди в суд с рабом Твоим!» — но твердо, как и прежде, повторяет он пред боярами: «Мы, Царь и Великий Князь всея Руси, по Божьему изволению, а не по многомятежному хотению и как Царь Самодержец назовется, аще сам строит землю. Не боярами и вельможами, а Царем должна править земля, а жаловать своих холопов вольны Мы и казнить их вольны же. Все

Божественные Писания заповедуют, яко не подобает противиться чадам отцу и подданным Царю, кроме веры…»

Стоят князья и цари, ушедши в свои мысли, и сонм их оживших теней не нарушает торжественного молчания собора. Долго, долго стоят они, погрузясь каждый в свое прошлое… И наконец говорит благоверный Даниил, обращаясь лицом к образу Всемилостивого Спаса: «Господу помолимся!» — «Господи, помилуй!» — откликаются все князья и цари и тихо делают земной поклон.

— Пресвятая Богородица, спаси нас! — произносит еще Даниил.

— Владычице, спаси землю Русскую! — откликаются князья и цари и опять неслышно творят земной поклон пред чудотворной иконой Владимирской. «Святители Московские, молите Бога спастися земле православных!» — повторяют они.

И в эту минуту начинается тихая, колыхающаяся под сводами собора неземная песнь. То ангелы поют хвалу дивным чудотворцам, первопрестольникам Руси.

Льются сладкие звуки в тишине собора: «Истиннии хранители Апостольских преданий, столпи

непоколебимии, православия наставницы…»

И вот отверзаются раки.

Встает с пророческим взором утрудившийся подвигами Петр, встают учительные Феогност, Фотий и Киприан, встают строгий Иона, и бесстрашный Филипп, и непреклонный Гермоген.

И встав во всей красе святительских облачений, они, отдав друг другу поклон, тихо проходят к иконе Владимирской и лобызают ее; опираясь на посохи, они сходят с солеи к ожидающим князьям.

С усердием кланяются им князья и цари, а они, воздев руки, осеняют их святительским благословением.

«Здравствуйте вы, — говорит святый Даниил, — великие святители Московские, здравствуйте, печальники Русского народа, верные ходатаи за Русскую землю пред престолом Божиим!»

И принимают государи благословение святителей.

«Время пению и молитве час!» — говорит Калита Петру Митрополиту, и святитель осеняет воздух благословением. Тогда начинается призывный звон.

И на этот звон со всех сторон поднимается подспудная прошлая Москва.

Встает весь до одного прежде почивший люд московский. Митрополиты и чернецы, бояре и смерды, гости и слуги, дети и старики.

Встают сильные и убогие, праведные и грешные, поднимается вся Москва, сколько ее было с той поры, как она стала есть.

И гудит, гудит протяжно не слышный земным людям колокол. Встает, поднимается, собирается незримая многонародная, прежде почившая Москва.

В блестящих ризах, в горящем огнями соборе вокруг чудотворцев Московских и князей стоит сила клира: епископы, священство, иноческий чин, сладкогласные певцы.

И, осенив крестным знамением обеими руками и на все четыре стороны, произносит святитель Петр: «С миром изыдем». Он идет первым, выше патриархов. Другие святители несут икону Владимирскую и прочие иконы, за ними священство в сияющих ризах с иконами, Евангелиями, крестами, пасхальными светильниками, разубранными цветами. Из кадильниц расплываются светлые струи благоуханного дыма. Тяжелые хоругви густо звенят золотыми привесками, бесчисленные свечи ярко теплятся в неподвижном воздухе ночи. С весеннего неба весело мигают

чистые звезды, и все в этом незримом крестном ходе еще краше, еще светлей, чем в зримых славных московских ходах.

Из Чудова монастыря навстречу выходит окруженный клиром величавый, мудрый митрополит Алексий и присоединяется к святителям.

Великий князь Димитрий спешит за благословением к своему пестуну.

Из Вознесенского монастыря выходят великие княгини, княжны, царицы и царевны Московские и впереди всех скорбная, милосердная супруга Донского, преподобная инокиня Евфросиния. Она идет, и народ Московский теснится к ней, помня ее неустанную милостыню, а сейчас позади нее идет единоравная ей царица Анастасия Романовна.

Ход выступает из Спасских ворот к Лобному месту, и на Лобном месте устанавливаются святители и князья.

А кто эти трое стоят в рубищах, странного вида? И отчего с таким благоволением смотрят на них святители? Это присоединились к чудотворцам Москвы Василий Блаженный и Иоанн Блаженный, вышедший из ближнего Покровского собора, и Максим юродивый, пришедший из приютившего его храма на Варварке.

Вот она вся небесная Москва!

Но кого еще ждут они? Слышен гул в народе, весь священный собор сосредоточенно готовится совершить великий поклон.

В проходе, оставленном на Красной площади, раздается быстрый топот, и у самого Лобного места появляется великий всадник на белом коне.

— Солнце земли Русской, солнце земли русской, — звучит в народе, — благоверный Александр!..

То с далекого Приморья явился взглянуть на удел младшего из сыновей своих святый благоверный князь Александр Ярославич Невский.

И пока сходит с коня наземь благоверный Александр, им полны думы всех предстоящих.

Вот он, вождь безвременья, утиравший слезы народа в самые безотрадные годы, веривший в Русь униженную, полоненную, как не верили в нее другие во дни ее счастья.

Вот богатырь, в самом иге сберегший Русь от шведов и немцев. Как иссечены его шлем и латы в двадцати битвах! Как зазубрен его тяжелый меч! Но печать неисцельной скорби у него на челе. Вспоминает он мольбы свои пред ханом за народ Русский. Суровы становятся лица собравшихся строителей земли Русской, груст-

ная дума видна в их взоре, но непомернее всех скорбь Александра, мученика за землю Русскую. Скорбно ждет он, скрестив руки на богатырской груди, и безмолвно, с великой любовью взирает на собор Московских чудотворцев, на эту красу Русской земли. Какая правда в очах, какая любовь в этой самой беспредельной скорби!..

И знают все: любо здесь князю, утешает его этот город, сломивший темную силу, и неслышно шепчут уста Александра благословения престольному граду Москве.

Медленно ступает на помост Александр. Его взор останавливается на иконе Владимирской. Поник пред знакомой святыней Александр головой, снял шлем и замер в молитве. Помолился за родную Русь.

Молча взирал собор святых на молитвы князя. И в той молитве лицо его просветилось, как солнце. Он кончил.

Трижды воздал ему поклон священный собор и в третий раз произнес: «Радуйся, святый благоверный княже Александре!» И понеслось это слово по всей многонародной Москве: «Радуйся, святый благоверный княже Александре, радуйся, Солнце земли Русской».

Князь встал в ряды чудотворцев Московских,

справа от благоверного Даниила. И все ждут опять.

Но не князя, не святителя ждут они. Они ждут все верховного русского человека, и он приходит не в княжеских одеждах, не в святительских ризах.

С севера повеяла тихая прохлада, почуялось дуновение великой святыни, показался величавый старец.

Небесным огнем горят прозорливые очи, пред которыми обнажены судьбы Русского царства.

Весь образ дышит нездешней силой, но в этой силе крепость и тихость…

Он идет в убогой одежде, с обнаженной головой, а рядом другой инок со святой водой и кропилом. Народ опускается на колени пред проходящим старцем, и вслед за народом преклонились пред ним все князья и весь клир. Стоят одни святители. И он приблизился.

Низко, низко поклонились святители иноку-старцу, и раздается их привет: «Радуйся, богоносный отче Сергие; радуйся, игумене земли Русской!»

Из ряда коленопреклоненных князей возвысился голос великого князя Димитрия.

Он говорит: «Вся богопросвещенная Россия,

твоими милостями исполненная и чудесами облагодетельствованная, исповедует тя быти своего заступника и покровителя».

Громко выговорил он это исповедание, и с горячею мольбой продолжают другие князья: «Яви древнии милости твоя и их же отцем спомоществовал еси, не остави и чад их, стопами их к тебе шествующих».

И переходит в народе из уст в уста эта мольба великому старцу.

Воздал всем поклон Преподобный Сергий и упал ниц пред иконою Владимирской: приник к ней челом и молился…

Пречистый лик озарился улыбкой, и Богоматерь склонила на Своего избранника взор благостыни. А старец встал и пошел с учеником своим Никоном кропить святой водой и благословлять семь Московских холмов.

Сзади него идут в тихой беседе святитель Петр с благоверным князем Иоанном Калитой, и, как радостный рокот весенней волны, как надежный призыв, перекатывается в народе и отдается по всем сторонам широкой Москвы победное имя: «Сергий, Сергий!»

Освятив всю Москву, великий собор возвратился в Кремль и стал ждать…

Святой час уже наступил, и, когда земная Москва поднялась навстречу Воскресшему Христу и ждала Его в золотых огнями храмах, над этою зримою Москвой уже незримо стояла ополченная на молитву другая — небесная, вечная Москва.

Л. А. Чарская

Пасха мучеников

Это было давно, очень давно — в первом столетии от Рождества Христова. Над Римом и покоренными им народами владычествовал жестокий, бессердечный и болезненно самолюбивый император Нерон, совершивший многочисленные кровавые преступления. Любя до безумия поклонение и лесть окружающих, этот правитель возомнил себя божеством и требовал, чтобы ему воздавали божеские почести.

Он приказал убить свою мать, заподозрив ее в государственной измене, погубил своего брата Британика и своего старого воспитателя, мудреца Сенеку. Его безумства не имели границ. То он воображал себя великим артистом, то гениальным певцом и музыкантом, то поэтом исключительного таланта и выступал публично с чтением собственных стихов или пением под аккомпанемент лютни. Или же он выезжал в качестве циркового наездника на арену Колизея и брал призы в общем состязании. Дикая толпа, согнанная в театр по желанию императора, неистово рукоплескала ему. Льстецы восхваляли его таланты… Нерон торжествовал.

Но страшнее всех безумств императора было предпринятое им гонение на христиан. Глубоко преданный своим язычески богам, Нерон не выносил христианской веры, в основу которой положено поклонение Единому Истинному Богу. В годы его правления христиан подвергали всевозможным пыткам и мучениям. Их зашивали в шкуры диких зверей и травили собаками, распинали на крестах, заворачивали в пропитанные смолой одежды и сжигали живыми, бросали на съедение диким зверям на арене цирка или давили колесницами гладиаторов.

Несчастные скрывались в лесах и подземных пещерах, не оставляя своей истинной веры. Когда же нельзя было скрыться, они смело принимали лютые муки и казнь. Эта стойкость, это бесстрашие перед смертью все больше и больше возбуждали гнев ненасытного варвара.

Чудная, тихая ночь стояла над Римом и его окрестностями. Синее южное небо ласково улыбалось лучами ярких звезд… Медленно выплыл из-за облаков серебряный месяц и своим млечным светом затопил и город с его пышными дворцами, языческими храмами, домами, и тянувшуюся вдаль миртовую рощу.

В прибрежных тростниках темной реки сколь-

зил небольшой челнок. Весенний рокот Тибра окончательно заглушил и без того чуть слышные голоса сидевших в лодке. Их было трое: седой старик с длинной бородой, высокий стройный юноша, управляющий челноком, и девушка, едва достигшая шестнадцати лет, с глубокими, прекрасными, как весенняя ночь, глазами и детской улыбкой.

— Что, Ниния, дитя мое, не жутко тебе? Здесь на каждом шагу нас может выследить стража Нерона, — послышался голос старшего спутника.

— О, дорогой отец мой, как я могу бояться, когда со мной ты и Ливий?!

В ответе девушки не было ни тени робости.

— Благодарю, Ниния, за добрый отзыв! Ты права: пока твой благородный отец и я с тобой, тебе нечего бояться, — прозвучал сильный молодой голос юноши.

Старый Клавдий положил ему руку на плечо:

— Ты ошибаешься, Ливий, сын мой, и без нас у Нинии был и будет Заступник — Христос. Спаситель мира вечно пребывает с ней, как и с каждым из нас, христиан, возлюбленных детей Своих.

Лодка ударилась о песчаный берег и остановилась.

— Мы приплыли к назначенному месту. Мир-

товая роща перед нами. Выйдем из лодки, вход в подземелье должен быть недалеко, за большим камнем, — сказал старый Клавдий и первым вышел из лодки. За ним последовали дочь и ее жених Ливий, лишь недавно принявший христианскую веру в том самом подземном храме-пещере, куда они втроем направлялись сейчас.

Снова выглянул из-за облака месяц и осветил дорогу. Старый Клавдий, не раз бывший здесь и доставивший сюда молодых людей на ночное богослужение, шел впереди, указывая путь.

Нинния об руку с Ливием спешила по следам отца… Вот и большой камень, за ним густые заросли миртовых деревьев. Еще несколько шагов, и Клавдий остановился.

— Сюда, дети мои. Дом Божий — здесь.

Действительно, у корней огромного мирта было небольшое отверстие. Старик стал медленно спускаться в подземелье. За ним молодые люди.

Еще не достигнув нижних ступеней лестницы, выдолбленных в каменистой почве пещеры, путники услышали тихие голоса, торжественно и радостно певшие молитвы. Где-то вдали забрезжил огонек прикрепленного к стене факела, и вскоре они очутились под сводами большой катакомбы, наполненной молящимися христи-

анами из самых разнообразных слоев римского общества. Тут были богатые и бедные, патриции и плебеи, легионеры, купцы, художники, поэты, женщины, девушки, дети — все, кто успел проникнуться верой во Христа. Древний старец читал молитвы, остальные вторили ему проникновенными, радостными голосами.

Ряд лампад-светильников, подвешенных между колоннами, освещал помещение. Посередине находился высокий крест, выточенный из камня. Со слезами молились христиане в этом тихом пристанище, скрытом густой миртовой рощей.

Нинея стояла среди женщин с левой стороны молельни, — ее отец и жених с правой, среди мужчин-христиан.

Всего несколько дней оставалось до христианской Пасхи, когда вспоминается Воскресение Христово, а после праздника в этой катакомбе священник должен был благословить брачный союз Нинеи с Ливием.

Молодые люди с детства знали друг друга. Их отцы были соседями и друзьями. Старый Клавдий имел небольшую цветочную лавку в предместье Рима и поставлял римлянам розы на праздники их богов. Но вот он стал христианином, раздал все имущество бедным и убедил дочь Нинею, соседа

Плиния и его сына Ливия принять христианство. Каждый день приходил он в это подземелье, иногда приводил с собой и детей. Нинию шла на всенощное бдение христиан, как на праздник. Вдохновленная примером отца, она с детства искала Истинного Бога, Бога милосердия, кротости и любви. Сегодня она особенно горячо молилась, забыв весь мир, прося Христа Спасителя благословить ее союз с Ливием.

— Господи Великий и Милосердный! Вдвоем с Ливием мы будем славить Твое имя, будем распространять свет Твоего учения. Боже! Помоги нам! Спаси и сохрани нас.

Но вдруг ее молитва неожиданно оборвалась. Смятение пробежало по рядам молящихся. Мальчик-христианин, стоявший у входа в катакомбы, прибежал с криком:

— Спасайтесь! Спасайтесь! Императорская стража окружила подземелье!

Плач женщин был ему ответом. Многие кинулись к выходу, старец-священник остановил бегущих.

— Возлюбленные братья и сестры! — повышая голос, обратился он к своей пастве. — Спасения нет! Враги идут по нашим следам! Приготовимся же встретить с радостью лютую казнь и муки.

Постоим за Спасителя нашего. Скоро Светлая Пасха. Не есть ли это добрый знак для нас всех, дети мои, принять чашу страдания в одно время с Божественным Страдальцем?

Эти слова ободряюще подействовали на христиан. Все бросились к подножию каменного Распятия и распростерлись перед ним ниц.

Нинния находилась ближе всех к изображению Христа.

— Если суждено мне погибнуть, — говорила она, — дай мне, Боже мой, сделать это спокойно и радостно, как подобает истинной христианке.

Юноша Ливий очутился возле нее.

— Позволь мне спасти тебя. Позволь мне спасти тебя, Нинния! — воскликнул он горячо. — Я знаю потайной ход, он ведет на пустынное место у берега. Мы успеем спастись: ты, твой отец и я.

— А другие, Ливий? А другие? — взволнованно спрашивала девушка.

— Всем не успеть, любимая: подземелье узко, едва можно пройти одному человеку…

— Тогда я останусь, чтобы разделить общую участь, — смело ответила девушка.

Рука старого Клавдия легла на ее голову.

— Иного ответа и не ждал от тебя, дочь моя! На все воля Господня. Ведь Христос Спаситель

ждет тебя в селении праведных.

И он благословил свою любимицу. В это время старец-священник запел громким, проникновенным голосом:

— Слава в вышних Богу…

Хор христиан подхватил священные слова, и своды катакомбы огласились торжественным пением.

Внезапно послышались громкие грубые голоса, бряцание оружия, и целый отряд легионеров, потрясая мечами, вбежал в пещеру.

— Смерть христианам! Смерть изменникам императора! — кричали они, окружая молящихся.

Вскоре связанных христиан повели в тюрьму по улицам Рима.

Был канун Пасхи. В огромном здании цирка, находившемся на правом берегу Тибра, около «Золотого дома» Нерона, — так называли римляне этот дворец императора, — в помещении, отделенном занавесом от арены, были собраны взятые несколько дней назад в подземелье христиане. Ложи цирка, весь амфитеатр были наполнены жадной до зрелищ римской публикой. Тут были и патриции с подругами, одетыми со сказочной роскошью, и бедное население Рима. В центральной ложе возлежал на шкуре

царственно красивой пантеры сам «божественный Август» (титул Нерона) и ждал представления. Его вторая жена, красавица Поппея-Сабина, не уступавшая в кровожадности и хищности своему супругу, красовалась тут же, с прекрасным невинным личиком, мало гармонировавшим с ее злобной душой.

Сенаторы, приближенные императора и вельможи теснились в ближайших к императорской ложах. Блестящая стража охраняла их.

Красивое, хищное лицо Нерона носило на себе следы особенного возбуждения. Он заранее предвкушал наслаждение от зрелища мук христиан.

Самым искренним образом он считал их государственными изменниками и врагами. Теперь, после недавнего пожара, истребившего половину Рима, в котором льстецы и приспешники императора в угоду ему обвиняли христиан, Нерон, веря клевете, с особенным нетерпением ждал казни ненавистных ему людей.

По знаку, данному императором, заиграла невидимая музыка. Десятки тысяч роз полетели в ложу императора и на арену. Новый знак Нерона — и рабы подняли тяжелую дверь огромной клетки, откуда выскочила чудовищных размеров львица. За ней выпрыгнули два льва и несколько

тигров. Голодные звери, рыча, медленно двинулись по арене.

— Не бойся, Ниния! Не бойся, дитя мое! Земные муки и пытки ничтожны. Великая награда ждет тебя на небесах, — говорил старый Клавдий, держа трепетавшую дочь в своих объятиях.

В последнюю минуту смелость, казалось, покинула девушку. Она была так молода, ей так хотелось жить! До последней минуты она ждала помилования от императора. Но вой зверей лишил Нинию последней надежды. Она прижалась к груди отца. Подошел Ливий.

— Почему ты не позволила увести тебя из подземелья, когда была еще возможность спастись? — произнес он, глядя с любовью в глаза невесты.

— Нет! Нет! Я не жалею об этом! — воодушевленно вскричала юная христианка. — Как жить, когда умирают мои друзья и ближние во имя Его?! Но все же мне жутко, Ливий, жутко, когда подумаю, что сейчас погибну в когтях лютой львицы, в мучениях приму смерть!

И она тихо заплакала, закрыв лицо руками. Старый Клавдий крепче обвил руками плечи дочери.

— Не бойся, Ниния, не бойся, дитя мое! — говорил он, гладя ее по голове. — Несколько десятков

лет назад Богочеловек принял муки за нас на Кресте. Неужели же мы не найдем силы последовать Его Божественному примеру?

Голос его креп с каждой минутой. Вдохновенно звучала его речь. Решимостью, готовностью принять за Христа какие угодно муки горели глаза.

Христиане, до сих пор со страхом в душе ожидавшие смертного часа на арене цирка в когтях свирепых зверей, теперь окружали почтенного старца и внимательно слушали его. Он говорил о крестных страданиях распятого Христа, о вечном блаженстве, ожидающем мучеников за веру Христову.

Появление воинов-стражников прервало его. Они, грубо растолкав ряды христиан, вытолкнули часть их на арену под тихие напутственные слова Клавдия:

— Мужайтесь, братья и сестры! Помните Воскресшего Спасителя Христа! Не страшна смерть во имя Его. В нынешнюю ночь воскрес Он! Христос воскрес, братья и сестры! Воскресит Он, Благой, и нас, Своих верных рабов!

Упал тяжелый занавес у входа. Наступила минута молчания и тишины. И вдруг дикий рев зверей, стоны и вопли терзаемых жертв огласили цирк Нерона. С ними слились громкие рукоплес-

кания толпы.

Едва владея собой, держа крепко за руки отца и жениха, Ниния ждала своей очереди. Вот снова приподнялся и упал занавес. Снова появились воины и грубо схватили оставшихся обреченных.

Глазам девушки представилось ужасное зрелище. На залитой кровью арене лежали растерзанные тела христиан. Дикие звери с глухим рычанием доканчивали свою страшную расправу.

Ближе других к входу находилась чудовищная львица. Ее страшная пасть была испачкана кровью. Ярко и алчно светились хищные глаза. Львица выгнула спину и сделала прыжок по направлению к девушке. Теперь она в десяти шагах от нее.

С ужасом следила Ниния за приближением зверя. И когда чудовище очутилось перед ней, страх из сердца Нинии неожиданно исчез.

— Христос воскрес нынче в ночь из мертвых! — вскричала она, поднимая руку. — Идем же к Нему, друзья! Он ждет нас на небесах!

И чистым звонким голосом она запела хвалебную песнь Христу.

Что-то особенно прекрасное и смелое было в этом порыве девушки, в ее чистом, светлом

пении, восторженных, радостных глазах. Она как бы ясно уже видела Христа, простиравшего к ней руки. И теперь уже она бесстрашно взглянула в глаза зверя.

Случилось необычайное и непредвиденное. Вместо того чтобы броситься и растерзать свою жертву, львица, словно играя, как собака, подползла к ней на животе. И другие звери, перестав терзать трупы несчастных, с глухим рычанием отошли в сторону.

Император поднялся в ложе и сделал знак. Красавец раб подал ему лютню. Мнивший себя великим музыкантом и певцом, Нерон запел, аккомпанируя себе.

Нерон пел долго, песню за песней, и, когда он закончил, публика с шумом поднялась со своих мест и бурно рукоплескала императору, превознося его до небес. Довольный произведенным впечатлением, Нерон поклонился толпе и, махнув рукой, громко произнес, указывая на арену:

— Уберите зверей! Прощение христианам. Пусть живут те, кто слышал сейчас певца Августа, их императора. Христианская девушка сумела заставить зазвучать нынче в сердце артиста голос музы. Пусть живет она и ее друзья. Убрать зверей!

Тихий вздох облегчения вырвался из груди оставшихся в живых мучеников.

Его покрыли рукоплескания в честь великодушия Августина.

А на арене христиане обнимались и, восторженно, со слезами поздравляя друг друга, повторяли:

— Христос воскрес! Христос воскрес!

Глава xx
Больная. Сон. Христос воскресе!
(Из книги «Записки институтки»)

Нина сказала правду, что второе полугодие пронесется быстро, как сон… Недели незаметно мелькали одна за другою… В институтском воздухе, кроме запаха подсолнечного масла и сушеных грибов, прибавилось еще еле уловимое дуновение начала весны. Форточки в дортуарах держались дольше открытыми, а во время уроков чаще и чаще спускались шторы в защиту от посещения солнышка. Снег таял и принимал серо-желтый цвет. Мы целые дни проводили у окон, еще наглухо закрытых двойными рамами.

На черных косах княжны красовался опять белый шнурок за отличное поведение, а имя ее снова было занесено на красную доску. У меня на душе было легко и радостно. Близость весны, а за нею желанного лета заставляла радостно трепетать мою детскую душу. Одно меня беспокоило: здоровье княжны. Она стала еще прозрачнее и вся точно сквозила через нежную, бледную,

с еле уловимым желтоватым отливом кожу. Глаза ее стали яркими-яркими и горели нестерпимым блеском. Иногда на щеках Нины вспыхивали два буро-красных пятна румянца, пропадавшие так же быстро, как и появлялись. Она кашляла глухо и часто, хватаясь за грудь. Начальство особенно нежно и ласково относилось к ней. Два или три раза Maman присылала за нею звать кататься в своей карете. Институтки, особенно чуткие к несчастью подруг, старались всеми силами оказать своей любимице всевозможные знаки любви и дружбы.

Частая раздражительность Нины, ее капризы, которые стали проявляться вследствие ее болезни, охотно прощались бедной девочке… Даже Ирочка — надменная, своенравная шведка — и та всеми силами старалась оказать особенное внимание Нине. По воскресеньям на тируаре княжны появлялись вкусные лакомства или фрукты, к которым она едва прикасалась и тотчас раздавала подругам, жадным до всякого рода лакомств.

И вот однажды случилось то, чего никто не ожидал, хотя втайне каждой из нас невольно приходило в голову: княжна окончательно заболела и слегла.

Мне ясно припоминается субботний ясный полдень Вербной недели. У нас был последний до Пасхи урок — география. Географию преподавал старик учитель, седой и добродушный на вид, говоривший маленьким «ты» и называвший нас «внучками», что не мешало ему, впрочем, быть крайне взыскательным, а нам бояться его, как огня. Урок уже приходил к концу, когда Алексей Иванович (так звали учителя) вызвал Нину.

— А ну-ка, внучка, позабавь! — добродушно произнес он.

Как сейчас помню карту, всю испещренную реками, горами и точками городов, помню особенно бледную княжну, вооруженную черной линейкой, которою она водила по карте, указывая границы:

— Берингов пролив, Берингово море, Охотское море… — звучал слабо и глухо ее милый голосок.

Вдруг страшный припадок удушливого кашля заставил смолкнуть бедняжку. Она схватилась за грудь и поднесла платок к губам. На белом полотне резко выделились две кровавые кляксы.

— Мне худо! — еле слышно прошептала Нина и упала на руки подоспевшей фрейлейн.

Все помутилось у меня в глазах — доски, кафедра, карта и сам Алексей Иванович, — все

завертелось, закружилось передо мною. Я видела только одну полубесчувственную княжну на руках фрейлейн. Спустя несколько минут ее унесли в лазарет… Разом светлое настроение куда-то исчезло, и на место его тяжелый мрак воцарился у меня на душе… Я инстинктом чувствовала, что Нина больна, и опаснее, чем мы предполагали.

Весь день я не находила себе места. Меня не развлекали присланные нам старшими, ездившими на вербы, гостинцы: халва, рахат-лукум и в придачу к ним баночки с прыгающими американскими жителями, занявшими на целый вечер моих товарок.

В шесть часов лазаретная девушка Маша принесла мне записку, исписанную знакомыми и милыми крупными каракульками.

«Приди ко мне, дорогая Люда, — писала мне моя верная подруга, — я очень скучаю. Попросись у фрейлейн на весь вечер — ведь уроки кончились и ты свободна.

Твоя навеки Нина».

Я поспешила исполнить ее просьбу.

Княжна помещалась в маленькой комнатке, предназначавшейся для труднобольных. Она сидела в большом кресле у окна. Я едва узнала

ее в белом лазаретном халате с беспорядочно спутанной косой.

Когда я вошла к ней, она тихо повернула ко мне бледное, измученное личико и проговорила, слабо улыбаясь:

— Ты прости, Люда, что я тебя потревожила… Мне так хотелось тебя видеть, дорогая моя!

Я проглотила подступившие слезы и поцеловала ее.

— Ах, скорее бы тепло, — тоскливо шептала княжна, — мне так не хочется хворать… весна меня вылечит… наверное вылечит… Скорее бы на Кавказ… там тепло… солнце… горы… Знаешь, Люда, мне иногда начинает казаться, что я не увижу больше Кавказа.

— Что ты, что ты, Нина, можно ли так! — пробовала я успокоить мою бедную подругу.

Мы проболтали с нею целый вечер, промелькнувший быстро и незаметно…

В 8 часов я вспомнила, что наши, наверное, уже на молитве, и, поцеловав наскоро Нину, опрометью бросилась из лазарета.

Наступила Страстная неделя… Наши начали понемногу разъезжаться. Живущие вне города и в провинции распускались раньше, городские жительницы оставались до четверга в стенах

института. Наконец и эти последние с веселым щебетаньем выпорхнули из скучных институтских стен. И на Пасху, как и на Рождество, остались те же самые девочки, кроме Киры, ловко избежавшей на этот раз наказания. Та же задумчивая Варя Чикунина, хорошенькая Лер и на этот раз оставшаяся на праздники Бельская составляли наше маленькое общество. А в нижнем этаже, в лазарете, в маленькой комнатке для труднобольных встречала одиноко Светлый праздник моя бедная голубка Нина.

Мамина пасхальная посылка опоздала на этот раз, и я получила ее только в Великую субботу. Поверх куличей, мазурок, пляцок и баб аршинного роста, на которые так искусна была наша проворная Катря, я с радостью заметила букетик полузавядших в дороге ландышей — первых цветов милой стороны. Я позабыла куличи, пасхи и окорок чудесной домашней свинины, заботливо упакованные мамой в большую корзину, и целовала эти чудные цветочки — вестники южной весны… Еле дождалась я звонка, чтобы бежать к Нине…

— Угадай-ка, что я принесла тебе! — радостно кричала я еще в дверях, пряча за спиной заветный букетик.

Нина, сидевшая за книгой, подняла на меня свои черные, казавшиеся огромными от чрезвычайной худобы глаза.

— Вот тебе, Нина, мой подарок! — И белый букетик упал к ней на колени.

Она быстро схватила его и, прижав к губам, жадно вдыхала тонкий аромат цветов, вся закрасневшись от счастья.

— Ландыши! Ведь это весна! Сама весна, Люда! — скоро-скоро говорила она, задыхаясь.

Я давно уже не видела ее такой возбужденной и хорошенькой… Она позвала Матеньку, заставила ее принести воды и поставила цветы в стакан, не переставая любоваться ими.

Я рассказала ей, что эти цветы прислала мне добрая мама «в придачу» к пасхальной посылке.

— Когда ты будешь писать маме, то поцелуй ее от меня и скажи, что я ее очень-очень люблю! — сказала Нина, выслушав меня.

Мы молча крепко поцеловались.

Какая-то новая, трогательно-беспомощная сидела теперь передо мною Нина, но мне она казалась вдесятеро лучше и милее несколько гордой и предприимчивой девочки, любимицы класса…

До заутрени нас повели в дортуар, где мы тот-

час же принялись за устройство пасхального стола. Сдвинув, с позволения классной дамы, несколько ночных столиков, мы накрыли их совершенно чистой простыней и уставили присланными мне мамой яствами. Затем улеглись спать, чтобы бодро встретить наступающий Светлый праздник.

Странный сон мне приснился в эту ночь. Этот сон остался в памяти моей на всю мою жизнь. Я видела поле, все засеянное цветами, издающими чудный, тонкий аромат, напоминающий запах кадильницы. Когда я подходила к какому-нибудь цветку, то с изумлением замечала маленькое крылатое существо, качающееся в самой чашечке. Присмотревшись к каждому из существ, я увидела, что это наши «седьмушки», только чрезвычайно маленькие и как бы похорошевшие. Вот Бельская, Федорова, Гардина, Краснушка, Кира — одним словом, все, все величиною с самых маленьких французских куколок. И сама я такая же маленькая и прозрачная, как и они, а сзади меня такие же легонькие блестящие крылышки.

— Люда! — слышится мне слабый, точно шелест листьев от ласки ветра, голосок. — Люда, подожди меня!

Маленький крылатый эльф догоняет меня, протягивая руки. Это Нина, ее глаза, ее лицо, ее косы.

В ту же минуту остальные эльфы окружают нас, и мы вертимся в большом хороводе… Мы все легки и прозрачны, все без труда поднимаемся на воздух, но никак не можем поспеть за хорошеньким, грациозным эльфом, более прозрачным, нежели мы, с головкой и чертами Нины. Она поднимается выше и выше в воздушной пляске. Скоро мы едва можем достать до нее руками, и, наконец, она поднялась над нами так высоко, вся сияя каким-то точно солнечным сиянием, и вскоре мы увидели ее тонувшей в голубой эмали неба.

— Нина, Нина! — звали маленькие эльфы, не переставая кружиться.

Но было уже поздно… Налетело облако и скрыло от нас нашего крылатого друга…

Я проснулась от мерных ударов колоколов соседних с институтом церквей.

— Скорее, скорее! — кричали, торопя, мои подруги, наскоро освежая лицо водою и надевая все чистое.

Я почему-то умолчала о виденном мною сне и вместе с остальными девочками поспешила

в церковь…

Все уже были в сборе, когда мы, младшие, заняли свои места. Светлое облачение, крестный ход по всем этажам института, наряды посторонних посетителей, ленты и звезды увешанных орденами попечителей — все это произвело на меня неизгладимое впечатление. Когда же священник, подошедший к плотно закрытым царским вратам, возгласил впервые: «Христос воскресе!» — сердце мое екнуло и затрепетало так сильно, точно желая выпрыгнуть из груди…

— Христос воскресе! — обратился отец Филимон трижды к молящимся и получил в ответ троекратное же: «Воистину воскресе!»

Тотчас же после заутрени нас увели разговляться, между тем как старшие должны были достоять пасхальную обедню.

В столовой мы почти не притронулись к кисловатой институтской пасхе и невкусному куличу. Наверху, в дортуаре, нас ждало наше собственное угощение. «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!» — обменивались мы пасхальным приветствием…

Лер приготовила нам всем четверым по шоколадному яичку, чуть не насмерть разозлив Пугача (у которого хранились ее деньги) безум-

ным транжирством. Варя подарила всем по яичку из глицеринового мыла, а Бельская разделила между нами четырьмя скопленные ею за целую зиму картинки — ее единственное достояние.

— А я-то ничего не приготовила! — смутилась я.

— Твое будет угощение! — поспешили утешить меня подруги и принялись за разговенье.

— Знаете, mesdam'очки, — предложила Лер, — не позвать ли нам фрейлейн?

— Ну вот, она стеснит только, — решила Бельская.

— Ах нет, душки, позовите, — вмешалась кроткая Варя, — каково ей одной, бедняжке, разговляться в своей комнате.

Мы как по команде вскочили и бросились в комнату фрейлейн.

Она, действительно, грустная, одинокая, готовилась встречать Светлый праздник, и наше предложение было как нельзя более кстати.

Она охотно разделила наше скромное пиршество, шутя и болтая, как равная нам.

Мне взгрустнулось при воспоминании о Нине, не спавшей, может быть, в эту пасхальную ночь.

— Фрейлейн, — робко обратилась я к немке, — могу я сейчас сбегать в лазарет к Джавахе? Ведь

она совсем одна!

— А если она спит?

— Нет, фрейлейн, Нина не будет спать в эту ночь, — убежденно проговорила я. — Она ждет меня, наверное, ждет.

— Ну тогда Бог с тобою, иди, моя девочка, только тихонько, не шуми и, если княжна спит, не буди ее. Слышишь?

Я не ошиблась. Княжна лежала с широко открытыми глазами, и, когда я вошла к ней, она нимало не удивилась, сказав:

— Я знала, что ты придешь.

К моему великому огорчению, она не пожелала попробовать ничего из принесенной мною от нашего разговенья Катриной стряпни и только радостно смотрела на меня своими мерцающими глазами.

Я рассказала Нине о моем сне.

Ее охватило какое-то странное, лихорадочное оживление.

— Ты говоришь, я полетела от вас, да? Знаешь ли, что это значит, Люда?

— Что, милая?

— Да то, что Maman, наверное, отпустит меня до экзаменов и я увижу Кавказ скоро-скоро. Я поднимусь высоко в наши чудные Кавказские

горы и оттуда, Люда, пошлю тебе мой мысленный горячий поцелуй!

Как она хорошо говорила! В ее несколько образной, всегда одушевленной речи сквозила недюжинная, не по летам развитая натура. Я слушала Нину, вдохновившуюся мыслями о далекой родине, и в моем воображении рисовались картины невиданной, увлекательной страны…

Мы проболтали часов до пяти. И только возвращение от обедни лазаретного начальства заставило меня уйти от нее и вернуться в дортуар, где я быстро уснула здоровым детским сном.

Праздник Пасхи прошел скучнее Рождества. Многие из нас, ввиду близких экзаменов, взялись за книги. Одна Бельская, «неунывающая россиянка», как ее прозвал в шутку Алексей Иванович, и не думала заниматься.

— Бельская! — окликивала ее, погрузившуюся в какую-нибудь фантастическую правду-сказку, всегда бдительно следившая за всеми нами фрейлейн. — Ты останешься в классе на второй год, если не будешь учиться: у тебя двойка из географии.

— Ах, фрейлейн-дуся, — восторженно восклицала Бельская, — как они дерутся!

— Кто дерется? — в ужасе спрашивала фрей-

лейн, прислушиваясь к шуму в коридоре.

— Да дикие! — захлебывалась наша Белка, показывая на картинку в своей книге.

— Ах, dummes Kind (глупое дитя), вечные шалости! — И фрейлейн укоризненно качала головою.

Несколько раз водили нас гулять, показывали Зимний дворец и Эрмитаж. Мы ходили, как маленькие дикарки, по роскошным, громадным залам дворца, поминутно испуская возгласы удивления и восторга. Особенно неизгладимое впечатление произвела на меня большая, в человеческий рост, фигура Петра I в одной из обширных зал Эрмитажа. Из окон открывался чудный вид на Неву, еще не освободившуюся от ледяной брони, но уже яростно боровшуюся за свою свободу.

В воскресенье вернулись с пасхальных каникул наши подруги. Кое-кто привез нам яйца и домашние яства. Всюду раздавались громкие приветствия, поцелуи, сопровождавшиеся возгласом: «Христос воскрес!»

А на классной доске наш добродушный толстяк инспектор писал уже страшное для нас расписание экзаменов…

К. В. Лукашевич

Как проводили в нашей семье Страстную неделю

Страстная неделя чтилась в нашей семье и в семье бабушки и дедушки как величайшая святыня… Няня и мама одевались в темные платья, строго постились, каждый день ходили в церковь и говели. Везде у нас теплились лампады, было тихо и благоговейно. Нам, детям, почему-то бывало и жутко, и радостно.

По вечерам няня часто рассказывала нам о страданиях Христа и всегда плакала… Иногда с великими святыми событиями она перемешивала и легенды… Так занятно было ее слушать. Рассказывала про птичку, которая вытащила клювом один колючий терновник из святого лба Господа, и ее грудка обагрилась кровью… И с тех пор эта птичка святая, и ее зовут «красногрудка»; рассказывала, как, мучась, Христос нес святой крест на Голгофу и как все, кто Его касался, исцелялись.

— Скажи, нянечка, ведь Христос воскреснет?! — взволнованно, сквозь слезы спрашивали мы, оплакивая страдания Христа, которые няня пере-

давала так жалостливо и трогательно.

— Ну, конечно, воскреснет… Но мы-то всегда должны помнить об Его страданиях и плакать о Нем.

И я помню, что в дни Страстной недели мы, дети, как-то душой проникались воспоминаниями о величайших религиозных событиях; эти воспоминания как будто воплощались во что-то реальное, и все выливалось в особое, святое религиозное чувство… Казалось, что Бог с нами присутствует, страдает, молится и прощает.

Когда, бывало, в пятницу у Великой вечерни выносили Плащаницу, я не могла отрешиться от мысли, что это только образ… Мне всегда казалось, что, действительно, хоронят Христа… И как только запоют «Благообразный Иосиф», няня начинала горько плакать, и я за нею… С тех пор я особенно люблю эту службу… Она напоминает мне чистые детские слезы о Господе…

В Страстную субботу мы с няней ходили и к ранней обедне, и к поздней. Мама бывала недовольна и укоряла няню:

— Ну зачем ты ребенка таскаешь в такую рань?.. Ходи одна, если хочешь.

— Беляночка сама просится… Дитяти Господь милость пошлет… Оставь ее… Пусть молится

за нас, грешных…

Действительно, я любила эти жуткие, ночные молитвы, в них было что-то таинственное и святое… Няня говорила, что мы идем хоронить Христа. Я знала, что Плащаницу будут носить кругом церкви, и мы с няней пойдем со свечами за нею.

Няня тихонько будила меня рано-рано, часа в четыре ночи… Глаза слипались, еще хотелось спать, но в душе точно создался какой-то долг: идти хоронить Христа.

Выходили мы в полумрак, не пивши чаю, шли с моей старушкой по темным улицам. Жутко, таинственно, прекрасно. Душа полна гордостью, точно делаешь что-то хорошее… В церкви народу мало, но как-то особенно значительно раздаются моления и испытываешь особенное молитвенное настроение…

Я так любила и до сих пор люблю церковные службы на Страстной неделе. Они для меня полны духовной прелести, великого нравственного значения и дорогих детских воспоминаний.

Вернемся с няней домой, точно совершили подвиг. Сестра Лида позавидует мне и даже всплакнет.

— Вот, нянечка, Клавдю взяла к ранней обедне,

а меня нет…

— Ты еще маленькая, устанешь… Тебе нельзя, а Клавденька большая…

— И я хочу тоже к ранней обедне.

— Не плачь, деточка… Ты ведь маленькая… Все будет в свое время… Пойдешь на будущий год.

А дома, в нашей маленькой квартирке, в это время, на Страстной неделе, кипели такие интересные хлопоты… Все делалось по порядку, по заветам старины, в определенное время… Мы во всем помогали маме и няне. Сначала шла уборка квартиры: мама и няня, повязав головы платками, обметали потолки, стены, мыли окна, печи, полы, скребли каждый уголок, чистили, обтирали каждую вещь. Уборка шла на славу.

В среду няня чистила образа. Это было своего рода священнодействие, и к нему допускались я и Лида. Мы очень любили это дело и постоянно приставали к няне:

— Скоро? Скоро будем образа чистить? Поскорее, нянечка.

— Повремените, деточки… Это дело нешуточное… Надо осмотрительно…

Прежде всего няня тщательно мылась и нам заботливо мыла руки мылом. Затем на обеденном столе расстилалась чистая скатерть. На этот

стол сносились все образа из квартиры, а их было у нас немало. Затем няня приготовляла мел и делала мыльную воду. Мы с Лидой тщательно терли и мыли серебряные и металлические венчики и ободки на старинных иконах, и каждая старалась это сделать как можно чище и ярче. Затем няня заставляла нас помолиться.

— Теперь, благословясь, оботрите деревянным маслом лики.

Мы обтирали лики. Эта работа казалась нам важной и святой. После нашей чистки в углах комнат иконы сверкали необыкновенной чистотой, и перед ними ярко горели лампады. Няня ходила умиленная. А комнаты нашей квартиры походили на кельи монахинь.

В четверг наша старушка делала «четверговую соль». Это была какая-то совсем особенная черная соль, которую жгли в духовой печке и на Пасхе ставили на стол. И разговляться без «четверговой соли» казалось нам немыслимым.

В четверг же у нас дома обыкновенно красили яйца. Это, конечно, бывало самое интересное из пасхальной стряпни. Во главе этого дела стоял отец. Мама ему помогала. Мы ни на шаг не отходили от них, и каждая из нас имела право выкрасить для себя по нескольку яичек.

Папа непременно хотел перещеголять дедушку, который был великий мастер красить яйца. Да и отец наш ему не уступал.

В то далекое время таких красок, как теперь, не было. Яйца красили в сандале, в шелухе луковых перьев, в кофейной гуще и в разных тряпках и обрезках шелка. Папа вырезал из сахарной синей бумаги разные рисунки, фигуры и изображения, прикладывал их к яйцам, обвертывал все яичной шелухой, завязывал тряпкой и клал варить. Мы с мамой делали то же.

Как, бывало, волнуешься, дрожишь, замираешь, когда развертывают уже сваренное яичко. Что-то будет? Боже, какой восторг! Вот яичко вышло желтенькое с крапинками, а на нем синеватый якорь и буквы Х и В (конечно, папиной работы). Кроме того, папа очень искусно нацарапывал на крашеных яйцах буквы, цветы и разные изображения. Иногда он раскрашивал яички красками и всегда выбирал трогательные и нежные сюжеты, например: якорь, сердце, голубков, лики святых, цветы и т. п. Комичных лиц и смешных рисунков на яйцах он никогда не делал. У нас и у дедушки с бабушкой это было не принято.

В пятницу нянечка пекла кулич, месить кото-

рый помогал ей отец, а вечером делали пасху. Это было целое событие, особенно памятное мне.

Мама уже ранее несколько раз бегала к бабушке за советами: как сделать пасху, сколько держать в печке окорок… И все у нас по советам бабушки выходило отменно хорошо. Никогда ничего не портили. Особенно удавалась пасха. Она была традиционная «бабушкина» и делалась по ее старому, собственному рецепту. Я и до сих пор делаю эту заварную «бабушкину» пасху.

Надо было строго положить всего в пропорции, долго мешать, тихо прогревать на огне и, храни Бог, не переварить.

Между мамой и няней возникали иногда даже споры… Они очень интересовали и даже смешили нас. Когда у нас варили пасху, то мама и няня неотступно стояли у плиты: лица их были красны, серьезны и озабоченны. Мы вертелись тут же… Папа то и дело заглядывал в кухню и спрашивал:

— Ну что, готова?

— Ах, не мешай, Володечка, — говорит мама.

Няня хочет отставлять кастрюлю.

— Что ты, няня!.. Она еще не вздохнула третий раз… — с ужасом говорит мама.

— Как не вздохнула?.. Нет, вздохнула… Даже

урчала…

— Нет, не урчала… Не тронь, ради Бога. Маменька сказала, как вздохнет третий раз и по поверхности пузыри пойдут — тогда и снимать с плиты, — волновалась мама.

— Ну вот и переваришь… Она уже сейчас закипит… Я считала и слышала, как она три раза вздохнула.

— Нет, два раза… а в третий раз только задрожала…

— Не спорь, пожалуйста… Вот с этой стороны даже пузыри потрескались…

— Ах, нянюшка, я ведь знаю… Меня сама маменька учила…

— Да и я знаю… Слава Богу, пятьдесят лет делаем эту пасху.

Нас ужасно занимал этот спор между мамой и няней, и очень хотелось посмотреть, как это дышит пасха, как она дрожит, урчит и по ней идут пузыри… Но наши строгие хозяйки не подпускали нас к плите… Только папа иногда заглянет в дверь и шутя спросит:

— Ну что, дышит или сопит?

— Ах, не мешай, Володя… Дело важное…

— Вот теперь вздохнула, вздохнула… Видишь… Гляди сама, — говорит няня.

— Снимай, нянюшка, скорее, скорее! — кричит и волнуется мама.

Старинную медную кастрюлю с жидкой белой массой осторожно снимают с плиты, няня перекрестится и медленно выливает творожную массу в пасочницу, накрытую белой тряпкой…

— Попробуем, няня, довольно ли сахару? — спрашивает мама.

— Что с тобой, голубушка?! Да разве стану я пробовать… Ты хочешь, чтобы я оскоромилась… Да разве это возможно?!

Мама пробует и нам дает попробовать… Я вопросительно взглядываю на няню и тоже не решаюсь «оскоромиться». Мне кажется это большим грехом. А как хотелось бы попробовать вкусной пасхи!

Вот уже доканчиваются последние праздничные приготовления. Папа помог маме дошить наши платья и передники и сделать к Пасхе цветы из бумаги.

Наступила суббота. Вечер. Мама накрывает и убирает маленький скромный пасхальный стол… Все у нас просто, незатейливо и всего мало… Однако на всем видна заботливая рука хозяйки: в корзиночках выращена зелень — овес; сделаны гнездышки из сена, и туда уложены

пестрые яички.

— Маменька, положите мои яички в гнездышко… Нет, мои… Мои красивее… — вперебивку просим мы с Лидой.

— Для обеих моих птичек сделано по гнезду… И положу туда яички… И будут у нас скоро птенчики… — говорит мама и смеется, смеется так весело и заразительно.

Мы недоумеваем, как это может быть, а мама начинает нас обеих крепко, крепко целовать в глаза, в рот, в губы и особенно в шею… «В мое любимое местечко», — говорит она. Так крепко и звонко умеет целовать только одна мама.

— Господи помилуй, Клавденька, что это ты смеешься в такой-то день!!! Ну, чего ты так балуешься с детьми?! — говорит няня.

И мы втроем затихаем. Мама опять проворно и умело украшает стол. Она убирает окорок белыми фестонами, выделывает на его поверхности из маленьких черных гвоздичек буквы Х и В, она пришивает на углы стола букеты из брусничных листьев и так все проворно, красиво; пасхальные кушанья кажутся необыкновенно вкусны, так и текут слюнки, просто не дождешься разговения после недели строгого поста.

А няня в это время хлопочет, чтобы дворник

или жиличка отнесли освятить пасху, кулич и яйца. Все это она увертывает в белую скатерть и дает наставления.

Наша милая старушка, пока мы были малы, никогда не могла пойти к заутрене. Она всегда оставалась дома.

Родители наши отправлялись в ту же церковь, куда ходили и дедушка с бабушкой. Эта приходская церковь была далеко, где-то на Васильевском острове… Разговлялись мы ночью, когда папа и мама приходили из церкви.

Бывало, еле-еле дождешься этой минуты…

— Нянечка, скоро будем разговляться?.. — томлюсь я.

— Уж как пасхи да кулича хочется… Не дождаться разговенья, — ноет Лида.

— Сначала святого яичка дадут… — говорю я.

— А после и кулича, и пасхи… Как вкусно-то, — шепчет Лида.

— Обе вы сонные. И глаза-то не смотрят, и губы-то еле говорят… Лягте, деточки, не томитесь. Еще долго-долго. Засните… придут папа с мамой, я разбужу. Приведет Господь — разговеемся все.

— Не уснуть, нянечка…

— Прочитайте десять раз «Отче наш» и заснете…

Глаза слипаются, зеваешь, томишься, читаешь без конца «Отче наш», но заснуть невозможно. Волнуешься, ждешь разговенья, завтрашнего дня и всех радостей жизни…

Я помню, когда родители взяли меня первый раз к заутрене. Нянечка моя волновалась больше меня… Как она меня прихорашивала, наряжала, наставляла и учила:

— Ты смотри, Беляночка, как в церкви двери закроют и уйдет крестный ход, тогда скоро и «Христос Воскресе» запоют. Сначала за дверью пропоют, будто узнали благую весть. Господи, в храмах Божьих какие сегодня молитвы поют, какая служба идет!..

Няня особенно тревожно просила папу обо мне; на маму она как-то не надеялась…

— Сударь мой, Владимир Васильевич, вы уж Беляночку не простудите… Не затолкали бы в церкви-то… Не заснула бы она… Жарко там, снимите салопчик… Уж до конца не стойте… Дитя первый раз у заутрени… Пораньше уйдите… Господь простит, коли не достоите…

— Будьте покойны, нянюшка, вернем ваше сокровище в сохранности.

Няня меня кутала, крестила, и мы ушли… Как я счастлива, горда и довольна. Я с папой

и мамой иду к заутрене… Хотя мне всего-то семь лет, но я кажусь себе большой. Шестилетняя сестра Лида, конечно, не может сравняться с такой взрослой девицей, которая уже идет к заутрене. И Лида, конечно, обижена и даже поплакала. Но ее утешают, что в следующем году и она будет большая и тоже пойдет к заутрене…

Только раз в году и бывает такая ночь… Какая-то особенная, чудесная… Эта святая ночь под праздник Светлого Христова Воскресения полна невыразимой прелести. Никто не спит в эту ночь… И кажется, все ищут ласки, примирения. И в сердце самого обиженного, несчастного человека просыпается всепрощение и надежда на счастье.

Мы идем медленно к заутрене. Папа и мама держат меня за руки. А я примолкла и вся превратилась в зрение. Кругом шум, движение и суета. На улицах горят плошки с маслом, а кое-где даже целые бочки. Люди идут, идут без конца, с куличами, с пасхами… Все веселые, радостные, нарядные… Вдруг раздается выстрел… Скоро пронесется благостный звон… «Звонят во всех церквах на все голоса, как никогда нигде. Точно ангелы поют на небесах», — говорит няня. И мне казалось, что я действительно слышала тогда пе-

ние ангелов. Я зорко всматривалась в синее небо и в мерцающие там звездочки, и детской мечте ясно и чисто представлялось великое событие прошедших веков.

В церкви необыкновенно светло и торжественно. Мы едва-едва протискиваемся вперед… Вон и бабушка с дедушкой. Вон и тети. Все улыбаются мне, ласкают, ставят удобнее, заботятся… Бабушка и дедушка такие нарядные, как никогда.

У дедушки надеты все ордена, у бабушки на голове высокая белая наколка «фаншон», как называют ее тети. Я про себя думаю, что сегодня дедушка — царь, а бабушка — царица…

Служба пасхальная и торжественна, и прекрасна, напевы молитв веселые и радостные.

Мне было так хорошо: бабушка с дедушкой и три тети то и дело ласкают меня, тихонько спрашивают: не устала ли я, не тесно ли, не жарко ли… А кругом нас ходили, толкались, заглядывали в глаза ребятишки. Их почему-то особенно было много… Бедные, плохо одетые, худые… Это были дети бедноты, дети улицы… Они все пробирались в эту сторону церкви.

Они знали, что здесь встретят сочувствие… Но не у всех, конечно. Тетя Саша недовольна и сердится. «Папенькины мальчишки! Такие гру-

бые невежи! Чего вы тут толкаетесь?» — шепчет она гневно и отстраняет от нас двух маленьких оборванцев… Но они, обогнув нас, смело проходят мимо дедушки и, улыбаясь во весь рот, заглядывают ему в лицо… Дедушка сегодня серьезен и недоступен, даже не смотрит на них. Это «дедушкины мальчишки», его «босоногая команда», как он их называет… «Завтра они придут к нему Христос Воскресе петь… Он их так любит, жалеет. Он подарит им яички и денег… Станет выпрашивать у бабушки кусочки кулича… А тетя Саша их не любит, бранит, всегда сердится за то, что они на полах следят да шумят», — все это с быстротой молнии мелькнуло у меня в голове…

Скоро в руках молящихся запылали свечи. Детям это так нравится. Только у дедушкиных мальчишек не было свечей… Но дедушка похлопал по плечу одного, другого… Вот к нему обернулось худенькое лицо с большими красивыми серыми глазами. Около этого мальчика, одетого в женскую кофту, жалась малютка-девочка. Лица их были болезненно-печальны, и грустные большие глаза говорили о раннем горе. Дедушка дал им по тоненькой свечке… Когда засветились в их руках яркие огоньки, лица их тоже засияли огоньками радостной улыбки…

Эта улыбка не сходила с лица малютки-девочки во всю светлую заутреню: то она смотрела на свою свечку, то обращала глаза на дедушку. И теперь, когда вспоминаю этот взгляд, мне представляется, что так смотрят ангелы на картинах Рафаэля. Как мало надо детям для радости!

Трепетно билось сердце, когда за дверями пели «Христос Воскресе!», и радостно откликнулось оно навстречу великому привету: «Христос Воскресе!» В церковь вошел с громким пением крестный ход. После мы все похристосовались. Отстояли заутреню и даже обедню.

— Завтра вы детей к нам пришлете? — спрашивает бабушка, прощаясь.

— Ну конечно, маменька.

— Дети дня на три погостить приедут? Мы их так ждем, — говорит тетя Манюша.

— Клавдинька, принеси твой альбом. Я тебе такие стихи Пушкина дам переписать — ты будешь в неописанном восторге! У меня тебе много кой-чего новенького приготовлено, — говорит дедушка маме.

А она его целует и весело смеется. И все мы радуемся.

Мы расстаемся. Дедушка с бабушкой разговлялись дома с тетями, а мы все с няней у себя.

Радостная, счастливая бегу я по двору, по лестнице. Няня открывает дверь.

— Христос воскресе, нянечка! Христос воскресе! — громко и восторженно крикнула я, бросаясь на шею к своей дорогой старушке.

— Воистину воскресе, моя пташка дорогая, мое золотце! Вот мы с тобой — старый да малый — дождались великого праздничка. Ты уже теперь большуха… У заутрени первый раз была.

Как светло, чисто, уютно, радостно у нас… Везде, везде горят огни, лампады.

— Люблю, когда светло, когда много горит огней, — говорила всегда мама, и в большие праздники у нас во всех уголках квартиры зажигались огни.

Мы все христосуемся, дарим друг другу яички, потихоньку друг от друга сделанные. У нас накрыт стол, а под салфетками у всех лежат яички. Такой обычай был у нас и у дедушки с бабушкой. У меня красное яичко с цветочками, у сестры Лиды желтенькое. Это сделал папа. Мама купила деревянные красные, а няня сделала из воска и облепила их шелком и лентами… Мы так всему радуемся, так счастливы.

Я, беспрерывно сбиваясь, стараюсь рассказать няне все, что было в церкви: свои первые впе-

чатления.

— Светло, весело… Батюшки такие золотые… А когда «Христос Воскресе!», то все целоваться стали. И свечи зажгли… А у «дедушкиных мальчишек» не было свечей… Они там в церкви толкались… Тетя Саша очень на них сердилась… Дедушка им свечки дал.

— Ах, Сашенька, Сашенька… И в церкви-то не удержалась, милушка… Характерная девушка… И близко церковь, да от Бога далеко. Ничего не поделаешь… — прерывает мою болтовню няня и сокрушенно качает головой.

Она обо всем меня расспрашивает, целует, пробует голову: нет ли жару, не простудилась ли… И опять расспрашивает и снова целует и милует.

— Бабушка и дедушка сказали, что завтра к ним… И тети тоже сказали. Много нам подарков приготовили… А дедушка маме стихи в альбом напишет…

— Всегда так водится, что первый день праздника у стариков проводят, — говорит серьезно няня.

Мы разговляемся тихо и весело. Всего пробуем понемножку…

Глаза уже застилает какой-то туман… И томно, и хорошо…

В окна пробивается весенний, голубоватый рассвет… Так интересно и необычайно встречать это прекрасное раннее утро наступающего праздника… Сколько сладких мечтаний, ожиданий… Все так живо, весело, полно неизведанных радостей, как сама невинная жизнь дитяти.

Жизнь чистая, обереженная, счастливая скромными радостями и любовью окружающих. Жизнь тогда казалась беспрерывным праздником, с гулом благостных колоколов, с надеждой на что-то неожиданно-радостное, с верой во все хорошее и любовью. К самому источнику счастья — к жизни.

— Уже рассветает… Какое утро ясное!

— Идите спать, мои пташки, — говорит няня. — Беляночка моя уже и головку повесила, — шепчет она и ласкает меня и ведет нас, полусонных, к кроваткам. — Ложитесь, деточки, проворнее, усните скорехонько… А завтра к бабушке с дедушкой с утра пойдем… Путь неблизкий…

Какие магические слова: «завтра к бабушке с дедушкой».

Ляжешь проворно… Уже дремлешь… И сердце бьется так трепетно и радостно… В голове туманится и точно слетают волшебные грезы… Засыпаешь и думаешь о том, как хорошо, занятно

у бабушки с дедушкой… Там для нас положительно был рай земной. В их маленьком сером домике — бесконечный запас чудес. Там все было полно жизни, интереса, красоты, духовных запросов. Там чудак дедушка с его таинственным кабинетом, с его своеобразной жизнью, с его чудачествами и с «босоногой командой», которую он так любил. Там горбатенькая тетя Манюша с большими черными глазами, которая так хорошо играет Бетховена… Там цветы, птицы, животные… все эти неотъемлемые привязанности детства…

Там все к чему-то рвутся, жаждут, ищут, добиваются… Там не страшны были нужда и бедность: все трудились неустанно.

— Лида… Лиденька… Завтра к бабушке с дедушкой… Как хорошо! Как я рада… — шепчешь, засыпая…

— Да… Клавдя… Дуняша опять что-нибудь перепутала… Хозяйки нам цветов дадут… Дедушка будет царем, а бабушка — царицей…

Сладкий сон прекращает грезы. Впереди встает желанная действительность — радостная и светлая. Все это наполняло счастьем детские годы.

З. Н. Гиппиус

Святая плоть

I

В Чистый понедельник ночью купец Родион Яковлевич Глебов вернулся в свой город из Москвы. Он думал попасть домой к Масленой, да не успел, и как ни противен был ему московский масленичный шум и суета — он себя превозмог, остался, кого нужно повидать — повидал, справился хорошо и теперь ехал довольный. Впрочем, довольство его ничем не выражалось: глаза, как всегда, были строги, брови слегка сдвинуты. Он одевался по-русски, без щегольства, но и без всякой неряшливости: высокие сапоги, теплый картуз. Его худощавое, темное лицо, обрамленное длинной бородой стального цвета, было похоже на лик старого письма.

Родион Яковлевич вышел из вагона с ручным саквояжем (багажа он не возил), миновал холодные желтые залы вокзала, громадного, еле освещенного, грязного, похожего на все вокзалы губернских городов, и, толкнув тяжелую дверь, вышел на крыльцо.

Вокзал был далеко от города, версты четыре

по полю. У ступенек крыльца стояло несколько широких извозчичьих саней.

— Пожалуйте, Родион Яковлевич! С приездом вас! — крикнул Федька.

— Ивана нет нонче. Давно вас дожидались, еще на Масленой. Пожалуйте, духом довезу.

Глебов молча уселся в сани и запахнул медвежью шубу. Стояли морозы, последние, но крепкие, звонкие. Полозья так и визжали по масленистой дороге. С ясного, широкого, сине-черного неба светит месяц, маленький, немного на ущербе, но пронзительно-яркий от мороза.

Свежие Федькины лошади бежали бодро по голубой равнине. Кое-где в снегу мелькали темные домики. Федька-извозчик то и дело оборачивался к Родиону Яковлевичу и заговаривал, не смущаясь тем, что купец отвечал ему редко.

— Как дела изволили справить, Родион Яковлевич? Все ли в добром здоровье?

— Слава Богу.

— Ну, подай Господь. А я позавчерашнего дня Николая Семеновича на станцию возил.

— Сурина?

— Точно так. В Казань отъехали. Спрашивали, когда ваша милость из Москвы будут. Мне Евлампия Ниловна, Дунина госпожа, говорили, что

каждый день ждут, ну я так и сказал, что каждый, мол, день ждут.

— А ей-то откуда знать? — сурово вымолвил Глебов.

— Через Серафиму Родионовну, не иначе. Изволили писать Серафиме Родионовне? А барыню Дунину я тогда с рынка вез.

Глебов ничего не отвечал. Старшей дочери, Серафиме, он не писал. Она и так должна ждать его каждый день. Светать начнет, утро недалеко, Серафима знает, когда поезд приходит, и, верно, встала, ждет с самоваром.

«Лиза что?» — подумал вдруг Глебов и плотнее запахнул шубу.

Утро было, точно, недалеко — но еще не светало. Только месяц все выше забирался на пустынное небо, делался меньше и ярче, и от его света голубая, тихая равнина казалась еще тише. Въехали в город — и ничто не переменилось, тот же простор, та же тишина: широкая-широкая, синебелая улица, и кажется она еще шире, потому что прямая и потому что тянутся по сторонам низенькие домики в один этаж; снежные кровли сливаются со снежной улицей, окна потухшие, только кое-где стекло сверкнет мертвым месячным светом. Нет проезжих, и собаки не лают,

глухая ночь, глухой город, глухие дома, и люди в них глухие, потому что спят. Снежное море кругом молчит, со своими неподвижными белыми волнами.

Федька свернул лошадей влево, в переулок. На повороте открылись и слабо замерцали вдали золоченые главы кремлевского собора. Родион Яковлевич глянул и три раза, не торопясь, перекрестился. В ту же минуту где-то запел петух. Ему ответил другой, дальше, потом еще и еще, совсем далеко, чуть слышно.

— Третьи, никак, — сказал замолкший было Федька. — Заря занимается. Пожалуйте, ваше степенство, приехали!

Дом у купца Глебова был хороший, деревянный, старый и крепкий, с широким, поместительным мезонином. Его весь занимала семья одного судейского барина. Сам Родион Яковлевич с дочерьми жил в двух комнатах внизу, почти что в подвале, ход был в ворота, через двор. Из переулка дома и не видно, он стоял на улицу.

Калитку скоро отворили. Родион Яковлевич, поскрипывая сапогами, пошел к дому. Внизу, в широком, низком окне у самой земли тускло краснел огонь. Серафима ждала отца.

Глебов прошел через темные сени, где визг-

нул блок, и отворил дверь в первую горницу. Удушливое тепло его охватило. Серафима Родионовна приняла саквояж, шапку и шубу. Направо, в углу, низко стоял киот с образами и теплилась красноватая лампада. Родион Яковлевич молча помолился, медленно кланяясь, и обернулся к дочери.

— Ну, здравствуй теперь.

Она поцеловала его руку, он поцеловал ее в голову.

— Живешь? Что Лиза?

— Слава Богу, папаша. Вы как съездили? Здоровы ли?

— Ничего. Задержался маленько, да ничего, все ладно. Самовар-то есть у тебя?

— Самовар готов, — сказала Серафима и неслышно вышла. У нее был тихий голос и тихие движения.

В этой же горнице, низкой, неглубокой, Родион Яковлевич и спал. У дверей выдавалась белая печка; между печкой и стеной в другую комнату, в углу, стояла кровать Родиона Яковлевича, за синей ситцевой занавеской. Между двумя широкими, точно сплющенными окнами был раскинут стол, накрытый свежей серой скатертью с красными каймами. В простенке горела

жестяная лампочка. На высоком подоконнике лежали большие, видно, тяжелые, желтые счеты. Громадные, низко висящие часы с розанами на посеревшем циферблате показывали теперь без двадцати пять.

Родион Яковлевич сел к столу. Вошла Серафима, вынула из стеклянного шкафчика чайный прибор и початый домашний хлеб. Закутанная Дарья внесла большой шипящий самовар. Серафима, все так же неслышно двигаясь, заварила чай и села поодаль: ее совсем стало не видно за высоким самоваром.

Родион Яковлевич помолчал. Потом спросил дочь:

— Заходил кто?

— Знали, папаша, что вы в отъезде… Кому заходить? Евлампия Ниловна была.

Он глянул из-под бровей.

— Ну, эта еще… Бабьи шлепотки. Небось косила, косила языком. А ты? Была где?

— На ефимонах была, у Сергия…

— На ефимонах! В гости, спрашиваю, куда ходила?

Серафима ответила не вдруг. Как будто чуть заметная розовая тень легла на ее немолодое, бледное лицо. Заговорила она так же тихо, но то-

ропливее:

— Я, папаша, тоже один раз у Евлампии Ниловны была. В аптеку перед вечером пошла, Лизе грудного чаю взять, а Евлампия Ниловна там. Уговорила меня, я с полчаса у них посидела.

Отец опять глянул в ее сторону из-под бровей, суровее.

— А Лизу на кого покидала?

— Дарья с ней оставалась… — еще тише ответила Серафима и протянула отцу большую фарфоровую чашку с чаем. Родион Яковлевич чашку принял, поставил перед собой, помолчал.

— А что Лиза, нездорова, что ль, была? — спросил он хмуро.

— Нет, так, закашляла, да прошло.

— Спит?

— Спит покойно.

— Там свет у тебя есть?

— Лампада горит.

Родион Яковлевич медленно поднялся из-за стола.

— Взгляну, не видал еще, — сказал он и, осторожно ступая, пошел к притворенной двери. Серафима встала за ним.

Другая горница была побольше первой и оттого казалась еще ниже. Темный блеск лампадки

едва освещал ее. Два окна выходили на двор, а два — по другой стене — в садик, и снег совсем завалил их. На широкой двуспальной постели, почти под лампадными лучами, спала, разметавшись, девочка лет пятнадцати, крупная, полная, удивительно красивая. Недлинные коричневые локоны мягко вились у лба и нежных ушей и падали слабыми кольцами на подушку. На щеках розовыми пятнами стоял румянец. Тонкие разлетающиеся брови давали не то испуганное, не то невинно-лукавое выражение ее лицу с темной тенью сомкнутых ресниц. Губы были полуоткрыты, как у спящих детей. Родион Яковлевич постоял молча, очень тихо. Лицо его стало яснее, морщины сползли со лба.

Лиза пошевельнулась и чуть-чуть застонала.

— Разбудите! — шепнула Серафима.

Глебов встрепенулся и трижды широко перекрестил девочку.

— Христос с тобою! Спи с Богом!

И, опять так же осторожно ступая, вернулся в первую горницу, к чайному столу.

II

Родион Яковлевич Глебов был один из старейших и наиболее уважаемых купцов в городе. Дела

он вел большие, но тихо, так что никто в точности о его состоянии ничего не знал. Он торговал мукою оптом, склады его были в пригороде, за рекою. Приказчика настоящего имел только одного, который там же в пригороде и жил. Несколько лет тому назад Глебова выбрали церковным старостой за крупное пожертвование на новоотстроенную церковь Сергия в его приходе.

Всем была известна строгая, смиренная жизнь Родиона Яковлевича и его благочестие.

Серафима хорошо помнила свою мать: она умерла в самый день рождения Лизы, а Серафиме шел в то время четырнадцатый год. Мать была еще молодая, веселая, — но тихая, с карими глазами. Волосы у нее вились кольцами, как у Лизы, только она прикрывала их шелковым платочком. Жили они тогда не внизу, а в мезонине, там было светло и просторно, четыре горницы. По углам стояли тяжелые киоты, и теплились лампадки перед праздниками, а у отца неугасимая.

Серафима знала, что отец был из семьи древнего благочестия. Рассказывали, что смолоду он считался первым начетчиком и чуть не тверже отца с матерью ненавидел православную церковь и никониан, — а семья его старого закона очень строго держалась. Двадцати лет он был

сведущ в Писании, как не бывает иной и сорока, и не раз вел степенные споры с приезжими священниками. Что с ним вдруг подеялось — никто не знал. Отверг старописные книги, в церковь пошел, отцу и матери так прямо это и объявил. Когда спрашивали, кто его смутил — он отвечал одинаково: «Никто не смутил, сам своим разумом дошел, а против своего разума ничего не могу». Характер его знали: коли скажет, что своим разумом дошел, — так уж тут назад его не повернешь. Говорили, будто отец с матерью прокляли его, в нем и в детях его, но наверно никто этого не знал. Родион Яковлевич стал жить один, а вскоре старики умерли и, несмотря на проклятие, дом и капитал отказали сыну. Родион Яковлевич опять поселился в старом доме, дела расширил и лет через пять женился на небогатой сироте, православной, которая вскоре родила ему дочь Серафиму, а через тринадцать лет — Лизу и в родах умерла.

Родион Яковлевич, суровый, молчаливый, с самого раннего детства внушал Серафиме ужас. Придет, бывало, домой, слова не скажет, за обедом бровей не раздвинет. Защелкнется за ним дверь — а мать уж шепчет Серафиме, шепчет, головой кивает и улыбается тихо:

— Ты, Фимочка, не бойся отца. Он добрый, ты не смотри, что он такой угрюмый, он добрый.

Фимочка все была с матерью. Отдали ее было по десятому году не то в школу, не то в пансион, да скоро взяли. Довольно поучилась, а много девушке знать не годится.

— Что ты у меня какая бледная да боязливая, — говаривала мать Фимочке. — С отцом слова никогда не скажешь. Он тебя не съест, он добрый, только у него характер такой, потому что он в древнем благочестии был.

Мать улыбается, но Фимочка все-таки боится, не понимает и, наконец, робко спрашивает:

— Мамашечка, а что это такое «древнее благочестие»?

На этот вопрос мать всегда отвечала все тем же пространным рассказом, нараспев, как Родион Яковлевич «дошел своим разумом» и как гневались отец с матерью, а ничего поделать не могли.

Но Фимочка все-таки не понимала, что такое «древнее благочестие», и ей было еще страшнее.

Мать сидела у окна в своем шелковом платочке на пышных волосах, а девочка около нее, на низкой скамейке, и жалась к ее коленям.

— Характер у тебя боязливый, — говорила

мать. — А какое оно, древнее благочестие-то, я не знаю, потому что мы из православных. Слыхала, что люди, что по старине живут, все такие степенные да сумрачные. У них строго. Вот образа тоже. Наш образ, возьми ты хоть Спасителя али Богородицу с Младенцем, — лик светлый, волосы кудрявятся, ребеночек с улыбкою написан, и глазок у него карий, радостный. А которые по старине люди — те этого не приемлют. У них в иконе чтобы тьма была, лик черный, только глаза белые на тебя смотрят и ужасают, это точно. Я видала такие иконы, да и у нас есть в киоте, не ихние, а вроде как бы ихние, тоже старые.

Фимочка думала о древних иконах, ей вспоминалось лицо отца, и снова делалось страшно.

А мать продолжала:

— Родион Яковлевич добрый. Он разумом дошел до нашей православной радости, а в сердце у него и во всем его характере — старинная строгость, потому что, кто в чем вырос и возмужал, — тот того не превозможет. Ну, оно и показывается, будто он суровый. В нем крепость большая. Ты покоряйся ему только, дочка, слушай его во всем.

Серафима покорялась и слушалась, и все-таки боялась отца. Она верила, что он дошел разумом до «православной радости», но лик у него все-та-

ки был темный, и сердце в нем было старое.

Когда умерла мать, пришли священники, стали петь панихиду. Лицо у Родиона Яковлевича сделалось еще темнее, но он не плакал. Серафима плакала тихими, покорными слезами. Мать лежала на столе и печально улыбалась, вся белая. Священники пели над ней, что она уж не будет больше ни печалиться, ни вздыхать, а Серафиме припоминалось, как мать ей говорила:

— Ты, Серафимочка, не смотри, что я все сижу у окна да вздыхаю иной раз, будто печалюсь. Я тебе вот о радости моей говорю, а ты то понимай, что я и сама не знаю, радость ли она или печаль. Мне в радости-то моя печаль и дорога. Вздохну я — и сладко мне. В печали моей страха нет.

И Серафиме было больно, что там, куда ушла мама, у нее отнимут ее радостную печаль.

Остались они одни. Перешли вниз. Лизе кормилку наняли. Странная была девочка, больная. Серафиме отец сразу передал домашнее хозяйство, и так оно с тех пор и пошло. На ее руках и Лиза была. Когда девочка стала подрастать — увидали, что она совсем больная. Руки и ноги у нее дергало, и чем дальше, тем больше. Говорить не научилась, ничего не понимала и не слышала, только дико мычала. Серафима к ней

привыкла, а другие ее боялись, особенно когда она стала ходить и расти. Отец звал докторов, сказали, что она глухонемая, слабоумная, что у нее Виттова болезнь и сердце некрепкое. Два раза Серафима с отцом и Лизой ездили на далекое богомолье, к мощам и к чудотворной иконе. Серафима ждала чуда, но Лиза не поправилась. Отец стал еще сумрачнее, но все чаще заходил в горницу, когда Лиза спала, — а спала она тихо, спокойно, — и подолгу глядел на нее. Однажды сказал Серафиме строго и постучал пальцем по столу:

— Смотри, береги сестру! Как мать, береги ее! Ты мне за нее ответ дашь.

Лиза любила отца больше, чем Серафиму; когда он входил, бросалась к нему, мычала, дергаясь. Он часто брал ее за руку, гладил по голове и смотрел подолгу ей в лицо. Первый вопрос его был, когда он возвращался из отлучки, о Лизе.

Серафима покорно ходила за Лизой, без возмущения и без особой привязанности. Спала с ней вместе, кормила и одевала ее. У Лизы бывали припадки, она очень страдала, и тогда Серафима думала: «Бог приберет ее, — ей там лучше будет. Жалко, мучается. Какая уж это жизнь!»

Лиза росла, выравнивалась, полнела и была

очень красива, когда спала: она походила на мать. Годы шли незаметно, похожие один на другой. Бледное, длинное, тихое лицо Серафимы, некрасивое, с широкими светлыми глазами и слегка оттянутым книзу ртом — делалось еще бледнее и тише. Серафима не скучала и не терзалась: жила, не замечая годов, смотрела за Лизой и за хозяйством; читала «Ниву» и переводные романы; когда думала, то тихо и смутно вспоминала мать. Ходила в церковь к службам; отца боялась, но меньше, потому что слушалась его и знала, как ему угождать.

Так шла жизнь Серафимы до последней зимы, когда ей минул двадцать девятый год.

III

Дня через два после возвращения Родиона Яковлевича Серафима шла из церкви домой по деревянным, мокрым мосткам своего переулка. Был час четвертый в самом начале. Морозы оборвались сразу, пришла весна, безветренная, неслышная, ласково и тихо, почти незаметно съедающая снега. Небо стояло неподвижно ясное, голубое, будто умытое, все в предвечернем золоте. Под снегом, в канавке, уже текли тонкие ручейки, но тоже тихие, без лепета. Нежный воздух

был остр и так легок, точно вовсе его не было.

В церкви, откуда шла Серафима, только что кончилась служба покаяния. Медленно читали, медленно выходил священник в темных одеждах, говорил мучительную молитву и кланялся в землю, и все, за ним, на сырые плиты недавно отстроенной церкви склонялись до земли. Все, все возьми от меня, Господи, молились люди, все, что вложено в нас Тобою, и дай силу уничтожить во мне данное Тобою. И дай видеть его яснее, чтобы лучше уничтожить. Дух смирения и воздержания пошли мне, Господи.

И такая сила была в этих словах, что они были почти прельстительны.

Серафима не рассуждала. Она, как всегда в посту, ходила в церковь и говорила за священником молитву покаяния, и грустила, и долго потом повторяла: «Дух целомудрия, смиренномудрия, терпения…» И теперь она еще думала о молитве, но ей не было грустно. Нежное небо, радостный воздух дали ей вдруг испугавшую ее радость. Она даже подумала: «Ой, что это я, грешница! Чего веселюсь?»

Но потом ей пришло в голову, что как-никак — а пост кончается Пасхой, значит, оттого и в посту радостно.

Навстречу, по пустынным мокрым мосткам, шел очень высокий молодой человек в шубе. У него было белое лицо, веселые добрые, совсем голубые глаза и широкая золотая борода. Не рыжая, а именно золотая, бледноватого золота. Он поклонился Серафиме, улыбнулся, и глаза его стали еще добрее и веселее.

Серафима слегка ахнула и покраснела.

— От Сергия, Серафима Родионовна? Богу молились?

— Да… — сказала Серафима невнятно. — Я домой.

— Позвольте мне проводить вас. Вы говорили — рецептик один для Лизаветы Родионовны нужно вам в аптеку. Так я бы рецепт принял, нынче к вечеру было бы готово.

— Нет, что ж, — заговорила опять Серафима. — Это после как-нибудь, Леонтий Ильич. Не к спеху. Очень благодарю вас.

Они тихонько шли вместе. Леонтий Ильич Дунин, сын Евлампии Ниловны, провизор, казался еще стройнее, моложе и выше ростом рядом с худенькой фигуркой Серафимы в черном, нескладном платье. Длинное, бледное лицо ее, впрочем, порозовело и все точно осветилось тихой радостью.

— Весна будет, — сказал Дунин. — Небеса-то какие высокие.

— А я вот из церкви шла, Леонтий Ильич, и думала: отчего это, грех какой, нет во мне печали, а веселость на душе? А это, верно, погода очень уж светлая.

— Светлая погода. Хорошо.

Серафима торопливо прибавила:

— Да и пост к Светлому празднику идет.

Леонтий Ильич поглядел на нее с ласковым недоумением. Они не очень давно были знакомы. Леонтий Ильич учился в московской школе, приехал в город недавно. Серафима с ним до сих пор все больше молчала.

— А вы такая тихая и печальная, — сказал он ей. — Смотришь, смотришь на вас — и так бы вас, кажется, и развеселил, разговорил, обрадовал, чтобы вы улыбнулись. Вот как сейчас.

Серафима улыбнулась и опять покраснела.

— Так что ж, развеселите, — сказала она. Сердце у нее тихо билось, и воздух еще ласковее приникал к ее лицу. — Какие мне радости? — прибавила она вдруг. — Вот и домой пришли.

Они, точно, стояли у калитки.

— Мамаша сегодня хотела быть у вас, — сказал Леонтий Ильич. — Если зайдет — вы ей рецеп-

тик-то отдайте. А вечером лекарство будет готово. Я вечером отлучиться рано не могу, а может, вы сами зайдете…

— Уж не знаю, как, — почти шепотом проговорила Серафима и толкнула калитку. — Спасибо вам.

Она осмелела в последнюю минуту и подняла на него глаза. Он стоял высокий, веселый, тоже немного робкий и глядел на нее, чуть улыбаясь своей доброй улыбкой. Серафима ему нравилась.

Когда калитка захлопнулась и Серафима очутилась одна среди большого, снежного двора, ей показалось, что в голове у нее нет ни одной мысли, что и не может она ни о чем думать, и не хочет, а так только хочет стоять посреди двора и улыбаться.

Снег посинел, небеса побледнели, невидная весна была везде, во всем, смиренно-мудрая и любовная; и покорная душа Серафимы была полна ее таинственной и божеской радостью.

«Будет Христос Воскресе», — опять подумала Серафима, глядя на снега и небо и не умея иным оправдать своей радости. Небо и снег были чистые-чистые, и казалось, что ничего другого и нет на свете, кроме чистоты, тишины и счастья.

Но в эту минуту от решетки палисадника, в глу-

бине двора, отделилась крупная фигура Лизы в черном ватном салопе и в платке. Из салопа она выросла, виднелись ноги в широких серых чулках и грубых башмаках.

Кривляясь и дергаясь, размахивая руками, девочка подходила к Серафиме. Лицо тоже дергалось, было грязно и даже не уродливо, а отвратительно. Серафима очнулась, поглядела на Лизу, и в первый раз она ей показалась страшной. Зачем она здесь, мычащая, замазанная, гадкая, когда повсюду так тихо и чисто? Но Серафима не сказала себе этого словами, только радость ее вдруг исчезла, и она рассердилась.

— Кто тебя одну гулять выпустил? — проговорила она громко, хотя знала, что Лиза и не слышит ее, и не понимает. — Домой, домой! — прибавила она, привычными жестами, на пальцах, быстро показывая, что надо идти домой. Лиза было замычала, но Серафима взяла ее за руку и повела, не оглядываясь.

Родиона Яковлевича не было дома. Дарья объяснила, что она одела Лизу и пустила на двор, а сама на минутку отлучилась. Серафима угрюмо и сердито сняла с кривляющейся и воющей Лизы салоп, переобула, умыла ее. Лиза пошла ходить, шатаясь, по двум комнаткам и задевала, болтая

длинными руками, то за притолку, то за гири часов. Смерклось. Серафима сидела у стола молча, не зажигая лампы, а Лиза все ходила неровно, стучала башмаками, дергалась и слегка подвывала, будто жаловалась.

Серафима знала, что в такие дни она долго не будет спать, что ее нужно вечером мучительно укладывать, а она все станет подыматься с постели, дергаться и мычать.

IV

На другой день пришла Евлампия Ниловна Дунина, мать Леонтия Ильича, дама полная, белобрысая. У нее были широкие, красные, трясущиеся щеки и нехорошие зубы. Ходила она не в шляпке, а в белом шелковом платке.

Чай давно отпили. Родион Яковлевич был дома, сидел в своем углу, за столом, насупившись, и молчал. Он недолюбливал Евлампию Ниловну, но уж очень они давно были знакомы, старик Дунин знавал покойную жену Родиона Яковлевича. Теперь Дунин лет пять как был в параличе, без ног. У Евлампии Ниловны, кроме сына, росли три девочки, лет восьми-десяти.

Евлампия Ниловна от чаю покраснела еще больше и распахнула шаль. Лиза чем-то занялась

в углу, слышно было ее ворчанье. Серафима сидела против отца, бледная и тихая, как всегда.

— Да, надо сказать правду, надо, — журчала Евлампия Ниловна, — Леня один наша надежда. Уж это я всем говорю и вам говорила, — да что ж, коли правда! Думали — совсем погибнем, как старик-то мой сел. Нюше три года было. Ну, думаю, что ж, видно, околевать. А тут Леня из Москвы пишет: потерпите, устрою вас. И выслал кое-что, — ведь ухитрился! Я и решила: как-нибудь перебьемся, потерпим. Знали вы нашу нужду, Родион Яковлевич. Да вот Бог послал. И какой он, Леня, счастливый у меня! Сейчас это приехал, и сейчас ему место провизором. И квартиру Карл Степаныч дал, потому что семья, отец больной. Уж такое-то подспорье эта квартира, такое-то подспорье… Не великое дело, конечно, две комнаты…

— А куда их больше? — угрюмо сказал Родион Яковлевич. — Две комнаты и мы живем.

— Ваше дело другое, — мягко возразила гостья. — Вам не надо больше, вон весь дом ваш, да не надо вам. А у меня семья, больной, Леня — человек взрослый… Тесно, тесно, говорить нечего, да спасибо, хоть с голоду не подохнем. Такой уж сын у меня удался. Счастливый он у меня.

Родион Яковлевич все хмурился. Лиза наткнулась на стул, повалила его, сама едва не упала, испугалась и завыла. Серафима пошла к ней. Гостья закачала головой.

— Сокрушает вас Лизочка-то, — проговорила она почти сладко. — Кому какой крест послан.

Родиону Яковлевичу это совсем не понравилось. Он поднялся и крикнул на Серафиму:

— Ну, что там? Чего она?

Серафима не сразу ответила:

— Ничего, папаша. Только блажит у нас Лиза со вторника. Спать не уложишь. Боль у ней, что ли, какая, или так, перед припадками. Сна совсем нет.

Угомонив Лизу, Серафима подошла к отцу.

— Не взять ли ей тех капель, папаша? — спросила она тихонько.

— Каких еще?

— А помните, в третьем годе московский доктор прописал? Еще много давать не велел, мы понемногу давали, она спать стала. И припадки были тогда легче.

— Что ж, возьми. Записаны они у тебя?

— Рецепт есть. Евлампия Ниловна, может, как домой пойдет — так захватит. Их делать еще надо. К вечеру Дарью пошлем.

— Давай, давай, милая, я захвачу, — с готовностью согласилась Евлампия Ниловна. — Сразу его Лене и отдам. Он у меня живо… Да что ты, Серафима Родионовна, спесивишься, никогда меня, старуху, не навестишь? А ведь я тебя семилеточкой видела, с мамашей. Все я да я хожу, а ты, словно графиня, дома сидишь.

— Мне нельзя, — тихонько промолвила Серафима и опустила глаза. — Я с Лизой. Да и не привыкла я.

— Что там не привыкла! Была ведь у меня. Ну и нынче заходи, за каплями-то.

— Какие гости по вечерам, — сказал Родион Яковлевич. — Пустое. Разве что за делом.

— За делом, за делом! — подхватила Евлампия Ниловна. — Она девушка не вертушка. Приходи же, папаша, вон, позволил. А я, милые, пойду теперь. Что-то еще дома у меня! Прощайте, прощайте. Прощай, Лизочка. Не видит! Кудахчет, словно курочка…

Гостья ушла. Перед вечером, еще не совсем смерклось, Родион Яковлевич сказал:

— Не забыть бы капли-то.

— Я пошлю Дарью, папаша, — тихонько молвила Серафима.

Глебов помолчал.

— Дарью… А там написано, как их брать-то? Не перепутать им чего. Сходи сама, пожалуй. Да спроси там, по скольку и что.

Серафима вспыхнула в сумерках и по внезапной своей радости поняла, что ей очень хотелось идти. Но она не сказала ни слова, только встала, зажгла лампочку, повесила ее над столом, потом прошла в другую комнату одеться. Лиза сидела на скамеечке со свертком из тряпок, который был для нее не то куклой, не то вообще игрушкой. Серафима стала одеваться, торопясь, хватая не то, что нужно, точно боясь, что отец передумает и не отпустит ее. Когда она, готовая, вышла из спальни, Родион Яковлевич сидел в углу под лампой, проглядывал большую шнуровую книгу и щелкал желтыми деревяшками счетов. Серафима подошла и поцеловала у него руку. Отец едва поднял на нее глаза и молвил только:

— Скорей назад будь. Не засиживайся у этой… Она рада до полночи язык трепать.

V

Аптека у немца Карла Степаныча Рот была прекрасная, светлая, на главной улице города. За помещением аптеки, через сени, — была квартирка провизора Леонтия Ильича Дунина

с семьей. Комнатки низкие, но довольно просторные. В первой обедали, ужинали, больной старик сидел в кресле; за перегородкой спал Леонтий Ильич. Во второй спала вся семья.

Серафима сидела в «зале» за столом, который стоял посреди комнаты, накрытый белой скатертью, а над ним с потолка висела лампа.

— Ты шляпку-то, шляпку сними, Фимочка, — убеждала Евлампия Ниловна. — Что это, право, в кои-то веки отпустят и то не посидишь. Угостить-то хоть дай тебя чем-нибудь.

— Нет уж, Евлампия Ниловна, мне пора. Право, пора.

Серафима, однако, не вставала и все смотрела вниз, на белый круг скатерти, освещенный лампой.

Леонтий Ильич сидел тут же, чистенький, красивый, милый, поблескивая добрыми синими глазами.

— Если бы не капельки, а порошки вам понадобились, Серафима Родионовна, — говорил он, — так я бы вам славную коробочку выбрал. У нас есть очень красивые. Прелестные картинки. Да я и так вам присмотрю какую-нибудь, к будущему разу. Пудры можно положить, мелу чистого или еще чего…

— Спасибо вам, — почти шепотом благодарила Серафима. — А теперь мне, право, пора…

Евлампия Ниловна с видом сокрушения покачала головой.

— Несчастная ты девушка, погляжу я на тебя, Фима. Слава Богу, не маленькая, а отца боишься, воли себе нисколько не берешь. Что это, в самом деле, к добрым людям в гости пришла и сидишь, как на иголках.

— Я за каплями, — сказала Серафима.

Больной старик Дунин, дремавший в кресле, застонал.

Евлампия Ниловна вздохнула.

— Беспокоят его здесь. Ах, теснота, теснота у нас! Девочки мои к тетке пошли, а то и повернуться негде. Не свой брат, бедность-то. Был и мой старик по торговой части, так же, скажем, как и Родион Яковлевич. Да Родион-то Яковлевич ныне первый у нас купец по своей части, только вот добра не на кого тратить, а моему другое определение: сиди без ног, а семья с голоду околевай…

— Что ж, мамаша, — робко вставил Леонтий Ильич, улыбаясь и поглаживая золотую бородку, — теперь что ж Бога гневить. Теперь мы, слава Богу…

— Слава Богу! Тобой одним и держимся. Ты у меня счастливый. Да велико ли у тебя жалованье на такую семью? Велико ли?

Серафима краснела, точно ее заставляли слушать то, чего ей слушать не следовало, наконец поднялась со стула, зажав крепко рукой в черной фильдекосовой перчатке сверточек с каплями.

— Уходишь? Ах ты, сиротка бедная! Некому ни приласкать тебя, ни повеселить! Другая бы девушка разве так жила, особенно если у родителя состояние? А ты и слова не скажешь, все с этой убогой-то вашей возишься. Крест Родиону Яковлевичу послан, а он на тебя его положил. Сладко, что ли, девушке век свой на убогой погубить? Сиделку бы нанять — чего лучше…

Серафима торопливо сказала, волнуясь:

— Я не жалуюсь, Евлампия Ниловна. Лиза такая после мамаши осталась. Кому ж ходить за ней, как не мне? Она сама за собой не присмотрит. А я не чужая.

— Да я ничего и не говорю. Так, пожалела тебя, что жизнь твоя не веселая. А разве Лизу-то не жаль? Каждый раз смотрю и думаю: просто жалости достойно! Разве это человек? Без разума, без языка, вся больная? За чьи грехи она здесь на свете мается? Прибрал бы ее Господь, успоко-

ил бы и вас, и ее.

— Божья воля, — так же торопливо промолвила Серафима. — Папаша очень к Лизе привязаны.

— Привязан не привязан, однако отец первый должен радоваться, если ее Бог простит. Конечно, все Его воля… Ну, прощай, Фимочка. А ты о чем думаешь? — вдруг обратилась она к сыну. — Темно. Проводи барышню домой. Ведь свободен?

Леонтий Ильич стоял уже с шапкой.

— Я и хотел, мамаша, просить позволения у Серафимы Родионовны проводить их. В переулках ныне фонарей не зажигают.

Ночь была теплая, облачная, но светлая, — за облаками стояла полная луна. Леонтий Ильич предложил Серафиме руку — она неловко оперлась на нее. Он был такой высокий, да она еще ни с кем никогда и не ходила под руку. Доски тротуаров, обнаженные, пахли сыростью и весной. Воздух теплый и, от облаков на небе, не острый, опять ласкался к лицу Серафимы, только теперь он был весь душистый, не одна свежесть и чистота в нем были, а предчувственный аромат земли, которая должна родить травы, обнаженных деревьев, которые должны родить почки и листья. По сторонам глухого переулка тянулись заборы, за ними, при сером свете заоблачной

луны, видны были эти, пока невинные, нагие деревья, с черными, тонкими и уже совсем живыми ветвями.

— Так по двенадцати давать? — сказала Серафима дрожащим голосом.

Она говорила о каплях для Лизы. Ей хотелось сказать что-нибудь и было все равно, что, все — равно хорошо и нужно.

— По двенадцати. А то и по десяти. А больше двенадцати никак не советую, Серафима Родионовна.

— Что ж, разве ядовитые?

— Яда нет, да ведь как для кого. Не знаю, предупреждал ли врач. Я по тому сужу, что вы говорили, — у Лизаветы Родионовны сердце слабое. Тогда положительно больше двенадцати давать не следует. Мы с вами, может, целый пузырек выпьем — и ничего, а Лизавета Родионовна, при ее организме, от двадцати может заснуть и не проснуться наутро. Я знаю, у нас фармакологию строго проходили, и случаи нам приводились. Врач вас, верно, предупреждал?

— Не помню… Да я мало давала. Ужасы какие вы говорите. Может, лучше вовсе не давать?

— Нет, нет. Спать хорошо станет. И не яд это какой-нибудь! Я так сказал, для осторожности,

что при слабом сердце больше двенадцати не следует брать.

Они шли несколько времени молча. Левая рука Серафимы, лежавшая на руке Леонтия Ильича, слегка вздрагивала, и сердце около нее билось часто и радостно. Серафима уже забыла о каплях, ей опять хотелось сказать что-нибудь, но она не знала, что.

— А вы, Серафима Родионовна, не огорчайтесь мамашиными словами, — начал Леонтий Ильич другим, более тихим голосом. — Я ведь заметил, что вы расстроились. Мамаша — старый человек, намученный, ей простить надо, успокоить ее надо. Конечно, всякому о своей радости следует думать, вы же человек молодой, но, скажу вам по сердцу, очень мне в вас эта покорность родителю нравится.

Он помолчал, Серафима не ответила. Сердце билось все сильней, так что почти выдержать было нельзя.

— Я и сам прежде всего на свете родителей уважаю и почитаю, — продолжал Леонтий Ильич. — Что ж, волю себе недолго взять, да ведь радости в ней нету.

Он опять помолчал.

— Одно только: уж очень вы всегда печаль-

ная. И лицо у вас такое печальное. У меня иной раз… вы не сердитесь, Серафима Родионовна, а, ей-Богу, сердце перевертывается, когда на вас гляжу. Такой уж я есть, не могу печального лица человеческого видеть, особенно, коль человек мне мил…

Серафима молчала, но и он теперь чувствовал, как дрожит ее рука. Они шли тише, нежный воздух еще ласковее, еще любовнее приникал к ее лицу.

Фонарь блеснул у самой калитки дома. Леонтий Ильич остановился, тихонько снял руку Серафимы со своей, но не отпустил, а слабо сжал ее пальцы, похолодевшие в стареньких фильдекосовых перчатках.

— Я к вам всей душой, всем сердцем, Серафима Родионовна, — сказал он ей. — Я весь тут, какой есть. Я лгать не стану. Я вас, ей-Богу, так полюбил… Вы уж не сердитесь, коли что. Я ведь не знаю. Вы…

— Я-то?

Серафима только и сказала и подняла на него глаза. При дрожании фонаря он увидел эти глаза, такие хорошие, такие влюбленные и беспомощные, — и не стал больше ничего говорить. Он наклонился и робко, едва касаясь губами, поце-

ловал ее в лоб.

Потом повернулся и пошел назад, а Серафима толкнула калитку, которая бесшумно отворилась и бесшумно заперлась за нею.

Дома Лиза еще не спала. Отец говорил что-то сурово, что она опоздала, что самовар не убран, — Серафима не ответила, она слушала и не совсем хорошо слышала, думала о том, что из темноты свет лампы режет ей глаза и больно смотреть. Молча, проворно и привычно делала она все, что надо, убрала со стола, раздела Лизу, осторожно накапала ей капель, которые принесла. Лиза любила лекарства и охотно выпила капли. В постели начала было буянить, но вдруг затихла и заснула. Серафима поцеловала руку у отца, ушла к себе и притворила дверь. Хотела было раздеваться, да не стала, а присела на скамеечку у широкой постели и так сидела, не двигаясь. Лампадка горела у киота, в головах постели, тени шевелились на подушках и на Лизином лице. Лиза спала, и лицо у нее было опять спокойное, прекрасное и невинное.

У Серафимы до сих пор не было ни одной ясной мысли, волна радости точно закрыла ее всю; но теперь, в тишине, ей стало спокойнее. Она совсем просто подумала, простыми словами то,

что никогда раньше не думала:

«Вот, замуж за него пойду».

И эта мысль не казалась ей ни непривычной, ни стыдной, ни страшной. Другие какие-нибудь слова не приходили ей в голову, да и почему другие? В этих для нее понятно уложилась вся радость:

«Вот замуж за него пойду».

Как это будет, как устроится, она не думала. Просто — «замуж пойду» вместо «люблю».

Потом ей захотелось помолиться. Она встала на колени у постели и подняла глаза на киот. Там, посередине, за лампадным светом, стоял образ Спаса, большой — благословение матери. В золотой ризе с каменьями, весь яркий, розоволикий, яснооки́й, с благостными, молодыми, синими глазами. Слева, углом, был другой образ Спасителя, но древний; от серебряной ризы лик его казался еще чернее; Серафима видела только темное пятно — да белые точки глаз. Но она и смотрела на него редко, потому что он был сбоку, она всегда молилась тому, материнскому.

Своими словами Серафима не умела молиться. Невольно ей пришли на память заученные слова, и она стала шептать:

— Господи, Владыко живота моего! Дух празд-

ности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми…

Но потом она остановилась и не кончила молитву. Не входили в сердце слова и не давали утоления радости. «Дух праздности…» В ней и не было духа праздности. «Уныния». Какое же уныние, когда радость? «Любоначалия, празднословия…» Не для Серафимы были эти слова, и она невольно остановилась. А для счастья своего она не знала слов, которые могла бы сказать Христу. И она просто смотрела на ясноокий лик.

— Господи, Господи!

Христос показался ей знакомым-знакомым, милым, драгоценным, златокудрый, с синими, добрыми глазами. Она так долго смотрела ему в лицо, что уже забыла почти, что это — Христос. Ее любовь была в нем, была — он.

И ни греха, ни смущения в душе оттого, что Христос — такой знакомый, такой похожий… Только усталость от счастья.

Лампадные тени бродили по подушкам. Лиза спала, красивая, тихая. Серафима подумала, что ей хочется плакать — но слезы не текли. Она встала, быстро разделась, легла рядом с Лизой и сейчас же заснула.

VI

Прошло несколько дней, потом недель. В воскресенье Серафима, как всегда, пошла к обедне. В церкви она молилась не по-домашнему, а по-привычному, крестилась, кланялась. Теперь она, входя, постаралась забыть свою радость, которая здесь казалась ей «греховной». В церкви это был грех, в церкви все грех, да и все иное было в церкви для Серафимы, чем дома. И свет иной, и лампады, и лик Христа — не тот. Обедню она выстояла, как прежде выстаивала, потому что так надо. Впрочем, ей было немного скучнее и тяжелее.

Подходя к дому, Серафима вдруг почувствовала себя нехорошо, точно от злого предчувствия. Но это было только мгновенье. Радость сейчас же вернулась. А когда Серафима вошла в комнату — радость перешла в ужасное счастье и волненье: за столом, против отца, сидела Евлампия Ниловна, принаряженная по-праздничному, а сбоку, на стуле, с шапкой в руках — Леонтий Ильич. Раньше он никогда не бывал у Родиона Яковлевича, и Серафима поняла, что решается ее судьба.

— Вот и Серафима, — произнес Родион Яковлевич непривычно весело и громко. — Раздевайся

живей, — видишь, гости. Евлампия Ниловна и сынка мне своего для знакомства привела. Попотчуй гостей-то. Я и сам после обедни чаю еще не пил.

Серафима хотела выйти, но в эту минуту Дарья уже внесла самовар.

— Ты, Дарья, погуляй с Лизой по двору, — продолжал Родион Яковлевич мягко. — Одень ее, Серафима. А сама останься, посиди в нашей компании. Мы уж тут, признаться, разные разговоры разговаривали, да все не по-сурьезному.

Лизу увели. Серафима сняла шляпку и присела тихо поодаль, не поднимая глаз.

Евлампия Ниловна казалась не то сердитой, не то смущенной; красная, она сжимала губы и обдергивала платье.

— Никаких у нас особенных разговоров не было, — сказала она. — А почему не поговорить. На то и в гости люди ходят, чтоб не молчать.

— Это как в какой час, — молвил Родион Яковлевич, и теперь в голосе его была обычная суровость. — Надо — поговорим, не надо — помолчим. Так-то, гости дорогие.

Евлампия Ниловна еще сердитее сжала губы. Потом произнесла:

— А вот Серафима-то у вас вечная молчальни-

ца. Этак девушке невесело.

Родион Яковлевич глянул из-под бровей.

— Слышал я уже это сейчас от вас. Невесело ей. А какое ей веселье? Чему радоваться? Кого тешить? Серафиме не замуж идти. — Прошла минута тишины. Только самовар шумел. Заговорила Евлампия Ниловна:

— А почему же и замуж не идти? Всякая девушка на свою судьбу надеется.

— Потому не идти, что Серафимина судьба иная. У нее сирота на руках, убогая. Ей о себе думать не показано. Да и что даром говорить? Она уж не молоденькая. И молоденькая была бы — для бесприданниц женихов-то нынче не припасено.

Он опять глянул из-под бровей. Евлампия Ниловна даже подскочила.

— Серафима-то у вас бесприданница? Вот оно как! А только что пустые слова говорить, Родион Яковлевич; слава Богу, на людях живем. Люди-то за это осуждают.

— Мне люди не указ. А слова мои не пустые, а крепкие. В кармане у меня никто не считал, да коли и считали — так то мое, и воля моя, и рассуждение мое. Случая не было — и воля моя неизвестна никому была, а нынче к слову при-

шлось — так таить мне нечего. Вот и Серафима пускай послушает.

Евлампия Ниловна не нашлась ответить. Леонтий Ильич и Серафима сидели, опустив глаза.

— Вот как я положил насчет дочерей моих, — медленно начал Родион Яковлевич. — Извините, гости дорогие, коль поскучаете, — вставил он вдруг ласково, — уж к слову пришлось. Да. Состояние у меня, слава Богу, есть, не великое и не малое, и все оно, по смерти моей, отказано мною дочери Елизавете. Опекуны тоже назначены надежные — по болезни по ее. Дочери же Серафиме, пока она живет с сестрою, как жила, в брак не вступая, назначено содержание, сколько для жизни требуется. Она у меня к лишнему не приучена, да лишнего и не надо, и так в довольстве будет при сестре. Оговорено же у меня: если Серафима в брак после моей смерти захочет вступить или сестру на чужое попечение отдать, в лечебницу там, что ли, обязанностями своими тяготясь — то пансиона она своего лишается.

Родион Яковлевич приостановился. Опять только самовар шумел и то тише, потому что гас. Евлампия Ниловна, задыхаясь, спросила:

— А в случае, если Елизавета раньше сестры умрет? Все же Серафиме все после нее доста-

нется.

— К людям веры не имею, — строго сказал Родион Яковлевич. — Злы люди, нет в них любви, а тем паче к убогому, который защитить себя как — не знает. О Лизавете, кроме отца родного, никто не позаботится. А умрет отец, останется она беззащитная, с состоянием — соблазн людям. Серафима не зла, да проста; коли будет после сестры наследницей — обойдут ее люди, наговорят, что вот, мол, одна помеха делу — сестра убогая, бельмо на глазу… Житье ли тогда Лизавете? Нет, тут разумение справедливости надо. И так у меня оговорено, что буде Лизавета и умрет — сестра ей не наследница. Содержание свое малое сохранит до конца дней, в монастырь захочет — единовременный вклад сделает — много ли надо? А Лизино состояние пусть тогда на вечный помин наших душ в Сергиевский приход пойдет.

Евлампия Ниловна хотела что-то сказать и не могла, только глядела широко раскрытыми глазами на старика.

— Что ж… что ж это? — вымолвила она наконец. — Да это законов таких нет… Это… за что ж вы так дочь-то свою родную обидели?

— По закону моя воля наградить дочерей, как хочу, — твердо сказал Родион Яковлевич. —

А обиды тут нет. Я разумом до правды дошел. Серафима — плоть от плоти моей, я ей отец и наставник, я ее на истинном пути должен хранить. Я Господу за нее отвечаю. Путь ее ясен — как потрудиться в жизни. И до тридцати лет она с покорностью волю Божью совершала и без соблазнов пустых прожила. Будет соблазн — отец должен охранить ее по своему разумению.

Серафима ничего не поняла. Она и слушала, как сквозь сон. Она только знала, что пришло какое-то неотвратимое несчастье, всему конец и ей конец.

Евлампия Ниловна притихла и спросила уже несмело:

— Значит, ваша такая воля, чтоб Серафиме замуж не идти?

— Ежели бы она теперь вздумала и на долг свой восстала, я силком держать не стану. Да случая такого не вижу, потому что тогда ей ничего от меня не будет, а кому ныне жена-нахлебница не тяжела?

— А если бы, — продолжала Евлампия Ниловна, вдруг осмелев, — скажем, Лизавета еще при вашей жизни умерла? Все в Божьей воле. Ужели и тогда Серафиму обидели бы?

Леонтий Ильич встал и отошел к печке, не слу-

шая.

Родион Яковлевич прикрыл глаза рукой, помолчал и сказал тихо:

— Что говорить? Его, Его воля. Захочет — иной труд укажет Серафиме. Нет ей от меня обиды и не будет. Оставит мне Господь одну Серафиму — увижу указание от Него, не возропщу. Все ее тогда, не для кого хранить. Я только волю Господа исполняю по моему слабому разумению.

Наступило новое, долгое молчание. Самовар совсем потух. Леонтий Ильич так и не сказал ни слова.

— Что ж, гости дорогие, чайку? — вдруг ласково и громко произнес Родион Яковлевич. — Угощай, Серафима. Извините, заговорил я тут вас семейными делами. Оно бы и не следовало, да к слову пришлось. Простите старика.

Серафима поднялась.

— Кушайте, пожалуйста, — сказала она едва слышным, ровным, точно не своим голосом.

— Нет, нет, нам пора. И то засиделись. И пора-то прошла. Собирайся, Леонтий. Спасибо на угощении, Родион Яковлевич. Некогда нам. Разговор разговором, а дело делом. Нас извините, Христа ради. Не можем.

— Ну, как угодно. Жаль очень. В другой раз ко-

гда-нибудь милости просим. Проводи, Серафима, в сенях темно, кадка там стоит. Прощайте, благодарим покорно.

Серафима, как была, в платье, с открытой головой, вышла за Дуниными в сени и на двор.

Евлампия Ниловна обернулась к ней, лицо у нее было все красное, точно из бани, сердитое и взволнованное.

— Ну, прощай, прощай, Фимушка. Иди. Покорно благодарим папеньку твоего на угощении, на добром слове. Вот она, жестокосердность-то родительская! Старая-то вера где сказывается. Такие родители ответят Богу, ответят! Эх ты, моя бесталанная, страдалица, за чужие грехи ответчица! И жалко тебя, да помочь нечем. Коль не образумит Господь отца, — пропала твоя доля, Фимочка!

Она утерла навернувшиеся злобно-жалобные слезы и поцеловала Серафиму.

— Пойдем, Леонтий.

— Я… завтра… — начала Серафима.

Евлампия Ниловна ушла вперед, но Леонтий Ильич услыхал тихие слова Серафимы, понял, что она хочет сказать: «Я завтра приду», взял ее за руку и молвил:

— Приходите, Серафима Родионовна, потолку-

ем. Может, что и придумаем. И простите вы меня, несчастного, Христа ради.

Серафима вернулась в горницу и хотела пройти мимо отца, который сидел теперь за книгой. Он остановил ее.

— Смотри ты, тихоня! В голову себе не забирай. Не видишь, что ли, как люди к чужим деньгам подбираются. Оно сладко. Девка до седых волос дожила, а уши развешивает. Разум-то собери, да о долге о своем думай.

Серафима не ответила, только взглянула исподлобья тем же недобрым взором, какой бывал и у отца.

— Чего глядишь? Эй, смири себя! О труде своем тебе думать, Богу молиться, грехи замаливать…

— Чужие грехи… — вдруг сквозь зубы произнесла Серафима.

Отец поднялся со стула и крикнул с изумлением:

— Что? Что ты сказала?..

Но Серафима уже скользнула вон, в другую комнату и тихонько притворила за собою дверь.

VII

На другой день Серафима ходила к Дуниным в аптеку. У Лизы с утра начались припадки,

к вечеру она утихла, но Серафима все равно бы пошла и даже отца не подумала спроситься. Его, впрочем, и дома не было.

Леонтий Ильич встретил Серафиму по дороге, видно, поджидал ее, и сразу стал говорить те самые слова, которых Серафима от него и ждала: горько жаловался на судьбу, на то, что их разлучают, что не дается счастье.

— Нет мне ни покоя, ни радости без вас, Серафима Родионовна. А только посудите сами: как мы против родителей пойдем? Все равно не будет счастья. И осуждать вашего родителя не хочу, хоть и кажется мне, что неправильные у него мысли. Пойти наперекор — что ж, я вас люблю, мне тяжко смириться, я бы рад смириться, — да как жить? Сами знаете, бедность у нас, отец больной, сестры-девочки мной держатся, а ведь я уж тогда должен их оставить помощью… Вот какое дело.

Серафима и не думала, что можно пойти наперекор. Про себя ничего не думала, а про него знала, что ему нельзя. Она и сама не понимала, на что надеялась, когда шла к Дуниным, и зачем хотела видеть Леонтия Ильича. Когда он стал говорить ей, что единственное средство — это, чтоб она попробовала упросить отца, — она молчала,

но и тут ей не было надежды, она знала, что отец не переменит решения, до которого однажды «дошел разумом».

— Нам ведь не богатство какое-нибудь нужно, нам так, немного, чтоб есть что было, чтоб у моих-то не отнимать, — говорил Леонтий Ильич. — Попросите, Серафима Родионовна, может, он и смягчится. У отца да не выпросить! Ведь не каменное же у него сердце. Попросите, а? Уж я буду в надежде.

Доброе лицо Леонтия Ильича, такое сначала грустное, теперь опять улыбалось; он так рад был верить, что все еще может устроиться, тихо, мирно. Безобидная душа его отвращалась от возможности страдания, как от чего-то странного, неестественного.

Потом они пошли к Евлампии Ниловне. Там тоже не было ничего неожиданного для Серафимы. Только Евлампия Ниловна кляла и ругала на чем свет стоит Родиона Яковлевича и всплакнула над судьбой Серафимы. К тому, что Серафима будет говорить с отцом, отнеслась без восторга, хотя и сказала:

— Почему ж не поговорить? Попытайся. Да вряд ли толк будет. Нет уж, Фимочка, видно, так Богу угодно. Не судьба моему Леонтию…

В это время Леонтия Ильича кликнули в аптеку. Уходя, он пожал руку Серафиме, поглядел на нее ласковыми синими глазами и опять шепнул:

— Так поговорите? Уж я буду в надежде…

Опять Серафима сидела за столом с висячей лампой, молчала, упрямо глядя вниз, а Евлампия Ниловна изливалась в бесконечных жалобах и советах.

— Ты ему отлей, отлей свои слезки, Серафима! Ты ему выскажи. Покориться покорись — а выскажи. Ишь ты, добренький! Все, говорит, ее будет, коли Лизавета прежде меня умрет! Да жди, умрет она! Такие-то и живучи. И где она больная, девка кровь с молоком, сильная, только что разума ни крошки, хуже, прости Господи, чем у пса или у какой иной твари. У эдаких-то и души нет. Ходи — не ходи, — за нее Богу не ответишь. Больная! Всех нас переживет!

— У нее припадки теперь, — сказала Серафима. — Очень мучается.

— Мучается, да не к смерти. А тоже поглядеть — и зачем мучается? И самой, и другим терзание. Богу молиться надо, денно и нощно, чтоб прибрал ее Господь, простил на ней родительские грехи. А ты-то как бы вздохнула! Зажили бы вы с Леней,

мы бы на вас радовались…

Серафима поднялась и стала прощаться, Евлампия Ниловна вышла ее проводить в сени.

— Молись, молись Богу, девушка, о своем счастье, чтоб развязались у тебя руки. Припадки, говоришь, у Лизаветы? Что ж, капельки-то эти даешь, что Леня тебе готовил? Покойнее она от них?

— Даю. Ничего, помогают.

— То-то, давай, давай. Крепче спать будет.

— У нее сердце слабое, не каждый день даю.

— Какое там слабое! Взгляни-ка на нее — белая, румянец во всю щеку, да и рослая какая! Кто это тебе наговорил? Они, капли-то, не вредные, мне Леня сказывал — хоть два пузырька выпей. Успокоительные. Ты побольше ей давай, не бойся. По двадцати там или по двадцати пяти. Поспит и успокоится. Ей же легче. Прощай, голубка, Христос с тобою. Ты уж не ходи к нам пока, хуже бы отец не рассердился. А там видно будет. Прощай.

VIII

Серафима точно просыпалась. Ни прежней равнодушной покорности, ни привычного страха перед отцом у нее больше не было. Еще радость ее была робкая, смутная, но озлобление дало ей

твердые, определенные мысли и слова. Впрочем, эти слова она говорила только себе. Она понимала, что с отцом спорить безумно и не нужно. Все равно ничего не будет.

«Камень на шею навязали… камень… камень…» — думала она, с ненавистью глядя на Лизу. Одевала, раздевала, укладывала она ее теперь почти грубо, с жестокостью, которая пугала даже ничего не понимавшую девочку.

Припадки были тяжелые. Серафима едва сдерживала корчившиеся члены, подкладывала подушки и опять думала:

«Мучается. И сама мучается, и других мучает. Развязал бы ее и меня Господь. Ну кому она нужна? Начто живет?»

Вечером Серафима, усталая, сама больная, стала капать в рюмочку капли, но рука дрожала, она влила сразу слишком много, — и с сердцем выплеснула в умывальник, чтобы снова накапать.

Когда Лиза уснула, — она вспомнила, как выплеснула лекарство, и задумалась. Вот и Евлампия Ниловна ей про капли говорила. Неправда, конечно, что Лизе капли не вредны, Леонтий Ильич лучше знает. Может, и ничего не было бы, кабы она тогда в таз не вылила, а может, Лиза так бы и не проснулась. Ну и не проснулась бы.

И не мучилась бы уж больше. А у нее сердце слабое, сказали бы — от припадков умерла. Это тоже бывает, доктор говорил. На Лизе грехов нет; за что же ей здесь мучиться?

Серафима встала, взяла бутылочку с каплями, открыла, понюхала: пахло горьковато. Повертела рецепт: нигде не написано, что яд.

«За такую Богу не отвечать», — вспомнились ей слова Евлампии Ниловны.

Серафима глянула на киот: отсюда ей виден был только старый, черный образ в серебряной ризе, с белыми глазами. Строгий лик походил, или Серафиме казалось, что он походит — на отца, и у нее опять поднялось озлобление. Такие же или вроде этих образа и в церкви. Помни долг свой, да трудись, да в грехах кайся. Какие грехи? За то отвечать, что Лизе не мучиться и ей самой не мучиться? Коли так — и пусть грех, и не страшно греха. Только мученье одно страшно.

«Завтра на ночь и дам ей капли, — решила Серафима. — Тридцать дам или сорок, а там пусть, что будет».

Опять после того на нее нашел туман, и целый день она ходила, как мертвая, а вечером совсем не дала Лизе капель. И в следующий день не дала, и так шли дни. На шестой неделе отец выехал

в Москву ненадолго. Перед отъездом постучал пальцами о стол и сказал Серафиме строго:

— Смотри! У меня от Лизы ни на шаг не отлучаться. Ты отвечаешь.

Серафима вспыхнула.

— Да она больная, папаша. Как мне за нее отвечать? Я не доктор.

— Не дерзи, дура! Не про то говорю. Говорю, чтоб ты из дома ни на шаг. Шляться никуда не смей, слышишь?

Прежде отец никогда так грубо не говорил с Серафимой. Она не отвечала, но в сердце опять вспыхнуло озлобление и туман слетел с души.

«Недолго вам надо мной измываться, — подумала она, провожая его до калитки. — Возьму свое. И Бог не осудит. Комар сядет на щеку — комара давим. А в Лизе разве душа? Разума нет — и души нет. Плоть одна поганая».

Серафима в одном платье, с открытой головой пошла по двору. Так же шла она от калитки домой и в тот раз, на первой неделе, когда возвратилась с ефимонов и еще Леонтий Ильич ей встретился. Тогда лежал снег, кругом было чисто и тихо, в небесах — светло и торжественно, а в душе была радость. Она думала, что радуется светлому празднику, и боялась, что радость —

грех. Но теперь она знала, что радость — не грех, а страдание — грех, и не хотела страдания.

По небу плыли серые весенние тучи. Снег сошел, и уж подсыхало. У стенки, на солнце, выросла малая, бледная былинка. Серафима присела на приступочку, недалеко от палисадника, и сгорбилась, согнулась от душевной боли. Но и теперь кругом были чистота и тишина. У небес, у травки под стеной — нет разума…

«Значит, и души нет, плоть одна… поганая», — подумала Серафима, и самой ей показалось это странным.

Глубоко, на самом дне души у Серафимы все-таки была радость, та же самая, потому что и любовь была; только страдание ее затянуло, как грозовая туча затягивает небо.

«Придавило меня… Господи! Господи! Нет у меня разумения, ничего я не знаю, не словами молюсь — болью моей молюсь, и где Ты, Господи, не знаю, и Тебя ли люблю — не знаю, прости Ты меня, научи Ты меня, сними Ты с меня… Только любовь мою не отдам, радость мою не бери, Господи…»

Серафима тихонько заплакала, слез было мало, и не утолили они души. По небу все так же скользили серые, легкие облака. Где-то колокол

звонил, редкий, мерный, тонкий. Точно скудные слезы капали. Серафима прислушалась.

«А вот на Пасхе веселый звон будет», — подумала она безотчетно.

Встала было, хотела идти домой, да опять заплакала, увидела травку под стеной, наклонилась — и не сорвала ее, пожалела, только дотронулась рукой до нежной ниточки, до стебелька.

«Нет души — а радуется…»

— Барышня, вы здесь? — крикнула с порога Дарья. — Пожалуйте-ка сюда.

В низких горницах было уже темно. Зажгли лампочку; пахло душным теплом, полотенцами, постным кушаньем и керосином. Лиза мычала в углу. Потянулся долгий, долгий одинокий вечер, с одинокой, молчаливой мукой. Серафима растворила двери и ходила из одной горницы в другую, а в сердце у нее счастье рвалось из-под навалившегося душного и злобного страдания.

Лиза мычала в углу. Серафима думала: «Вот кто меня душит. Навалилась на меня. Придавила, как плита могильная. Неужели пропадать моей радости из-за нее? Ни разума — ни души…»

И опять ходила, и опять рвалось в ней сердце.

— Пойдем спать, — сказала она вдруг Лизе и взяла ее крепко за руку.

Лиза было замычала испуганно, однако пошла, волоча ноги. Серафима оправила постель — лампадка уже горела перед киотом — и стала раздевать Лизу, срывая с нее платье, чулки и юбки, и говорила громко, с ней или с собой — она не знала.

— Чего мычишь? Больно? Ладно, потерпи. Ты тварь бессловесная. Камень придорожный. Понимаешь? Ты жернов мне на шее. В тебе и пара нет, не только что души. За тебя Богу не отвечать.

Лиза бессмысленно глядела на сестру и мычала, размахивая руками. А Серафима не могла не говорить. Сердце у нее в груди росло, росло и, казалось, этого и выдержать нельзя.

— Вот, лекарства тебе дам, хочешь лекарствица? Уснешь крепко, и не будет больно. Хорошие капельки, много дам. Будешь разумная, веселая, мамашу увидишь. Ну, что глядишь? Ты мне спасибо скажи.

Серафима засмеялась. Лиза, глядя на нее, тоже засмеялась. Она смеялась негромко, но дико.

— Моя воля, что хочу с тобой, то и сделаю. И не боюсь никого. Хорошо там, Лиза: ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная. На панихидах так поют. И над мамашей пели. И над тобой будут. Ну, чего вылезаешь

из-под одеяла? Лежи. Постой, я тебе сейчас лекарствица…

Серафима резко отворила дверцу шкапа, торопясь, вынула бутылочку с каплями, рюмочку, отсчитала двадцать, потом еще десять, потом еще подлила, не считая, добавила воды из графина и подошла к постели. Руки у нее так дрожали, что мутная жидкость колыхалась и билась о стеклянные стенки.

— Ну вот, Лиза. Вот теперь выпей. Только надо скоро-скоро, сразу. А то мамашу не увидишь. Постой, погоди, сейчас.

Серафима встала на колени перед постелью. Лиза потянулась к рюмочке.

— Постой. Мы Богу помолимся. Так нельзя, я так не хочу. Я не ради зла какого-нибудь, а ради любви моей. Господи! Я ради…

Она подняла глаза. Сверху смотрел на нее, из-за лампадного огня, светлый лик, веселый и грустный, такой знакомый, такой похожий… — и такой весь иной. Синие, добрые глаза были ласковы, но точно спрашивали: «Ради Меня ли?..»

Серафима остановилась. Еще раз хотела повторить, хотя бы мысленно, «ради любви…» и не смогла. То, что поднималось из сердца все

время, — вдруг поднялось до конца, перешло, перелилось, вырвалось вон, — и Серафима кинулась лицом в постель, бросив рюмку на пол. Рюмка упала и разбилась. У Серафимы слезы потекли неистовые, с криком, и Лиза, которая не могла видеть слез, тоже заплакала, закричала и потянулась голыми, тонкими, еще детскими руками к Серафиме.

— Лиза… Лиза… Травка моя неразумная… Разве я ради любви хотела? Разве можно тебя… ради любви? Ради любви — любить, хранить тебя. Плоть, говорила, неразумная, поганая. Прости, Лиза. Не оттого, что грех — не могу, а оттого, что любовь во мне к Нему, ко всему, что от Него — не могу.

Серафима плакала все тише, не отнимая от своей шеи нежных Лизиных рук. И Лиза успокоилась понемногу, и так и заснула, и сейчас же стала красивой и тихой, как весенние снега и светлое небо над ними. А Серафима до утра не спала, все лежала, не шевелясь, одетая, и слушала, как сердце у нее успокаивается, бьется ровнее и крепче. Туча боли растаяла. И мысли опять делались ясными и очень простыми.

«Разве я для любви моей убить хотела? — думала она. — Ведь любовь мою никто у меня

не отнимал. Любовь моя всегда при мне. Я чтоб замуж за него пойти, чтоб деньги… вот для чего. Души нет… а как мы знаем? В травинке, вон, нет души, а разве она плоть поганая? В ней моя радость. И в Лизе — радость. Это я мою радость убить хотела, чтоб замуж пойти».

Горьковатый запах от пролитого лекарства подымался с полу и менялся, смешавшись с запахом лампадного масла.

«Ну и не пойду замуж, — думала Серафима, засыпая и вся отдыхая. — А радость моя при мне. В радости моей страха нет и печали не боюсь. Мамаша говорила… печалью и радость дорога… Господи…»

Уже не туча, а легкое облако накрыло ее, и она заснула.

IX

«Тело Христово приимите…»

Серафима сошла со ступеней амвона и стала, где раньше стояла, у левого крылоса. Был четверг, на Страстной. Серафима отговела и причастилась. Солнце падало на церковный пол узкими, пыльными, веселыми полосами. Вся церковь казалась золотой, и воздух был густ и светел, как дорогой желтый камень.

Радостные причастные напевы дрожали в сводах; радость о том, что все чисты, все оказались достойны, для всех — благодать. Нет греха, негде быть ему, потому что здесь все чисты.

Когда служба кончилась, Серафима надела кофточку на свое белое, может быть, слишком пышное, парадное платье и направилась к выходу. Но в самой парадности ее одежды было что-то трогательно-торжественное, та же непривычность, особенность — как и в причастии.

Яркость весеннего, уже почти летнего солнца на паперти была нестерпима. Серафима остановилась на ступенях. В эту минуту ее догнал Леонтий Ильич, который тоже стоял в церкви, но к Серафиме там не подходил.

— С принятием Святых Тайн, — произнес он, несмело кланяясь и глядя на Серафиму своими добрыми синими глазами.

Она покраснела чуть-чуть, потом подала ему руку и сказала:

— Благодарю.

Они вместе сошли со ступеней паперти, вместе минули церковную площадь и пошли по переулку, где был дом Серафимы.

Земля совсем высохла. У дощатых тротуаров, подле деревянных тумб, везде пробивалась,

подымалась яркая-яркая трава и расцветали круглые желтые цветы, некрасивые, но самые прекрасные, потому что самые первые, те, у которых ломкий стебелек полон горьковатым молоком. Небеса сделались выше, серьезнее и темнее. За серыми заборами деревья стояли прозрачные, покрытые первым налетом, точно зеленым пухом. Вверху, едва видные, быстро мелькали птицы, наполняя воздух ровными, пронзительными, счастливыми криками, которые не нарушали, а углубляли тишину.

Леонтий Ильич долго шел молча рядом с Серафимой, но потом несмело и ласково заговорил:

— Давно мы не видались, Серафима Родионовна. Ждал вестей, да и не дождался. Как здоровье ваше?

— Благодарю, я здорова. Я рада была встретить вас, Леонтий Ильич.

— Все смотрел на вас в церкви. Такое хорошее у вас было лицо, веселое. Да и теперь вон улыбаетесь. Нет ли чем и меня порадовать? Родион Яковлевич что? Могу спросить вас, имели вы… разговор с ним? — Серафима покачала головой:

— Нет, Леонтий Ильич. Я не говорила с папашей. И что себя обманывать: он решения не изменит.

Леонтий Ильич побледнел немного, улыбка слетела с его румяных губ.

— Как же так? А я, было, видя вас радостной, подумал, было… Значит, конец нашему делу? И вы, значит, мысли свои ко мне переменили?

— Я к вам никогда не переменюсь. Я вас до конца моей жизни буду любить, Леонтий Ильич, — просто сказала Серафима.

Он взглянул на нее, хотел что-то проговорить, но она перебила его и поспешно прибавила, точно боясь, что он не так ее поймет:

— Замуж не судьба мне идти — я и не пойду. Что ж, я бы пошла, если б судьба. А смерти желать живому, чтобы мне выйти — я не могу. Вы не думайте, Леонтий Ильич, я не так как-нибудь покорилась, а я вольно. Любить вас всегда буду, а больше ничего не надо. Вы себе хорошую невесту найдете, добрую девушку, подходящую. Полюбите ее. Я узнаю — радоваться буду, если хорошая попадется и сама станет вас любить.

— Вот какие горькие слова вы мне говорите, — начал Леонтий Ильич, и на доброе лицо его легла тень недоумения, и губы дрогнули. — Нет, видно, вам моя грусть до сердца не доходит. Вам и горя мало.

— Да нет же, Господи! — сказала Серафима. —

Как еще говорить? Я не умею говорить. У меня такая грусть, что и дна ей нет, заглянешь в нее — а она уж и на грусть не похожа, а будто и радость. Сказать словами, не знаю, как, а вы не слушайте, вы поверьте, что все хорошо, и мне хорошо, — вот и вам будет хорошо.

Они стояли у калитки дома. Серафима подняла ресницы, улыбаясь, лицо у нее было бледное и светлое, а в глазах стояли и не проливались слезы. Она не умела ему объяснить ни своей радости, ни своей печали; Леонтий Ильич смотрел на нее, не понимая, но чем дольше смотрел, тем легче, тем веселее становилось и у него на душе.

А небо и земля вокруг них были чистые-чистые, и казалось, что ничего другого и нет на свете, кроме чистоты, тишины и счастья.

И звери

Когда Христос воскрес, то об этом прежде всего с удивлением узнали земляные черви. Сказали кротам, которые и сами уже это подозревали, кроты поговорили с полевыми мышами, а мыши часто выбегают из норок: от мышей узнали суслики и зайцы. Вскоре, таким образом, дело это стало известно всему звериному царству. Звери не говорят друг с другом словами, как люди, а совсем иным способом сообщаются, и притом так скоро и верно, что вести между ними распространяются по всей земле быстрее, чем по телеграфу.

Так вот, когда воскрес Христос, звери тотчас же об этом заговорили. Сначала они были просто в недоумении, потому что случилась такая вещь в первый раз; но едва выяснилось, что после Воскресения Христа будут воскресать и все люди, звери чрезвычайно огорчились и обиделись. Люди будут воскресать, а про зверей ничего не известно.

Стали звери частенько собираться маленькими кружками, особенно в ночь, когда люди празднуют Воскресение Христа; толковали между собою и спорили. Многие злобствовали.

Вот собрались некоторые в одну такую ночь (очень давно уж это было) — и опять стали друг другу жаловаться.

— Что это, в самом деле, — сказала старая лошадь. — Бьешься-бьешься целую жизнь, ездит на тебе человек, а потом издохнешь, и кончено. А человек помрет — так нет, воскреснет как ни в чем не бывало и опять жить. Прежде — лучше: он ездит, ты возишь, ну, куда ни шло, оба одинаково помрем, одинаковый конец и ему, и мне. А теперь — просто сил терпеть нету.

Была на собрании больная курица. У нее покривилась шея, потому что однажды громадный щенок бросился на ее цыплят, она бросилась их защищать, и щенок куснул ей шею.

— Да, — сказала курица. — Уж если с нами что-нибудь случается, так уж конец. Уж нечего ждать. Одного моего сына, которого я у собаки вырвала, люди потом зарезали и съели. И все-таки они воскреснут. А сын мой не воскреснет, и я его больше никогда не увижу. Ведь и я пропаду.

Собака тоже была на собрании и стала бормотать, извиняясь перед курицей: она была тогда молода, она не знала, хотела поиграть с цыплятами. А что касается людей…

Но собаку перебил осел:

— Что касается людей, — сказал он, — то удивительно, до чего они глупы, медлительны, непонятливы и слепы! И все-таки им позволено воскресать. Мы, звери, мало знаем — но уж до такой степени ничего не понимать и не видеть, как люди, это даже странно. Например, мы видим Ангелов, а они их совершенно не видят.

— Неужели не видят? — с удивлением спросила кошка. — Ты уверен?

— Ну еще бы! Дети человеческие, самые маленькие, видят, а чуть начнет говорить — теряет всякое зрение. Подумайте! На моей прапрабабушке поехал раз человек — Валаамом его звали — по какому-то нехорошему делу. Едет по переулку. Ангел загородил дорогу. Человек не видит — и ведь какой человек! Пророком считался. Прапрабабушка видит Ангела — ну, конечно, остановилась. Не идти же на Ангела! А пророк ее бить. До того дошло, что прапрабабушке в виде снисхождения позволено было человеческими словами сказать пророку, что тут Ангел стоит, не пускает дальше. Нет, ничего они не видят!

Все звери стали удивляться, потому что все они отлично видели Ангелов, где только Ангелы ни проходили. В Светлую ночь Воскресения Хри-

ста они обыкновенно слетали на землю толпами, скользили и поодиночке. Молоденькая птичка тут же заметила одного, который пролетал в эту минуту над лесом, и повернула к нему свою красную шейку.

Красная она у нее была оттого, что вела она свой род от серых птичек, которые летали над Крестом, когда Христа распинали. Птички эти старались клювами выдернуть гвозди у Него из рук, и кровь Его брызнула им на шейку. Так и стали у них с тех пор расти там красные перышки.

— Послушайте, — сказала красношейка. — Что мы всё спорим да мучаемся? Время идет. Отчего мы не спросим у Ангела? Давно бы нам спросить. Терпим-терпим… Пусть нам Ангел скажет, за что мы обижены! Ну-ка, я полечу за ним, позову!

Все звери сразу почувствовали, что это хорошо, и удивились, что давно не пришло им это в голову. Но лететь за Ангелом не пришлось. Он сам в эту минуту остановился над ними, точно прислушался, где его зовут, медленно опустился на землю, мерцая светом широких крыльев. Потом сложил крылья и сел на большой, поросший мохом камень среди зверей.

Звери не то что испугались, но немного скон-

фузились. Говорить с Ангелами им приходилось мало. А тут было очень важное дело — дело всей жизни.

— Христос воскрес! — сказала наконец собака.

Ангел ответил серьезно и радостно:

— Воистину воскрес!

— Вот люди за Ним воскресают, а мы воскреснем? — простонала голодная волчица и сложила умоляюще лапы. — Воскреснем?

Тогда звери заговорили по-своему все сразу: не понимали, чем люди лучше зверей и за что им дано воскресение.

Кошка даже плечами пожала.

— Они противные, глупые и злые, — сказала она. — Да, впрочем, и звери все глупы и противны. По мне, если сказать правду, лучше бы и звери не воскресали. Мне бы одной вечно жить, а до других мне ни малейшего дела нет. Люди же — полное ничтожество. Смеют еще воскресать!

Тут случилось неожиданное. Только что кошка успела это выговорить, как на нее с лаем, забыв об Ангеле, кинулась собака. Лаяла, захлебывалась, вся дрожала, едва можно было разобрать, что она такое хочет сказать.

— Не могу я так! — вопила собака. — Не могу!

Я — собака, пес, и люди меня часто не понимают, и сдохну я под забором, — а все-таки хочу, чтоб если не мы — так хоть люди пусть воскресают! Пусть они, милые, воскресают! Я и сдохну, а любить их буду, потому что кого же мне любить, если они совсем умрут?

Курица больная заклохтала:

— Вот правда! Вот и я так! Только я не о людях! Я о сынке думаю: пусть я пропаду, только бы он жив был! Кого ж мне любить, коли его нету?

Тогда вдруг Ангел улыбнулся. Пошло от него сиянье; в небе даже заходили столбы. Звери примолкли, иные съежились и смотрели на Ангела. Еще не понимали. Что-то он скажет?

Ангел улыбнулся: «Любовь никогда не пропадает. Если любишь — значит, и воскреснешь»

И Ангел сказал — не словами, а может быть, и словами, — но так, что все звери его услышали. Сказал:

— Звери вы, звери! Что же вы еще знать хотите, когда сами все знаете? О чем меня спрашиваете?

Собака завиляла хвостом и промолвила робко:

— Да вот… Воскреснем ли мы или нет?

Ангел опять улыбнулся.

— Ты сама знаешь, — сказал он. — Ты сама сказала, что хочешь всегда любить. Любовь никогда

не пропадает. Если любишь — значит, и воскреснешь. И ты, курица. Любишь сынка — ну, и воскреснешь, чтобы любить его дальше.

Собака тихо лизнула кончик Ангелова крыла и сказала:

— А кошка-то, значит, не воскреснет? Мне ее жалко. Она просто глупая.

Глаза всех зверей с сожалением обратились на кошку. Она съежилась, ей было холодно и чего-то стыдно. И страшно, хотя она храбрилась.

Но тут увидели все, что летят целые рои Ангелов, летят низко под облаками, освещая облака. Летят и поют: «Христос воскрес!» Волчица подняла морду, смотрела; осел смотрел, откинув уши; и лошадь, и курица, и собака — все. Стала и кошка смотреть, сощурив глаза, не могла удержаться. И хоть никого еще не любила, все-таки принялась на что-то надеяться. Все звери, даже самые тупые и злые, даже вовсе ничего еще не понявшие, смотрели, слушали. И вдруг звериным своим, живым существом почуяли раз навсегда, что ничем они не обижены, что не для людей одних воскрес Христос, а и для них, бессловесных. И радостно стало зверям.

Ангел поднялся с камня, еще раз улыбнулся, распустил свои широкие-широкие крылья, так

что они надо всеми зверями сидящими распростерлись, и полетел вверх, за улетевшим роем братьев, которые пели о том, что из мертвых воскрес Христос.

И. С. Шмелев

Пасха

Пост уже на исходе, идет весна. Прошумели скворцы над садом, — слыхал их кучер, — а на Сорок Мучеников прилетели и жаворонки. Каждое утро вижу я их в столовой: глядят из сухарницы востроносые головки с изюминками в глазках, а румяные крылышки заплетены на спинке. Жалко их есть, так они хороши, и я начинаю с хвостика. Отпекли на Крестопоклонной маковые «кресты», — и вот уж опять она, огромная лужа на дворе. Бывало, отец увидит, как плаваю я по ней на двери, гоняюсь с палкой за утками, заморщится и крикнет:

— Косого сюда позвать!..

Василь-Василич бежит опасливо, стреляя по луже глазом. Я знаю, о чем он думает: «Ну, ругайтесь... и в прошлом году ругались, а с ней все равно не справиться!»

— Старший прикащик ты — или... что? Опять у тебя она? Барки по ней гонять?!

— Сколько разов засыпал-с!.. — оглядывает Василь-Василич лужу, словно впервые видит, — и навозом заваливал, и щебнем сколько транбовал, а ей ничего не делается! Всосет — и еще пуще

станет. Из-под себя, что ли, напущает?.. Спокон веку она такая, топлая… Да оно ничего-с, к лету пообсохнет, и уткам природа есть…

Отец поглядит на лужу, махнет рукой.

Кончили возку льда. Зеленые его глыбы лежали у сараев, сияли на солнце радугой, синели к ночи. Веяло от них морозом. Ссаживая коленки, я взбирался по ним до крыши сгрызать сосульки. Ловкие молодцы, с обернутыми в мешок ногами, — а то сапоги изгадишь! — скатили лед с грохотом в погреба, завалили чистым снежком из сада и прихлопнули накрепко творила.

— Похоронили ледок, шабаш! До самой весны не встанет.

Им поднесли по шкалику, они покрякали:

— Хороша-а… Крепше ледок скипится.

Прошел квартальный, велел: мостовую к Пасхе сколоть, под пыль! Тукают в лед кирками, долбят ломами — до камушка. А вот уж и первая пролетка. Бережливо пошатываясь на ледяной канавке, сияя лаком, съезжает она на мостовую. Щегольизвозчик крестится под новинку, поправляет свою поярку и бойко катит по камушкам с первым веселым стуком.

В кухне под лестницей сидит гусыня-злюка. Когда я пробегаю, она шипит по-змеиному и из-

гибает шею — хочет меня уклюнуть. Скоро Пасха! Принесли из амбара «паука», круглую щетку на шестике, — обметать потолки для Пасхи. У Егорова в магазине сняли с окна коробки и поставили карусель с яичками. Я подолгу любуюсь ими: кружатся тихо-тихо, одно за другим, как сон. На золотых колечках, на алых ленточках. Сахарные, атласные…

В булочных — белые колпачки на окнах с буковками — Х. В. Даже и наш Воронин, у которого «крысы в квашне ночуют», и тот выставил грязную картонку: «Принимаются заказы на куличи и пасхи и греческие бабы»! Бабы?.. И почему-то греческие! Василь-Василич принес целое ведро живой рыбы — пескариков, налимов, — сам наловил наметкой. Отец на реке с народом. Как-то пришел веселый, поднял меня за плечи до соловьиной клетки и покачал.

— Ну, брат, прошла Москва-река наша. Плоты погнали!..

И покрутил за щечку.

Василь-Василич стоит в кабинете на порожке. На нем сапоги в грязи. Говорит хриплым голосом, глаза заплыли.

— Будь-п-койны-с, подчаливаем… к Пасхе под Симоновом будут. Сейчас прямо из…

— Из кабака? Вижу.

— Никак нет-с, из этого… из-под Звенигорода, пять ден на воде. Тридцать гонок березняку, двадцать сосны и елки, на крылах летят-с!.. И барки с лесом, и… А у Паленова семнадцать гонок вдрызг расколотило, вроссыпь! А при моем глазе… у меня робята природные, жиздринцы!

Отец доволен: Пасха будет спокойная. В прошлом году заутреню на реке встречали.

— С Кремлем бы не подгадить… Хватит у нас стаканчиков?

— Тыщонок десять набрал-с, доберу! Сала на заливку куплено. Лиминацию в три дни облепортуем-с. А как в приходе прикажете-с? Прихожане летось обижались, лиминации не было. На лодках народ спасали под Доргомиловом… не до лиминации!..

— Нонешнюю Пасху за две справим!

Говорят про щиты и звезды, про кубастики, шкалики, про плошки… про какие-то «смолянки» и зажигательные нитки.

— Истечение народа будет!.. Приман к нашему приходу-с.

— Давай с ракетами. Возьмешь от квартального записку на дозволение. Сколько там надо… понимаешь?

— Красную ему за глаза… пожару не наделаем! — весело говорит Василь-Василич. — Запущать — так уж запущать-с!

— Думаю вот что… Крест на кумполе, кубастиками бы пунцовыми?..

— П-маю-с, зажгем-с. Высоконько только?.. Да для Божьего дела-с… воздаст-с! Как говорится, у Бога всего много.

— Щит на крест крепить Ганьку-маляра пошлешь… на кирпичную трубу лазил! Пьяного только не пускай, еще сорвется.

— Нипочем не сорвется, пьяный только и берется! Да он, будь-п-койны-с, себя уберегет. В кумполе лючок слуховой, под яблочком… он, стало быть, за яблочко причепится, захлестнется за шейку, подберется, ко кресту вздрочится, за крест зачепится-захлестнется, в петельке сядет — и качай! Новые веревки дам. А с вами-то мы, бывало… на Христе-Спасителе у самых крестов качали, уберег Господь.

Прошла «верба». Вороха роз пасхальных, на иконы и куличи, лежат под бумагой в зале. Страстные дни. Я еще не говею, но болтаться теперь грешно, и меня сажают читать Евангелие. «Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду…» Я не могу понять: Авраам же

мужского рода! Прочтешь страничку, с «морским жителем» поиграешь, с вербы в окно засмотришься. Горкин пасочницы как будто делает! Я кричу ему в форточку, он мне машет.

На дворе самая веселая работа: сколачивают щиты и звезды, тешут планочки для — Х. В. На приступке сарая, на солнышке, сидит в полушубке Горкин, рукава у него съежены гармоньей. Называют его — «филёнщик» за чистую работу. Он уже не работает, а так, при доме. Отец любит с ним говорить и всегда при себе сажает. Горкин поправляет пасочницы. Я смотрю, как он режет кривым резачком дощечку.

— Домой помирать поеду, кто тебе резать будет? Пока жив, учись. Гляди вот, виноградЫ сейчас пойдут…

Он ковыряет на дощечке, и появляется виноград! Потом вырезает «священный крест», иродово копье и лесенку — на небо! Потом удивительную птичку, потом буковки — Х. В. Замирая от радости, я смотрю. Старенькие у него руки, в жилках.

— Учись святому делу. Это голубок, Дух-Свят. Я тебе, погоди, заветную вырежу пасочку. Будешь Горкина поминать. И ложечку тебе вырежу… Станешь щи хлебать — глядишь, и вспомнишь.

Вот и вспомнил. И все-то они ушли…

Я несу от Евангелий страстную свечку, смотрю на мерцающий огонек: он святой. Тихая ночь, но я очень боюсь: погаснет! Донесу — доживу до будущего года. Старая кухарка рада, что я донес. Она вымывает руки, берет святой огонек, зажигает свою лампадку, и мы идем выжигать кресты. Выжигаем над дверью кухни, потом на погребице, в коровнике…

— Он теперь никак при хресте не может. Спаси Христос… — крестясь, говорит она и крестит корову свечкой. — Христос с тобой, матушка, не бойся… лежи себе.

Корова смотрит задумчиво и жует.

Ходит и Горкин с нами. Берет у кухарки свечку и выжигает крестик над изголовьем в своей каморке. Много там крестиков, с прежних еще годов.

Кажется мне, что на нашем дворе Христос. И в коровнике, и в конюшнях, и на погребице, и везде. В черном крестике от моей свечки — пришел Христос. И все — для Него, что делаем. Двор чисто выметен, и все уголки подчищены, и под навесом даже, где был навоз. Необыкновенные эти дни — страстные, Христовы дни. Мне теперь ничего не страшно: прохожу темными сенями —

и ничего, потому что везде Христос.

У Воронина на погребице мнут в широкой кадушке творог. Толстый Воронин и пекаря, засучив руки, тычут красными кулаками в творог, сыплют в него изюму и сахарку и проворно вминают в пасочницы. Дают попробовать мне на пальце: ну, как? Кисло, но я из вежливости хвалю. У нас в столовой толкут миндаль, по всему дому слышно. Я помогаю тереть творог на решетке. Золотистые червячки падают на блюдо, — совсем живые! Протирают все, в пять решет; пасох нам надо много. Для нас — самая настоящая, пахнет Пасхой. Потом — для гостей, парадная, еще «маленькая» пасха, две людям, и еще — бедным родственникам. Для народа, человек на двести, делает Воронин под присмотром Василь-Василича, и плотники помогают делать. Печет Воронин и куличи народу.

Василь-Василич и здесь, и там. Ездит на дрожках к церкви, где Ганька-маляр висит — ладит крестовый щит. Пойду к Плащанице и увижу. На дворе заливают стаканчики. Из амбара носят в больших корзинах шкалики, плошки, лампионы, шары, кубастики — всех цветов. У лужи горит костер, варят в котле заливку. Василь-Василич мешает палкой, кладет огарки

и комья сала, которого «мышь не ест». Стаканчики стоят на досках, в гнездышках, рядками и похожи на разноцветных птичек. Шары и лампионы висят на проволках. Главная заливка идет в Кремле, где отец с народом. А здесь — пустяки, стаканчиков тысячка, не больше. Я тоже помогаю, — огарки ношу из ящика, кладу фитили на плошки. И до чего красиво! На новых досках, рядочками, пунцовые, зеленые, голубые, золотые, белые с молочком… Покачиваясь, звенят друг в дружку большие стеклянные шары, и солнце пускает зайчики, плющится на бочках, на луже.

Ударяют печально, к Плащанице. Путается во мне и грусть, и радость: Спаситель сейчас умрет… и веселые стаканчики, и миндаль в кармашке, и яйца красить… и запахи ванили и ветчины, которую нынче запекли, и грустная молитва, которую напевает Горкин: «Иуда нечести-и-вый… си-рибром помрачи-и-ися…» Он в новом казакинчике, помазал сапоги дегтем, идет в церковь.

Перед Казанской толпа, на купол смотрят. У креста качается на веревке черненькое, как галка. Это Ганька, отчаянный. Толкнется ногой — и стукнется. Дух захватывает смотреть. Слышу: картуз швырнул! Мушкой летит картуз и шлепа-

ет через улицу в аптеку. Василь-Василич кричит:

— Эй, не дури… ты! Стаканчики примай!..

— Давай-ай!.. — орет Ганька, выделывая ногами штуки.

Даже и квартальный смотрит. Подкатывает отец на дрожках.

— Поживей, ребята! В Кремле нехватка… — торопит он и быстро взбирается на кровлю.

Лестница составная, зыбкая. Лезет и Василь-Василич. Он тяжелей отца, и лестница прогибается дугою. Поднимают корзины на веревках. Отец бегает по карнизу, указывает, где ставить кресты на крыльях. Ганька бросает конец веревки, кричит — давай! Ему подвязывают кубастики в плетушке, и он подтягивает к кресту. Сидя в петле перед крестом, он уставляет кубастики. Поблескивает стеклом. Теперь самое трудное: прогнать зажигательную нитку. Спорят: не сделать одной рукой, держаться надо! Ганька привязывает себя к кресту. У меня кружится голова, мне тошно…

— Готоваа!.. Принимай нитку-у..!

Сверкнул от креста комочек. Говорят — видно нитку по куполу! Ганька скользит из петли, ползет по «яблоку» под крестом, ныряет в дырку на куполе. Покачивается пустая петля. Ганька уже на крыше, отец хлопает его по плечу. Гань-

ка вытирает лицо рубахой и быстро спускается на землю. Его окружают, и он показывает бумажку:

— Как трешницы-то охватывают!

Глядит на петлю, которая все качается.

— Это отсюда страшно, а там — как в креслах!

Он очень бледный, идет, пошатываясь.

В церкви выносят Плащаницу. Мне грустно: Спаситель умер. Но уже бьется радость: воскреснет, завтра! Золотой гроб, святой. Смерть — это только так: все воскреснут. Я сегодня читал в Евангелии, что гробы отверзлись и многие телеса усопших святых воскресли. И мне хочется стать святым, — навертываются даже слезы. Горкин ведет прикладываться. Плащаница увита розами. Под кисеей с золотыми херувимами лежит Спаситель, зеленовато-бледный, с пронзенными руками. Пахнет священно розами.

С притаившейся радостью, которая смешалась с грустью, я выхожу из церкви. По ограде навешаны кресты и звезды, блестят стаканчики. Отец и Василь-Василич укатили на дрожках в Кремль, прихватили с собой и Ганьку. Горкин говорит мне, что там лиминация ответственная, будет глядеть сам генерал-и-губернатор Долгоруков. А Ганьку «на отчаянное дело взяли».

У нас пахнет мастикой, пасхой и ветчиной. Полы натерты, но ковров еще не постелили. Мне дают красить яйца.

Ночь. Смотрю на образ, и все во мне связывается с Христом: иллюминация, свечки, вертящиеся яички, молитвы, Ганька, старичок Горкин, который, пожалуй, умрет скоро… Но он воскреснет! И я когда-то умру, и все. И потом встретимся все… и Васька, который умер зимой от скарлатины, и сапожник Зола, певший с мальчишками про волхвов, — все мы встретимся там. И Горкин будет вырезывать виноградy на пасочках, но какой-то другой, светлый, как беленькие души, которые я видел в поминаньи. Стоит Плащаница в Церкви, одна, горят лампады. Он теперь сошел в ад и всех выводит из огненной геенны. И это для Него Ганька полез на крест, и отец в Кремле лазит на колокольню, и Василь-Василич, и все наши ребята, — все для Него это! Барки брошены на реке, на якорях, там только по сторожу осталось. И плоты вчера подошли. Скучно им на темной реке, одним. Но и с ними Христос, везде… Кружатся в окне у Егорова яички. Я вижу жирного червячка с черной головкой с бусинками-глазами, с язычком из алого суконца… дрожит в яичке. Большое сахарное яйцо я вижу — и в нем

Христос.

Великая суббота, вечер. В доме тихо, все прилегли перед заутреней. Я пробираюсь в зал — посмотреть, что на улице. Народу мало, несут пасхи и куличи в картонках. В зале обои розовые — от солнца, оно заходит. В комнатах — пунцовые лампадки, пасхальные: в Рождество были голубые?.. Постлали пасхальный ковер в гостиной, с пунцовыми букетами. Сняли серые чехлы с бордовых кресел. На образах веночки из розочек. В зале и в коридорах — новые красные «дорожки». В столовой на окошках — крашеные яйца в корзинах, пунцовые: завтра отец будет христосоваться с народом. В передней — зеленые четверти с вином: подносить. На пуховых подушках, в столовой на диване, — чтобы не провалились! — лежат громадные куличи, прикрытые розовой кисейкой, — остывают. Пахнет от них сладким теплом душистым.

Тихо на улице. Со двора поехала мохнатая телега, — повезли в церковь можжевельник. Совсем темно. Вспугивает меня нежданный шепот:

— Ты чего это не спишь, бродишь?..

Это отец. Он только что вернулся.

Я не знаю, что мне сказать: нравится мне ходить в тишине по комнатам и смотреть, и слушать, —

другое все! — такое необыкновенное, святое.

Отец надевает летний пиджак и начинает оправлять лампадки. Это он всегда сам: другие не так умеют. Он ходит с ними по комнатам и напевает вполголоса: «Воскресение Твое Христе Спасе… Ангели поют на небеси…» И я хожу с ним. На душе у меня радостное и тихое, и хочется отчего-то плакать. Смотрю на него, как становится он на стул, к иконе, и почему-то приходит в мысли: неужели и он умрет!.. Он ставит рядком лампадки на жестяном подносе и зажигает, напевая священное. Их очень много, и все, кроме одной, пунцовые. Малиновые огоньки спят — не шелохнутся. И только одна, из детской, — розовая, с белыми глазками, — ситцевая будто. Ну до чего красиво! Смотрю на сонные огоньки и думаю: а это святая иллюминация, Боженькина. Я прижимаюсь к отцу, к ноге. Он теребит меня за щеку. От его пальцев пахнет душистым, афонским, маслом. — А шел бы ты, братец, спать?

От сдерживаемой ли радости, от усталости этих дней, или от подобравшейся с чего-то грусти, — я начинаю плакать, прижимаюсь к нему, что-то хочу сказать, не знаю…

Он подымает меня к самому потолку, где сидит в клетке скворушка, смеется зубами из-под усов.

— А ну, пойдем-ка, штучку тебе одну…

Он несет в кабинет пунцовую лампадку, ставит к иконе Спаса, смотрит, как ровно теплится, и как хорошо стало в кабинете. Потом достает из стола… золотое яичко на цепочке!

— Возьмешь к заутрени, только не потеряй. А ну, открой-ка…

Я с трудом открываю ноготочком. Хруп, — пунцовое там и золотое. В серединке сияет золотой, тяжелый; в боковых кармашках — новенькие серебряные. Чудесный кошелечек! Я целую ласковую руку, пахнущую деревянным маслом. Он берет меня на колени, гладит…

— И устал же я, братец… а все дела. Сосни-ка лучше, поди, и я подремлю немножко.

О, незабвенный вечер, гаснущий свет за окнами… И теперь еще слышу медленные шаги, с лампадкой, поющий в раздумьи голос –

Ангели поют на не-бе-си-и…

Таинственный свет, святой. В зале лампадка только. На большом подносе — на нем я могу улечься — темнеют куличи, белеют пасхи. Розы на куличах и красные яйца кажутся черными. Входят на носках двое, высокие молодцы в поддевках, и бережно выносят обвязанный

скатертью поднос. Им говорят тревожно: «Ради Бога, не опрокиньте как!» Они отвечают успокоительно: «Упаси Бог, поберегемся». Понесли святить в церковь.

Идем в молчаньи по тихой улице, в темноте. Звезды, теплая ночь, навозцем пахнет. Слышны шаги в темноте, белеют узелочки.

В ограде парусинная палатка, с приступочками. Пасхи и куличи, в цветах, — утыканы изюмом. Редкие свечечки. Пахнет можжевельником священно. Горкин берет меня за руку.

— Папашенька наказал с тобой быть, лимина-цию показать. А сам с Василичем в Кремле, после и к нам приедет. А здесь командую я с тобой.

Он ведет меня в церковь, где еще темновато, прикладывает к малой Плащанице на столике: большую, на Гробе, унесли. Образа в розанах. На мерцающих в полутьме паникадилах висят зажигательные нитки. В ногах возится можжевельник. Священник уносит Плащаницу на голове.

Горкин в новой поддевке, на шее у него розовый платочек, под бородкой. Свечка у него красная, обвита золотцем.

— Крестный ход сейчас, пойдем распоряжаться. Едва пробираемся в народе. Пасочная палат-

ка — золотая от огоньков, розовое там, снежное. Горкин наказывает нашим:

— Жди моего голосу! Как показался ход, скричу — вали! — запущай враз ракетки! Ты, Степа… Аким, Гриша… Нитку я подожгу, давай мне зажигальник! Четвертая — с колокольни. Митя, тама ты?!.

— Здесь, Михал Панкратыч, не сумлевайтесь!

— Фотогену на бочки налили?

— Все, враз засмолим!

— Митя! Как в большой ударишь разов пяток, сейчас на красный-согласный переходи, с перезвону на трезвон, без задержки… верти и верти во все! Опосля сам залезу. По-нашему, по-ростовски! Ну, дай Господи…

У него дрожит голос. Мы стоим с зажигальником у нитки. С паперти подают — идет! Уже слышно:

…Ангели по-ют на небеси-и!..

— В-вали-и!.. — вскрикивает Горкин, — и четыре ракеты враз с шипеньем рванулись в небо и рассыпались щелканьем на семицветные яблочки. Полыхнули «смолянки», и огненный змей запрыгал во всех концах, роняя пылающие хлопья.

— Кумпол-то, кумпол-то!.. — дергает меня Горкин. Огненный змей взметнулся, разорвался на много змей, взлетел по куполу до креста… и там растаял. В черном небе алым Крестом воздвиглось! Сияют кресты на крыльях, у карнизов. На белой церкви светятся мягко, как молочком, матово-белые кубастики, розовые кресты меж ними, зеленые и голубые звезды. Сияет — Х. В. На пасочной палатке тоже пунцовый крестик. Вспыхивают бенгальские огни, бросают на стены тени — кресты, хоругви, шапку архиерея, его трикирий. И все накрыло великим гулом, чудесным звоном из серебра и меди.

Хрис-тос воскре-се из ме-ртвых…

— Ну, Христос Воскресе… — нагибается ко мне радостный, милый Горкин.

Трижды целует и ведет к нашим в церковь. Священно пахнет горячим воском и можжевельником.

…сме-ртию смерть… по-пра-ав!..

Звон в рассвете, неумолкаемый. В солнце и звоне утро. Пасха красная.

И в Кремле удалось на славу. Сам Владимир Андреич Долгоруков благодарил! Василь-Василич рассказывает:

— Говорит — удружили. К медалям приставлю, говорит. Такая была… поддевку прожег! Митрополит даже ужасался… до чего было! Весь Кремль горел. А на Москва-реке… чисто днем!..

Отец, нарядный, посвистывает. Он стоит в передней, у корзин с красными яйцами, христосуется. Тянутся из кухни, гусем. Встряхивают волосами, вытирают кулаком усы и лобызаются по три раза. «Христос Воскресе!», «Воистину Воскресе»… «Со Светлым Праздничком»… Получают яйцо и отходят в сени. Долго тянутся — плотники, народ русый, маляры — посуше, порыжее… плотогоны — широкие крепыши… тяжелые землекопы-меленковцы, ловкачи — каменщики, кровельщики, водоливы, кочегары…

Угощение на дворе. Орудует Василь-Василич, в пылающей рубахе, жилетка нараспашку, — вот-вот запляшет. Зудят гармоньи. Христосуются друг с дружкой, мотаются волосы там и там. У меня заболели губы…

Трезвоны, перезвоны, красный — согласный звон. Пасха красная.

Обедают на воле, под штабелями леса. На свежих досках обедают, под трезвон. Розовые, красные, синие, желтые, зеленые скорлупки — всюду, и в луже светятся. Пасха красная! Красен

и день, и звон.

Я рассматриваю надаренные мне яички. Вот хрустально-золотое, через него — все волшебное. Вот — с растягивающимся жирным червячком; у него черная головка, черные глазки-бусинки и язычок из алого суконца. С солдатиками, с уточками, резное-костяное… И вот, фарфоровое — отца. Чудесная панорамка в нем… За розовыми и голубыми цветочками бессмертника и мохом, за стеклышком в золотом ободке видится в глубине картинка: белоснежный Христос с хоругвью воскрес из Гроба. Рассказывала мне няня, что, если смотреть за стеклышко, долго-долго, увидишь живого ангелочка. Усталый от строгих дней, от ярких огней и звонов, я вглядываюсь за стеклышко. Мреет в моих глазах, — и чудится мне, в цветах, — живое, неизъяснимо-радостное, святое… — Бог?.. Не передать словами. Я прижимаю к груди яичко, — и усыпляющий перезвон качает меня во сне.

Яичко

Константину Дмитриевичу Бальмонту

Весна. А где же воздух, наш весенний воздух, снег плывучий, крик петухов разливный, журчливые канавки под ледком поутру? где радость, заливающая сердце, — радость ни с чего как будто?.. И в щебетанье воробьев в пустых деревьях, в блеске засочневших почек, и в блеске первых камушков на мостовой, и в первых лужах, и в будто потеплевшем звоне, тающем, весеннем.

Каштаны в «свечках» не заменят мне пушистой вербы, березки вольной, хлестающей по ветру. Жесткие деревья плачут сажей. Весна? В дожде — как осень. Нет пробужденья, нет улыбки ясной, как у нас, –

Улыбкой ясною природа

Сквозь сон встречает утро года.

Ищу чего-то. Земля — чужая, небо… — и оно другое. Или мои глаза — другие?..

Из глубины душевной, где тени прошлого, я вы-

зываю мое небо. Светлое, голубоватое, как полог над моей кроваткой, всегда в сиянье. Белых ли голубей в нем крылья, кресты ли колоколен в блеске… или это снежок сквозистый, облачка?.. Оно вливается потоком в окна, крепким, свежим, все заливает новым, даже глухие сени, где еще хмурый холодок зимы, где еще пахнет звездными ночами, мерзлым треском.

Мое родное, мое живое небо.

В витринах — груды яиц из шоколада, темных. Грузные они, повязанные лентами, немые. За окнами бистро, на стойках, залитых вином, я вижу розовые яйца в вазах. Чего-то отзвук? Позабыто.

Далекое мое, в осколках.

Свежий запах — будто сырой бумагой, шуршанье серенького платья няни. Праздничное, еще не мытое, оно трет щеки.

Воздух со двора, чудесный, свежий, перезвон веселый. Полог моей кроватки дрожит, отходит, и голубое небо смотрит в блеске. И в нем — яичко, на золотом колечке, на красной ленточке, живое!..

Сахарное яичко. Здесь оно, со мной. Не потускнело, не побилось, на золотом колечке, в сердце… Прозрачно-серенькое, как снежок сквозистый.

Уходит праздник. Весна проходит, лето. Прихо-

дят ночи, в бурях; хлещет в окна. Вот-вот погаснет огонек лампадки, и мои глаза, испуганные черной ночью, ищут… Где яичко?.. Вон оно, святое, у киота. И мне не страшно. Свет от него, и Ангел ласково глядит мне в сердце.

В детстве, когда бывало горе, я приходил к киоту и смотрел.

За голубым и розовым бессмертником, в комочке моха, в глубине за стеклышком я видел: светозарный, с блистающей хоругвью, воскресал Христос из Гроба. Я всматривался в эту панорамку до счастливых слез, — и заливало светом.

Помню, говорила няня:

— В стеклышко-то гляди, да хорошенько… и увидишь.

— А чего, няня?

— Ангелочка. Долго гляди, вот и увидишь живого ангелочка.

Я глядел долго-долго. В глазах мерцало, цветочки оживали, и в глубине, за ними…

— Вижу… живого ангелочка вижу!..

В горькие минуты я приходил к киоту — и смотрел. Чудесное мое, далекое.

На Святой

— Вот погоди, косатик, придет Святая, мы с тобой в Кремль поедем, покажу тебе все святыньки… и Гвоздь Господень, и все соборы наши издревнии, и Царя-Колокола покажу, и потрезвоним, поликуем тогда с тобой… — сколько раз обещался Горкин. — маленько подрастешь, тебе и понятней будет. Вот на Святой и сходим.

Я подрос, теперь уж не младенец, а отроча, поговел-исправился, как большие, и вот — Святая.

Я просыпаюсь, радостный, меня ослепляет блеском, и в этом блеске — веселый звон. Сразу я не могу понять, отчего такой блеск и звон. Будто еще во сне — звонкие золотые яблочки, как в волшебном саду, из сказки. Открываю опять глаза — и вдруг вспоминаю: да это Пасха!.. яркое утро-солнце, пасхальный звон!.. Розовый накомодник, вышитый белыми цветами… — его только на Пасху стелят! — яркие розы на иконе… Пасха!.. — и меня заливает радостью. На столике у постели — пасхальные подарки. Серебряное портмоне-яичко на золотой цепочке, а внутри радостно-пунцовое, и светится золотой и серебрецо, — подарил мне вчера отец. Еще — большое са-

харное яйцо с золотыми большими буквами — Х. и В., а за стеклышком в золотом овале, за цветами бессмертника, над мохом, — радостная картинка Христова Воскресения. И еще — золотисто-хрустальное яичко, граненое все, чудесное! если в него смотреть, светится все, как в солнце, — веселое все, пасхальное. Смотрю через яичко, — ну до чего чудесно! Вижу окошечки, много солнц, много воздушных шариков, вместо одного, купленного на «Вербе»… множество веток тополя, много иконок и лампадок, комодиков, яичек, мелких, как зернышки, как драже. Отнимаю яичко, вижу: живая комната, красный шар, приклеившийся к потолку, на комоде пасхальные яички, все вчера нахристосовал на дворе у плотников, — зеленые, красные, луковые, лиловые… А вон — жестяная птичка, в золотисто-зеленых перышках, — «водяной соловей, самопоющий»; если дуть через воду в трубочку, он начинает чвокать и трепетать. Пасха!.. — будет еще шесть дней, и сейчас будем разговляться, как и вчера, будет кулич и пасха… и еще долго будем, каждое утро будем, еще шесть дней… и будет солнце, и звон-трезвон, особенно радостный, пасхальный, и красные яички, и запах пасхи… а сегодня поедем в Кремль, будем смотреть соборы, всякие

святости… и будет еще хорошее… Что же еще-то будет?..

Еще на Страстной выставили рамы: и потому в комнатах так светло. За окнами перезвон веселый, ликует Пасха. Трезвонят у Казанской, у Ивана-Воина, дальше где-то… — тоненький какой звон. Теперь уж по всей Москве всех пускают звонить на колокольни, такой обычай — в Пасху поликовать. Василь-Василич все вчера руки отмотал, звонивши, к вечеру заслабел, свалился. А что же еще, хорошее?..

За окнами распустился тополь, особенный — духовой. Остренькие его листочки еще не раскрутились, текут от клея, желтенькие еще, чуть в зелень; к носу приложишь — липнут. Если смотреть на солнце — совсем сквозные, как пленочки. Кажется мне, что это и есть масличная ветка, которую принес голубь праведному Ною, в «Священной Истории», всемирный потоп когда. И Горкину тоже кажется: масличная она такая и пахнет священно, ладанцем. Прабабушка Устинья потому и велела под окнами посадить, для радости. Только отворишь окна, когда еще первые листочки, или после дождя особенно, прямо — от духу задохнешься, такая радость. А если облупишь зубами прутик — пахнет живым

арбузом. Что же еще… хорошее?.. Да, музыканты придут сегодня, никогда еще не видал: какие-то «остатки», от графа Мамонова, какие-то «крепостные музыканты», в высоких шляпах с перышком сокольим, по старинной моде, — теперь уж не ходят так. На Рождестве были музыканты, но те простые, которые собирают на винцо; а эти — Царю известны, их поместили в богадельню, и они старенькие совсем, только на Пасху выползают, когда тепло. А играют такую музыку-старину, какой уж никто не помнит.

В передней, рядом, заливается звонко канарейка, а скворца даже из столовой слышно, и соловья из залы. Всегда на Пасху птицы особенно ликуют, так устроено от Творца. Реполов у меня что-то не распевается, а торговец на «Вербе» побожился, что обязательно запоет на Пасху. Не подсунул ли самочку? — трудно их разобрать. Вот придет Солодовкин-птичник и разберет, знает все качества.

Я начинаю одеваться — и слышу крик: «Держи его!.. лови!..» Вскакиваю на подоконник. Бегут плотники в праздничных рубахах, и Василь-Василич с ними, кричит: «За сани укрылся, сукин кот!.. под навесом, сапожники видали… тащи его, робята!..» Мешает амбар, не видно. Жулика поймали?.. У амбара стоит в новенькой поддев-

ке Горкин, покачивает что-то головой, жалеет словно. Кричит ребятам: «Полегши, рубаху ему порвете!.. ну, провинился — покается...» — слышу я в форточку: «А ты, Григорья, не упирайся... присудили — отчитывайся, такой порядок... пострадай маленько». Я узнаю голос Гришки: «Да я повинюсь... да вода холодная-ледяная!..» Ничего я не понимаю, бегу во двор.

А все уже у колодца. Василь-Василич ведра велит тащить, накачивать... Гришка усмешливо косит глазом, как и всегда. Упрашивает:

— Ну, покорюсь! только, братцы, немного, чур... дайте хоть спинжак скинуть да сапоги... к Пасхе только справил, изгадите.

— Ишь какой!.. — кричат. — Спинжак справил, а Бога обманул!.. Нет, мы те так упарим!

Я спрашиваю Горкина, что такое.

— Дело такое, от старины. И прабабушка таких купала, как можно спущать! Скорняк напомнил, сказал робятам, а те и ради. Один он только не поговел, а нас обманул: отговелся я, говорит. А сам уходил со двора, отпускал его папашенька в церковь, поговеть, на шестой. Ну, я, говорит, отговемши... а мы его все поздравили: «Телу во здравие, душе во спасение»... А мне сумнение: не вижу и не вижу его в церкви! А он, робята до-

знали, по полпивным говел! И в заутреню вчера не пошел, и в обедню не стоял, не похристосовался. Я Онтона посылал — смени Гришу, он у ворот дежурит, пусть обедню хоть постоит, нельзя от дому отлучаться в такую ночь, — в церкви все. Не пошел, спать пошел. Робята и возревновали, Василь-Василич их… — поучим его, робята! Ну, папашеньку подождем, как уж он рассудит.

Гришка стоит босой, в розовой рубахе, в подштанниках. Ждут отца. Марьюшка кричит: «Попался бычок на веревочку!» Никто его не любит, зубастый очень. А руки — золото. Отец два раза его прогонял и опять брал. Никто так не может начистить самовар или сапоги, — как жар горят. Но очень дерзкий на всякие слова и баб ругает. Маша высунулась в окно в сенях, кричит, тоже зубастая: «Ай купаться хочете, Григорий Тимофеевич?» Гришка даже зубами скрипнул. Антипушка вышел из конюшни, пожалел: «Тебя, Григорий, нечистый от Бога отводит… ты покайся, — может, и простят робята». Гришка плаксиво говорит: «Да я ж каюсь!.. пустите, ребята, ради Праздника!..» — «Нет, говорят, начали дело — кончим». И Василь-Василич не желает прощать: «Надо те постращать, всем в пример!» Приходит отец, говорит с Горкиным: «Правильно, ребята,

валяй его!..» Говорят: «У нас в деревне так-то, и у вас хорошо заведено… таких у нас в Клязьме-реке купали!» Отец велит: «Дать ему ведра три!» А Гришка расхрабрился, кричит: «Да хошь десяток! погода теплая, для Пасхи искупаюсь!» Все закричали: «А, гордый он, мало ему три!» Отец тоже загорячился: «Мало — так прибавим! жарь ему, ребята, дюжинку!..» Раз, раз, раз!.. Ухнул Гришка, присел, а его сразу на ноги. Вылили дюжинку, отец велел в столярную тащить — сушиться, и стакан водки ему, согреться. Гришка вырвался, сам побежал в столярную. Пошли поглядеть, а он свистит, с гуся ему вода. Все дивятся, какой же самондравный! Говорят: «В колодце отговелся, будет помнить». Горкин только рукой махнул: «Отпетый!» Пошел постыдить его. Приходит и говорит:

— Покаялся он, ребята, — поплакал даже, дошло до совести… уж не корите.

А мне пошептал: «Папашенька полтинник ему пожаловал, простил». И все простили. Одна только Маша не простила, что-то грязное ей сказал будто. Вышел Гришка перед обедом, в новую тройку вырядился, она ему и кричит, играет зубками: «С легким паром, Григорий Тимофеич, хорошо ли попарились?» Опять стали его тачать,

а потом обошлись, простили. Вечерком повели в трактир, сделали мировую, водчонки-чайку попили.

После обеда, на третий день, едем в Кремль с Горкиным, и Антипушка с нами увязался. Поручили Кривую солдату-сторожу при дворце, знакомый Горкина оказался, и похристосовались с ним яичком. Горкина вся-то Москва знает, старинный хоругвеносец он, и в Кремль мы каждую Пасху иллюминацию делаем, — ну, все и знают.

У самого старинного собора, где наши Цари корону надевают, встречаем вдруг Домну Панферов-ну с Анютой, ходили-то летось к Троице. Как родным обрадовались, яичками поменялись-похристосовались, — у Горкина в сумочке запасец их, с обменными-то на всех хватит. Я было задичился с Анютой целоваться, и она тоже задичилась, а нас заставили. Ее Домна Панферовна держала, а меня Горкин подталкивал. А потом ничего, ручка за ручку ходили с ней. Такая она нарядная, в кисейке розовой, а на косичках по бантику. Горкин ангельчиком ее назвал. И все она мне шептала: «А что, пойдем опять к Серги-Троице?.. попроси бабушку». Сердце у меня так и заиграло, — опять бы к Троице! Посмотрели соборы, поклонились мощам-Святителям,

приложились ко всем иконам, помолились на Гвоздь Христов, а он за стеклом, к стеклышку только приложились. Народу… — полны соборы, не протолкаться. Домна Панферовна нас водила, как у себя в квартире, все-то ей тут известно, какие иконы-мощи, Горкин дивился даже. А она такое показала, и он не знал: показала кровь царевича убиенного, в чашечке, только уж высохло, одно пятно. А это Димитрия Царевича, мощи его во гробничке. И хрустальные Кресты Корсунские смотрели, и цепи пророка Гермогена, — Горкин нам объяснял, — а Домна Панферовна заспорила: не пророк он, а патриарх! А народ ходит благолепно, радуется на всё, так все и говорят: «Вот где покой-отдохновение, душа гуляет». И это верно, все забывается, будто и дом не нужен… ну, как у Троицы. И все-то ласковые такие, приветливые: разговоримся — и похристосуемся, родные будто. И дорогу друг дружке уступают, и дают даже добрые советы. У одной девушки зубы разболелись, и ей Домна Панферовна наказала маковыми головками на молоке полоскать, погорячей. И везде под ногами можжевельник священно пахнет, а Царские Врата раскрыты, чтобы все помнили, что теперь царство небесное открылось. Никого в алтаре, тихо, голубеет от ла-

дана, как небо, и чувствуется Господь.

В одной церковке, под горой, смотрели… — там ни души народу, один старичок-сторож, севастопольский был солдат. Он нам и говорит:

— Вот посидите тихо, поглядите в алтарик наш… ангелы будто ходят.

Посидели мы тихо-тихо, задумались. И такой звон над нами, весь Кремль ликует. А тут — тишина-а… только лампадки теплятся. И так хорошо нам стало — смотреть в алтарик… и я там белое что-то увидал, будто дымок кисейный… будто там Ангел ходит! И все будто тоже увидали. Похристосовались со старичком и все ему по яичку дали.

А потом царевы гробы пошли смотреть, и даже Ивана Грозного! Гробы огромные, накрыты красным сукном, и крест золотой на каждом. Много народу смотрит, и все молчат, Горкин и говорит, гробам-то:

— Христос Воскресе, благоверные Цари-Царицы, российския державы! со святыми упокой вам.

И положил яичко, одно на всех. Глядим, а это — самого Ивана Грозного гроб! И другие начали класть яички, понравился им такой пример. И сторож нас похвалил при всех: «Вы настоящие-православные, хороший пример даете». И во

все-то кружечки копейки клали, и со сторожами христосовались, — все у меня губы обметало, очень усы у них колючие.

А в самом главном соборе, где чудотворная икона «Владимирская», Богородицына, видели святой Артос на аналое, помолились на него и ко краешку приложились, — такая великая просфора, мне не поднять, с пуд, пожалуй. Антипушка не знал, что такое святой Артос, а я-то знал, будто это Христос, — Горкин мне говорил. Домна Панферовна стала спориться, ужасная она спорщица, — хотела устыдить Горкина. Не Христос это, говорит, а трапеза Христова! Стали они спориться, только вежливо, шепотком. Подошел к нам монашек и говорит душеспасительно-благолепно: «Не мечите, говорит, бисера, не нарушайте благолепия церковного ожесточением в пустоту!» — Горкин его очень потом хвалил за премудрость: «Вы слышали звон, да не с колокола он… это святые Апостолы, после Христа, всегда вместе вкушали трапезу, а на место Христа полагали хлеб, будто и Христос с ними вкушает… для Него уделяли! и сие есть воспоминание: Артос — хлеб Христов, заместо Христа!» Горкин и погрозился пальцем на Домну Панферовну: «Что?!. взаместо Христа!» А она даже

возликовала, упрямая такая: «Все равно, говорит, трапеза!» Даже монашек головой покачал: «Ну, говорит, упориста ты, мать, как бычья кожа!»

Потом мы Царя-Колокола смотрели, подивились. Мы с Анютой лазили под него, в пещерку, для здоровья, где у него бок расколот, и покричали-погукались там, гулко так. И Царя-Пушку видели. Народ там говорил, — всю Москву может разнести, такая сила. Она-то Наполеона и выгнала-настращала, и все пушки он нам оставил, потом их рядком и уложили. Посмеялись мы на Антипушку-простоту: он и на Царя-Пушку помолился! А под ней рожа страшная-страшная, зеленая, какой-нибудь адов зверь, пожалуй, — на пушках это бывает, знающие там говорили, а он за святыньку принял!

И на Иван-Великую колокольню лазили. Сперва-то ничего, по каменной лестнице. Долезли до первого — проухи лопнут! Ну, мы в малые попросили поблаговестить, — и то дух захватило, ударило в грудь духом. Хотели лезть повыше, а лестница-то пошла железная, в дырьях вся, голова кружится. Маленько все-таки проползли ползком, глаза зажмурили, да Домна Панферовна не могла, толстая она женщина, сырая, а юбка у ней, как колокол, пролезть ей трудно, и сердце

обмирает. И Анюте страшно чего-то стало, да и меня что-то затошнило, — ну, дальше не стали лезть, компанию чтобы не расстраивать.

Нашли мы Кривую — домой ехать, а нас Домна Панферовна к себе звать: «Не отпущу и не отпущу!» Посажали их с собой, поехали. А она на церковном дворе живет, у Марона, на Якиманке. Приезжаем, а там на зеленой травке красные яички катают. Ну, и мы покатали за компанию — знакомые оказались, псаломщик с детьми и о. дьякон, с большим семейством, все барышни, к нам они в бани ходят. Меня барышни заласкали, прикололи мне на матроску розаны, и накокал я с дюжину яичек, счастье такое выпало, все даже удивлялись.

Такого ласкового семейства и не найти, все так и говорили. Пасху сливошную пробовали у них, со всякими цукатками, а потом у псаломщика кулич пробовали, даже Домна Панферовна обиделась. Ну, у ней посидели. А у ней полон-то стол пасхальный, банные гостьи надарили и кого она от мозолей лечит, и у кого принимает, — бабка она еще, повитуха. У ней шоколадную пасху пробовали, и фисташковую-сливошную, и бабу греческую, — ну закормила. А уж чему подивились — так это святостям. Все стенки у ней

в образах, про все-то она святыньки рассказала, про все-то редкости. Горкин дивился даже, сколько утешения у ней: и песочек иорданский в пузыречках, и рыбки священные с Христова Моря, и даже туфли старинные-расстаринные, которые Апостолы носили. Ей грек какой-то за три рубли в Иерусалиме уступил-божился… Апостолы в них ходили, ему старые турки сказывали, а уж они все знают, от тех времен остались туфли те, очень хорошо знают… Она их потому и пристроила на стенку, под иконы. Очень нас те священные туфли порадовали! Ну, будто церковь у ней в квартирке: восемь мы лампадок насчитали. Попили у ней чайку, ос святыньки, а у ней — и сравненья нет. Мне Анюта шепнула, — бабушка ей все святости откажет, выйдет она замуж и тоже будет хранить, для своих деток. Так мы сдружались с ней, не хотелось и расставаться.

Приезжаем домой под вечер, а у нас полон-то дом народу: старинные музыканты приехали, которые — «графа Мамонова крепостные». Их угостили всякими закусочками… — очень они икорку одобряли и семушку, — потом угостили пасхой, выкушали они мадерцы — и стали они нам «медную музыку» играть. И правда, таких

музыкантов больше и нет теперь. Все они старые старички, четверо их осталось только, и все с длинными седыми-седыми бакенбардами, как у кондитера Фирсанова, и будто они немцы: на всех зеленые фраки с золотыми пуговицами, крупными, — пожалуй, в рублик, — а на фраках, на длинных концах, сзади, — «Мамоновы горбы», львы, и в лапах у них ключи, и все из золота. Все — как играть — надели зеленые, высокие, как цилиндры, шляпы с соколиными перьями, как у графа Мамонова играли. И только у одного старичка туфельки с серебряными пряжками, — при нас их и надевал, — а у других износились, не осталось, в сапожках были. И такие все старые, чуть дышат. А им на трубах играть-дуть! И все-таки хорошо играли, деликатно. Вынули из зеленых кожаных коробок медные трубы, ясные-ясные… — с ними два мужика ходили, трубы носить им помогали, для праздника: только на Пасху старички ходят, по уважаемым заказчикам, у которых «старинный вкус, и могут музыку понимать», на табачок себе собирают… — сперва табачку понюхали и почихали до сладости, друг дружку угощали, и так все вежливо-вежливо, с поклончиками, и так приветливо угощали — «милости прошу… одолжайтесь…» — и манеры

у них такие вальяжные и деликатные, будто они и сами графы, такого тонкого воспитания, старинного. И стали играть старинную музыку, — называется «пи-ру-нет». А чтобы нам попонятней было, вежливо объяснили, что это маркиза с графом на танцы выступают. Одна — большая труба, а две поменьше, и еще самая маленькая, как дудка, черненькая, с серебрецом. Конечно, музыка уж не та, как у графа Мамонова играли: и духу не хватает, от старости, и кашель забивает, и голос западает у трубы-то, а ничего, прилично, щеки только не надуваются.

Ну, им еще поднесли мадерцы для укрепления. Тогда они старинную песенку проиграли, называется — «романез-пастораль» которую теперь никто не поет — не знает. Так она всем понравилась, и мне понравилась, и я ее заучил на память, и отец после все ее напевал:

Един млад охотник
В поле разъезжает,
В островах лавровых
Нечто примечает,
Венера-Венера,
Нечто примечает.

Один старичок пел-хрипел, а другие ему подыгрывали.

Деву сколь прекрасну,
На главе веночек,
Перси белоснежны,
Во руке цветочек,
Венера-Венера,
Во руке цветочек.

Так и не доиграли песенку, устали. Двоих старичков положили на диван и дали капелек… И еще поднесли, мадерцы и портвейнцу. Навязали полон кулек гостинцев и отвезли на пролетке в богадельню. Десять рублей подарил им отец, и они долго благодарили за ласку, шаркали даже ножками и поднимали высокие шляпы с перьями. Отец сказал:

— Последние остатки!..

В субботу на Святой монахини из Страстного монастыря привозят в бархатной сумочке небольшой пакетец: в белой, писчей бумаге, запечатанной красным сургучом, — ломтик святого Артоса. Его вкушают в болезни и получают облегчение. Артос хранится у нас в киоте, со святой водой, с крещенскими и венчальными свечами.

После светлой обедни, с последним пасхальным крестным ходом, трезвон кончается — до будущего года. Иду ко всенощной — и вижу с грустью, что Царские Врата закрыты. «Христос Воскресе» еще поют, светится еще в сердце радость, но Пасха уже прошла: Царские Врата закрылись.

Вербное воскресенье

На шестой неделе Великого поста прошла Москва-река.

Весна дружная, вода большая, залила огороды и нашу водокачку, откуда подается вода в бани. Сидор-водолив с лошадьми будет теперь, как на море, — кругом-то-кругом вода. Обедать ему подвозят на плотике, а лошадям сена хватит. Должно быть, весело там ему, на высокой водокачке: сидит себе на порожке — посматривает, как вода подымается, трубочку сосет, чаек пьет, — никто не побеспокоит. Василь-Василич поехал на плотике его проведать — да и застрял: бадья с колеса ухом сорвалась, заело главное колесо, все и чинились с Сидором. Ну, починил-пустил, поехал назад на плотике, шестик с руки сорвался, он и бултых в воду. Спасибо еще — ветла попалась, ухватился-вскарабкался, — чуть было не потоп. Подъехали на лодке, сняли его с ветлы, а у него и язык отнялся. Хорошо еще — погрелись они с Сидором маленько, а то пропадом-пропадай: снеговая вода, студеная. Отец посерчал: «Разбойник ты, мошенник, целый день проваландался!.. знаю твою «бадью»... за что только Господь спаса-

ет!..» А за доброту, говорят, — с народом по правде поступает, есть за него молельщики.

Вербная суббота завтра, а Михал Иваныч не везет вербу и не везет. Горкин ахает, хлопает себя по бокам: «Да ну-ка, он заболел в лесу… старосты мы церковные, как — без вербы?!.» Бывало, в четверг еще привозил, а вот и пятница, — и нет вербы! В овражке уж не угряз ли со старухой, лошаденка старенькая у них, а дороги поплыли, места глухие… Отец верхового на зорьке еще послал и тот что-то позапропал, а человек надежный. Антон Кудрявый водочкой балуется не шибко. Горкин уж порешил на Красную Площадь после обеда ехать, у мужиков вербу закупать. Ни в кои-то веки не было, срам какой… да и верба та — наша разве! Перед самым обедом кричат от ворот ребята: «Михал-Иванов едет, вербу везет!..» Ну, слава те, Господи.

Хорошо, что Антона Кудрявого послали. Повстречал стариков за Воронцовым, в овраге сидят и плачутся: оглоблю поломали, и лошаденка упарилась, легла в зажоре. Вызволил их Антон, водочкой отогрел, лошадь свою припряг… — вот потому и позапоздали, целую ночь в зажоре!.. — «Старуха уж и отходить готовилась, на вербу все молилась: «Свяченая вербушка, душеньку мою

прими-осени!» — сказывал Михал-Иванов, — а какая она свяченая, с речки только!»

Верба — богатая, вишневая-пушистая, полны санки; вербешки уж золотиться стали, крупные, с орех, — молиться с такой приятно. Михал-Иванова со старухой ведут на кухню — горячим чайком погреться. Василь-Василич подносит ему шкалик — «душу-то отогрей». Михал-Иванов кажется мне особенным, лесовым, как в сказке. Живет в избушке на курьих ножках, в глухом лесу, куда и дороги нет, выжигает уголь в какой-то яме, а кругом волки и медведи. Возит он нам березовый, «самоварный», уголь, какой-то «звонкий», особенный; и всем на нашей Калужской улице, и все довольны. И еще березовые веники в наши бани, — тем и живет со своей старухой. И никогда с пустыми руками не приедет, все чего-нибудь привезет лесного. Прошлый год зайца живого привезли, зимой с ними в избушке жил; да зайца-то мы не взяли: нехорошо зайца держать в жилье. А нынче белочку привезли в лукошке, орехи умеет грызть. И еще — целый-то мешок лесных орехов! Ореха было по осени… — обору нет. Трифонычу в лавку мешок каленых продали, а нам — в подарок, сырого, по заказу: отец любит, и я люблю, — не рассыпается на зубах,

а вязнет, и маслицем припахивает, сладким духом орешным. Белка сидит в плетушке, глядеть нельзя: на крышу сиганет — прощай. Отец любит все скоро делать: сейчас же послал к знакомому старику в Зарядье, который нам клетки для птиц ставит, — достать железную клетку, белкину, с колесом. Почему — с колесом? А потому, говорят: белка крутиться любит.

Я сижу в кухне, рядом с Михал-Ивановым, и гляжу на него и на старуху. Очень они приятные, и пахнет от них дымком и дремучим лесом. Михал-Иванов весь в волосах, и черный-черный, белые глаза только; все лицо в черных ниточках-морщинках, и руки черные-черные, не отмыть до самого Страшного Суда. Да там на это не смотрят: там — душу покажи. Отец скажет ему, бывало: «Михал-Иванов — трубочист, телом грязен — душой чист!» А он отмахивается: «И где тут, и душа-то угольная». Нет, душа у него чистая, как яичко. — Горкин говорит: грех по лесу не ходит, а по людям. Спрашиваю его: «А ты поговел?» И они, оказывается, уж поговели-сподобились, куда-то в село ходили. Марьюшка ставит им чугунок горячей картошки и насыпает на бумажку соли. Они сцарапывают кожуру ногтями, и картошка у них вся в пятнах, угольная.

Очень нашу картошку одобряют, — слаже, говорят, сахару. У старика большой ноготь совсем размят, смотреть страшно, в ногах даже у меня звенит. «Это почему… палец?» — спрашиваю я, дергаясь от жути. А деревом защемило, говорит. А у старухи пальцы не разгибаются, будто курячья лапка, и шишки на пальцах вздулись, болезнь такая, — угольная болезнь? «Ну, и картошечка, — говорят, — в самый-то аппетит». Они со вчерашнего утра не ели, в зажоре ночевали с вербой. Уж им теперь, хоть бы и не говели, все грехи простятся, за их труды: свяченую вербу привезли! Я сую старушке розовую баранку, а старику лимонную помадку, постную. Спрашиваю, — медведики у них водятся, в лесу-то там? Говорят — а как же, заглядывают. И еж в избушке у них живет, для мышей, Васькой звать. Зовут в гости к себе: «Лето придет, вот и приезжай к нам погостить… и гриба, и ягоды всякой много, и малины сладкой-лесовой, и… а на болоте клюква». Даже клюква!..

За день так стаяло-подсушило, что в саду под крыжовником куры уж обираться стали, встряхиваться, — к дождю, пожалуй. Лужа на дворе растет не по дням, а по часам, скоро можно на плотике кататься, утки уж плещутся-ныряют.

У лужи, на бережку, стоят стариковы дровянки с вербой — совсем роща, будто верба у лужи выросла, и двор весь словно просветился, совсем другой, — радостный весь, от вербы. Горкин Цыганку велел в сарай пока запереть, а то, ну-ка, на санки вскочит-набезобразит, а это не годится, верба церковная. На речке Сетуньке, где росла, — высоко росла, высокое древо-верба, птица только присядет, а птица не собака, не поганит. Я смотрю на вербу и радуюсь: какие добрые — привезли! сколько дней по Сетуньке в талом снегу топтались, все руки ободрали, и теперь сколько же народу радоваться будет в церкви! Христа встречать!!. И Горкин не нарадуется на вербу: задалась-то какая нонче, румяная да пушистая, золотцем тронуло вербешки! Завтра за всенощной освятим, домой принесем свяченую, в бутылочку поставим, — она как раз к Радунице, на Фоминой, белые корешки-ниточки выпустит. И понесем на Даниловское, покойному Мартыну-плотнику в голова посадим, порадуем его душеньку… И Палагее Ивановне посадим, на Ваганьковском. И как хорошо устроено: только зима уходит, а уж и вербочка опушилась — Христа встречать.

— Все премудро сотворено… — радуется на вербу Горкин, поглаживает золотистые вербеш-

ки. — Нигде сейчас не найтись цветочка, а верба разубралась. И завсегда так, на св. Лазаря, на Вход Господень. И дерева кланяются Ему, поют Осанну. Осанна-то?.. А такое слово, духовное. Сияние, значит, божественное, — Осанна. Вот оно с нами и воспоет завтра Осанну, святое деревцо. А потом, дома, за образа поставим, помнить год цельный будем.

Я спрашиваю его — это чего помнить?

— Как — чего?.. Завтра Лазаря воскресил Господь. Вечная, значит, жизнь всем будет, все воскреснем. Кака радость-то! Так и поется — «Обчее воскресение… из мертвых Лазаря воздвиг Христе Боже…». А потом Осанну поют. Вербное Воскресенье называется, читал, небось, в «Священной Истории»? Я тебе сколько говорил… — вот-вот, ребятишки там воскликали, в Ирусалим-Граде, Христос на осляти, на муку крестную входит, а они с вербочками, с вайями… по-ихнему — вайя называется, а по-нашему — верба. А фарисеи стали серчать, со злости, зачем, мол, кричите Осанну? — такие гордые, досадно им, что не их Осанной встречают. А Христос и сказал им: «Не мешайте детям ко Мне приходить и возглашать Осанну, они сердцем чуют…» — дети-то все чистые, безгрешные, — «А дети не будут

возглашать, то камни-каменные возопиют!» — во как. Осанну возопиют, прославят. У Господа все живет. Мертвый камень — и тот живой. А уж верба-то и подавно живая, ишь — цветет. Как же не радоваться-то, голубок!..

Он обнимает вербу, тычется головой в нее. И я нюхаю вербу: горьковато-душисто пахнет, лесовой горечью живою, дремуче-дремучим духом, пушинками по лицу щекочет, так приятно. Какие пушинки нежные, в золотой пыльце… — никто не может так сотворить, Бог только. Гляжу — а у Горкина слезы на глазах. И я заплакал, от радости… будто живая верба! И уж сумерки на дворе, звездочки стали выходить, а у лужи совсем светло, будто это от вербы — свет.

Старикову лошадь поставили в конюшню, рядом с Кривой. Задали ей овсеца, а она, Антипушка говорит, овес-то изо рта просыпает, только разбрасывает, — отвыкла, что ли, от овса-то, или все зубы съела, старенькая совсем. Кривая-то перед ней орел! Понятно, в бедности родилась, к овсу-то и не привыкшая, где там, в лесу-то, овса найти. А Кривая ласково ее приняла, пофыркала через боковинку. Может, и жалеет, понимает, — в гости к ней сирота пришла. Лошади все могут понимать. И серчать могут, и жалеть, плачут

даже. Антипушка много повидал на своем веку. Когда молодой еще был, хозяева с места его решили, пришел он к лошадкам прощаться, а у них в глазах слезы, только не говорят.

— А Кривая, может, она чует, что старикова лошадка священную вербу привезла… хорошо-то ее приняла? ей, может, так открылось, а? Горкин сказывал… в Град-Ирусалиме даже камни-каменные могли бы вопиять… эту вот… Осанну! А лошадь животная живая, умная. Вот придет день Страшного Суда, и тогда все воскреснут, как Лазарь. А что, и Кривая тогда воскреснет?..

— Понятно, все воскреснет… у Бога-то! От Него все, и к Нему — все. Все и подымутся. Помнишь, летось у Троицы видали с тобой, на стене красками расписано… и рыбы страшенные, и львы-тигры несут руки-ноги, кого поели-разорвали… все к Нему несут, к Господу, в одно место. Это мы не можем, оттяпал палец там — уж не приставишь. А Господь… Господи, да все может! Как земля кончится, небо тогда начнется, жизнь вечная. У Господа ничего не пропадает, обиды никому нет.

В кухне лампадка теплится. Михал-Иванов пошел спать в мастерскую, на стружку, к печке, а старуху уложила Марьюшка на лавке, мяткой

напоила, дала ей сухие валенки, накрыла полушубком, — кашель забил старуху… Да как же не пожалеть: старый человек старуха, и делу такому потрудились, свяченую вербу привезли.

Солнце играет на сараях ранним, румяным светом, — пасхальное что-то в нем, напоминает яички красные.

Лужа совсем разлилась, как море, половина саней в воде. И в луже розовый свет-румянчик. Верба в санях проснулась, румяная, живая, и вся сияет. Розовые вербешки стали! Куры глядят на вербу, вытягивают шейки, прыгают на санях, хочется им вербешек. И в луже верба, и я, и куры, и старенькие сани, и розовое солнце, и гребешок сарая, и светлое-голубое небо, и все мы в нем!.. — и все другое, чем на земле… какое-то новое-другое. Ночью был дождь, пожалуй, — на вербе сверкают капельки. Утки с криком спешат на лужу, мычит корова, весело ржет Кавказка… — Может быть, радуются вербе?.. И сама верба радуется, веселенькая такая, в румяном солнце. Росла по Сетуньке, попала на нашу лужу, и вот — попадет к Казанской, будут ее кропить, будет светиться в свечках, и разберут ее по рукам, разнесут ее по домам, по всей нашей Калужской улице, по Якиманке, по Житной, по переулоч-

кам… — поставят за образа и будут помнить…

Горкин с Михал-Ивановым стараются у вербы: сани надо опорожнить, домой торопиться надо. Молодцы приносят большую чистую кадь, низкую и широкую, — «вербную», только под вербу ходит, — становят в нее пуками вербу, натуго тискают. Пушится огромный куст, спрятаться в него можно. Насилу-насилу подымают, — а все старики нарезали! — ставят на ломовой полок: после обеда свезут к Казанской. Верба теперь высокая, пушится над всем двором, вишневым блеском светится. И кажется мне, что вся она в серых пчелках с золотистыми крылышками пушистыми. Это вот красо-та-а!..

Михал-Иванов торопится, надо бы закупить для Праздника чайку-сахарку-мучицы, да засветло ко дворам поспеть, — дорога-то совсем, поди, разгрязла, не дай-то Бог! Горкин ласково обнадеживает: «Господь донесет, лес твой не убежит, все будет». Жалко мне Михал-Иванова: в такую-то даль поедет, в дрему-дремучую! если бы с ним поехать!.. — и хочется, и страшно.

Старуха его довольна, кланяется и кланяется: так-то уж одарили-обласкали! Сестрицы ей подарили свою работу — веночек на образа, из пышных бумажных розанов. Матушка,

как всегда — кулечек припасцу всякого, старого бельеца и темненького ситчику в горошках, а старику отрезок на рубаху. Марьюшка — восковую свечку, затеплить к Празднику: в лесу-то им где же достать-то. Отец по делам уехал, оставил им за орехи и за вербу и еще три рубля за белку.

— Три ру-бля-а!.. Уж так-то одарили-обласкали!.. Трифоныч манит старика и ведет в закоулочек при лавке, где хранится зеленый штоф, — «на дорожку, за угольки». Михал-Иванов выходит из закоулочка, вытирает рот угольным рукавом, несет жирную астраханскую селедку, прихватил двумя пальцами за спинку промасленной бумажкой, — течет с селедки, до чего жирная, — прячет селедку в сено. И Горкин сует пакетик — чайку-сахарку-лимончик. Отъезжают, довольные. Старик жует горячий пирог с кашей, дает откусить своей старухе, смеется нам белыми зубами и белыми глазами, машет нам пирогом, веселый, кричит: «Дай, Господи… гуляй, верба!..» Все провожаем за ворота.

Я бегу к белочке, посмотреть. Она на окне в передней. Сидит — в уголок забилась, хвостом укрылась, бусинки-глазки смотрят, — боится, не обошлась еще: ни орешков, ни конопли не тронула. Клетка железная, с колесом. Может

быть, колеса боится? Пахнет от белки чем-то ужасно крепким, совсем особенным… — дремучим духом?..

В каретном сарае Гаврила готовит парадную пролетку — для «вербного катанья», к завтрему, на Красной Площади, где шумит уже вербный торг, который зовется — «Верба». У самого Кремля, под древними стенами. Там, по всей площади, под Мининым-Пожарским, под храмом Василия Блаженного, под Святыми Воротами с часами, — называются «Спасские Ворота», и всегда в них снимают шапку — «гуляет верба», великий торг — праздничным товаром, пасхальными игрушками, образами, бумажными цветами, всякими-то сластями, пасхальными разными яичками и — вербой. Горкин говорит, что так повелось от старины, к Светлому Дню припасаться надо, того-сего.

— А господа вот придумали катанье. Что ж поделаешь… господа.

В каретном сарае сани убраны высоко на доски, под потолок, до зимы будут отдыхать. Теперь — пролетки: расхожая и парадная. С них стянули громадные парусинные чехлы, под которыми они спали зиму, они проснулись, поблескивают лачком и пахнут… чудесно-весело пахнут,

чем-то новым и таким радостно-заманным! Да чем же они пахнут?.. Этого и понять нельзя… — чем-то… таким привольным-новым, дачей, весной, дорогой, зелеными полями… и чем-то крепким, радостей горечью какой-то… которая… нет, не лак. Гаврилой пахнут, колесной мазью, духами-спиртом, седлом, Кавказкой и всем, что было, из радостей. И вот, эти радости проснулись. Проснулись — и запахли, запомнились: копытной мазью, кожей, особенной душистой, под чернослив с винной ягодой… заманным, неотвязным скипидаром, — так бы вот все дышал и нюхал! — пронзительно-крепким варом, наборной сбруей, сеном и овсецом, затаившимся зимним холодочком и пробившимся со двора теплом с навозцем, — каретным, новым сараем, гулким и радостным… И все это спуталось-смешалось в радость.

Гаврила ставит парадную пролетку — от самого Ильина с Каретного! — на козлики и начинает крутить колеса. Колеса зеркально блещут лаковым блеском спиц, пускают «зайчиков», и прохладно-душистый ветерок, — и это пахнет, и веет-дышит. Играют-веют желто-зеленые полоски на черно-зеркальном лаке, — самая красота. И все мне давно знакомо — и ново-радостно:

сквозная железная подножка, тонкие, выгнутые фитой оглобли с чудесными крепкими тяжами, и лаковые крылья с мелкою сеткой трещинок, и складки верха, лежащие гармоньей… но лучше всего — колеса, в черно-зеркальных спицах. Я взлезаю на мягко-упругое сиденье, которое играет, покачивает зыбко, нюхаю-нюхаю-вдыхаю, оглаживаю мою скамеечку, стянутую до пузиков ремнями, не нагляжусь на коврик, пышно-тугой и бархатистый, с мутными шерстяными розами. Спрыгиваю, охаживаю и нюхаю, смотрюсь, как в зеркало, в выгнутый лаковый задок. Конечно, она — живая, дышит, наша парадная «ильинка». Лучше ее и нет, — я шарабана не считаю: этот совсем особый, папашенькин.

Гаврила недоволен: на гулянье в колясках ездят, а то в ланде, а с пролеткой квартальные в самый конец отгонят, где только сбродные. Недоволен и армяком, и шляпой. Чего показывать, — экая невидаль, пролетка! Набаловался у богачей, «у князя в кибриолетах ездил». Я говорю Гавриле: «Пошел бы к князю!» — так Антипушка ему говорит. Гаврила сердится: «Ты еще мне посмейся!»

Не годится он в богатые кучера, ус не растет. Антипушка уж советовал: «Натри губу копытной

мазью — целая грива вырастет». Пожалуй, скоро уйдет от нас, Василь-Василич говорил: «Маша наша сосваталась с Денисом, только из-за нее и жил». Теперь и наша «ильинка» нехороша. А как, бывало, прокатывал-то на Чаленьком, вся улица смотрела, — ветру, бывало, не угнаться.

Идем с Горкиным к Казанской, — до звона, рано: с вербой распорядиться надо. Загодя отвезли ее, в церкви теперь красуется. Навстречу идут и едут с «Вербы», несут веночки на образа, воздушные красные шары, мальчишки свистят в свистульки, стучат «кузнецами», дудят в жестяные дудки, дерутся вербами, дураки. Идут и едут, и у всех вербы, с листиками брусники, зиму проспавшей в зелени под снегом.

У церкви, у левого крылоса, — наша верба, пушистая, но кажется почему-то ниже. Или ее подстригли? Горкин говорит — так это наша церковь высокая. Но отчего же у лужи там… — небо совсем высокое? Я подхожу под вербу, и она делается опять высокой. Крестимся на нее. Раздавать нескоро, под конец всенощной, как стемнеет. Народу набирается все больше. От свещного ящика, где стоим, вербы совсем не видно, только верхушки прутиков, как вихры. Тянется долго служба. За свещным ящиком отец, в сюртуке, с золоты-

ми запонками в манжетах, ловко выкидывает свечки, постукивают они, как косточки. Много берут свечей. Приходят и со своими вербами, но своя как-то не такая, не настоящая. А наша настоящая, свяченая. Очень долго, за окнами день потух, вербу совсем не видно. Отец прихватывает меня пальцами за щечку: «Спишь, капитан… сейчас, скоро». Сажает на стульчик позади. Горкин молится на коленках, рядом, слышно, как он шепчет: «Обчее воскресение… из мертвых воздвиг еси Лазаря, Христе Боже…» Дремотно. И слышу вдруг, как из сна «Общее воскресение… из мертвых воздвиг еси Лазаря, Христе Боже… Тебе, победителю смерти, вопием… осанна в вышних!» Проспал я?.. Впереди, там, где верба, загораются огоньки свечей. Там уже хлещутся, впереди… — выдергивают вербу, машут… Там текут огоньки по церкви, и вот — все с вербами. Отец берет меня на руки и несет над народом, над вербами в огоньках, все ближе — к чудесному нашему кусту. Куст уже растрепался, вербы мотаются, дьячок отмахивает мальчишек, стегает вербой по стриженым затылкам, шипит: «Не напирай, про всех хватит…» О. Виктор выбирает нам вербы попушистей, мне дает самую нарядную, всю в мохнатках. Прикладываемся к образу на аналое, где написан

Христос на осляти, каменные дома и мальчики с вербами, только вербы с большими листьями, — «вайи»! — долго нельзя разглядывать. Тычутся отовсюду вербы, пахнет горьким вербным дымком… дремучим духом?.. — где-то горят вербешки. Светятся ясные лица через вербы, все огоньки, огоньки за прутьями, и в глазах огоньки мигают, светятся и на лбах, и на щеках, и в окнах, и в образах на ризах. По стенам и вверху, под сводом, ходят темные тени верб. Какая же сила вербы! Все это наша верба, из стариковых санок, с нашего двора, от лужи, — как просветилась-то в огоньках! Росла по далекой Сетуньке, ехала по лесам, ночевала в воде в овраге, мыло ее дождем… и вот — свяченая, в нашей церкви, со всеми поет «Осанну». Конечно, поет она: все ведь теперь живое, воскресшее, как Лазарь… — «Общее Воскресение».

Смотрю на свечку, на живой огонек, от пчелок. Смотрю на мохнатые вербешки… — таких уж никто не сделает, только Бог. Трогаю отца за руку. — «Что, устал?» — спрашивает он тихо. Я шепчу: «А Михал-Иванов доехал до двора?» Он берет меня за щеку… — «Давно дома, спит уж… за свечкой-то гляди, не подожги… носом клюешь, молельщик…» Слышу вдруг треск… — и вспых-

нуло! — вспыхнули у меня вербешки. Ах, какой радостный-горьковатый запах, чудесный, вербный! и в этом запахе что-то такое светлое, такое… такое… — было сегодня утром, у нашей лужи, розовое-живое в вербе, в румяном, голубоватом небе… — вдруг осветило и погасло. Я пригибаю прутики к огоньку: вот затрещит, осветит, будет опять такое… Вспыхивает, трещит… синие змейки прыгают и дымят, и гаснут. Нет, не всегда бывает… неуловимо это, как тонкий сон.

Чистый понедельник

Я просыпаюсь от резкого света в комнате: голый какой-то свет, холодный, скучный. Да, сегодня Великий пост. Розовые занавески, с охотниками и утками, уже сняли, когда я спал, и оттого так голо и скучно в комнате. Сегодня у нас Чистый понедельник, и все у нас в доме чистят. Серенькая погода, оттепель. Капает за окном — как плачет. Старый наш плотник — «филёнщик» Горкин — сказал вчера, что масленица уйдет — заплачет. Вот и заплакала — кап… кап… кап… Вот она! Я смотрю на растерзанные бумажные цветочки, на золоченый пряник «масленицы» — игрушки, принесенной вчера из бань: нет ни медведиков, ни горок, — пропала радость. И радостное что-то копошится в сердце: новое все теперь, другое. Теперь уж «душа начнется», — Горкин вчера рассказывал, — «душу готовить надо». Говеть, поститься, к Светлому Дню готовиться.

— Косого ко мне позвать! — слышу я крик отца, сердитый.

Отец не уехал по делам: особенный день сегодня, строгий, — редко кричит отец. Случилось что-нибудь важное. Но ведь он же его простил

за пьянство, отпустил ему все грехи: вчера был Прощеный день. И Василь-Василич простил всех нас, так и сказал в столовой на коленках: «Всех прощаю!» Почему же кричит отец?

Отворяется дверь, входит Горкин с сияющим медным тазом. А, масленицу выкуривать! В тазу горячий кирпич и мятка, и на них поливают уксусом. Старая моя нянька Домнушка ходит за Горкиным и поливает, в тазу шипит, и подымается кислый пар, — священный. Я и теперь его слышу, из дали лет. Священный… — так называет Горкин. Он обходит углы и тихо колышет тазом. И надо мной колышет.

— Вставай, милок, не нежься… — ласково говорит он мне, всовывая таз под полог. — Где она у тебя тут, масленица-жирнуха… мы ее выгоним. Пришел Пост — отгрызу у волка хвост. На постный рынок с тобой поедем, Васильевские певчие петь будут — «душе моя, душе моя» — заслушаешься.

Незабвенный, священный запах. Это пахнет Великий пост. И Горкин совсем особенный, — тоже священный будто. Он еще до свету сходил в баню, попарился, надел все чистое, — чистый сегодня понедельник! — только казакинчик старый: сегодня все самое затрапезное наденут, так

«по закону надо». И грех смеяться, и надо намаслить голову, как Горкин. Он теперь ест без масла, а голову надо, по закону, «для молитвы». Сияние от него идет, от седенькой бородки, совсем серебряной, от расчесанной головы. Я знаю, что он святой. Такие — угодники бывают. А лицо розовое, как у херувима, от чистоты. Я знаю, что он насушил себе черных сухариков с солью, и весь пост будет с ними пить чай — «за сахар».

— А почему папаша сердитый… на Василь-Василича так?

— А, грехи… — со вздохом говорит Горкин. — Тяжело тоже переламываться, теперь все строго, пост. Ну и сердются. А ты держись, про душу думай. Такое время, все равно как последние дни пришли… по закону-то! Читай — «Господи-Владыко живота моего». Вот и будет весело.

И я принимаюсь читать про себя недавно выученную постную молитву.

В комнатах тихо и пустынно, пахнет священным запахом. В передней, перед красноватой иконой Распятия, очень старой, от покойной прабабушки, которая ходила по старой вере, зажгли постную, голого стекла, лампадку, и теперь она будет негасимо гореть до Пасхи. Когда зажигает отец, — по субботам он сам зажигает все лампад-

ки, — всегда напевает приятно-грустно: «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко», и я напеваю за ним, чудесное:

— И свято-е… Воскресе-ние Твое

Сла-а-вим!

Радостное до слез бьется в моей душе и светит от этих слов. И видится мне, за вереницею дней Поста, — Святое Воскресенье, в светах. Радостная молитвочка! Она ласковым счетом светит в эти грустные дни Поста.

Мне начинает казаться, что теперь прежняя жизнь кончается, и надо готовиться к той жизни, которая будет… где? Где-то, на небесах. Надо очистить душу от всех грехов, и потому все кругом — другое. И что-то особенное около нас, невидимое и страшное. Горкин мне рассказал, что теперь — «такое, как душа расстается с телом». Они стерегут, чтобы ухватить душу, а душа трепещет и плачет: «Увы мне, окаянная я!» Так и в ифимонах теперь читается.

— Потому они чуют, что им конец подходит, Христос воскреснет! Потому и пост даден, чтобы к церкви держаться больше, Светлого Дня дождаться. И не помышлять, понимаешь. Про земное не помышляй! И звонить все станут: помни… помни!.. — поокивает он так славно.

В доме открыты форточки, и слышен плачущий и зовущий благовест — по-мни… по-мни… Это жалостный колокол, по грешной душе плачет. Называется — постный благовест. Шторы с окон убрали, и будет теперь по-бедному до самой Пасхи. В гостиной надеты серые чехлы на мебель, лампы завязаны в коконы, и даже единственная картина — «Красавица на пиру» — закрыта простынею.

Преосвященный так посоветовал. Покачал головой печально и прошептал: «Греховная и соблазнительная картинка!» Но отцу очень нравится — такой шик! Закрыта и печатная картинка, которую отец называет почему-то — «прянишниковская», как старый дьячок пляшет, а старуха его метлой колотит. Эта очень понравилась преосвященному, смеялся даже. Все домашние очень строги, и в затрапезных платьях с заплатами, и мне велели надеть курточку с продранными локтями. Ковры убрали, можно теперь ловко кататься по паркетам, но только страшно, Великий пост: раскатишься — и сломаешь ногу. От «масленицы» нигде ни крошки, чтобы и духу не было. Даже заливную осетрину отдали вчера на кухню. В буфете остались самые расхожие тарелки, с бурыми пятнышками-щербинка-

ми, — великопостные. В передней стоят миски с желтыми солеными огурцами, с воткнутыми в них зонтичками укропа, и с рубленой капустой, кислой, густо посыпанной анисом, — такая прелесть. Я хватаю щепотками, — как хрустит! И даю себе слово не скоромиться во весь пост. Зачем скоромное, которое губит душу, если и без того все вкусно? Будут варить компот, делать картофельные котлеты с черносливом и шепталой, горох, маковый хлеб с красивыми завитушками из сахарного мака, розовые баранки, «кресты» на Крестопоклонной… мороженая клюква с сахаром, заливные орехи, засахаренный миндаль, горох моченый, бублики и сайки, изюм кувшинный, пастила рябиновая, постный сахар — лимонный, малиновый, с апельсинчиками внутри, халва… А жареная гречневая каша с луком, запить кваском! А постные пирожки с груздями, а гречневые блины с луком по субботам… а кутья с мармеладом в первую субботу, какое-то «коливо»! А миндальное молоко с белым киселем, а киселек клюквенный с ванилью, а… великая кулебяка на Благовещение, с вязигой, с осетринкой! А калья, необыкновенная калья, с кусочками голубой икры, с маринованными огурчиками… а моченые яблоки по воскресеньям, а талая, слад-

кая-сладкая «рязань»… а «грешники», с конопляным маслом, с хрустящей корочкой, с теплою пустотой внутри!.. Неужели и *там*, куда все уходят из этой жизни, будет такое постное! И почему все такие скучные? Ведь все — другое, и много, так много радостного. Сегодня привезут первый лед и начнут набивать подвалы, — весь двор завалят. Поедем на «постный рынок», где стон стоит, великий грибной рынок, где я никогда не был… Я начинаю прыгать от радости, но меня останавливают:

— Пост, не смей! Погоди, вот сломаешь ногу.

Мне делается страшно. Я смотрю на Распятие. Мучается Сын Божий! А Бог-то как же… как же Он допустил?..

Чувствуется мне в этом великая тайна — *Бог*.

В кабинете кричит отец, стучит кулаком и топает. В такой-то день! Это он на Василь-Василича. А только вчера простил. Я боюсь войти в кабинет, он меня непременно выгонит, «сгоряча», — и притаиваюсь за дверью. Я вижу в щелку широкую спину Василь-Василича, красную его шею и затылок. На шее играют складочки, как гармонья, спина шатается, а огромные кулаки выкидываются назад, словно кого-то отгоняют, — злого духа? Должно быть, он и сейчас еще «подшофе».

— Пьяная морда! — кричит отец, стуча кулаком по столу, на котором подпрыгивают со звоном груды денег. — И посейчас пьян?! В такой-то великий день! Грешу с вами, с чертями, прости, Господи! Публику чуть не убили на катаньи?! А где был болван-приказчик? Мешок с выручкой потерял… на триста целковых! Спасибо, старик-извозчик, Бога еще помнит, привез… в ногах у него забыл?! Вон в деревню, расчет!..

— Ни в одном глазе, будь-п-кой-ны-с… в баню ходил-парился… Чистый понедельник-с… все в бане, с пяти часов, как полагается… — докладывает, нагибаясь, Василь-Василич и все отталкивает кого-то сзади. — Посчитайте… все сполна-с… хозяйское добро у меня… в огне не тонет, в воде не горит-с… чисто-начисто…

— Чуть не изувечили публику! Пьяные с гор катали? От квартального с Пресни записка мне… Чем это пахнет? Докладывай, как было.

— За тыщу выручки-с, посчитайте. Билеты докажут, все цело. А так было. Я через квартального, правда… ошибся… ради хозяйского антиресу. К ночи пьяные навалились, — катай! маслену скатываем! Ну скатили дилижан, кричат — жоще! Восьмеро сели, а Антон Кудрявый на коньках не стоит, заморился с обеда, все катал… ну, вы-

пивши маленько…

— А ты трезвый?

— Как стеклышко, самого квартального на санках только прокатил, свежий был… А меня в плен взяли! А вот так-с. Навалились на меня с Таганки мясники… с блинами на горы приезжали и с кульками… Очень я им пондравился…

— Рожа твоя пьяная понравилась! Ну, ври…

— Забрали меня силом на дилижан, погнал нас Антошка… А они меня поперек держут, распорядиться не дозволяют. Летиим с гор… не дай Бог… вижу, пропадать нам… Кричу: «Антоша, пятками режь, задерживай!» Стал сдерживать пятками, резать… да с ручки сорвался, под дилижан, а дилижан три раза перевернулся на всем лету, меня в это место… с кулак нажгло-с… А там, дураки, без моего глазу… другой дилижан выпустили с пьяными. Петрушка Глухой повел… ну, тоже маленько для проводов масленой не вовсе тверезый… В нас и ударило, восемь человек! Вышло сокрушение, да Бог уберег, в днище наше ударили, пробили, а народ только пораскидало… А там третий гонят, Васька не за свое дело взялся, да на полгоре свалил всех, одному ногу зацепило, сапог валеный, спасибо, уберег от полома. А то бы нас всех побило… лежали мы на льду,

на самом на ходу… Ну, писарь квартальный стал пужать, протокол писать, а ему квартальный воспретил, смертоубийства не было! Ну, я писаря повел в листоран, а газетчик тут грозился пропечатать фамилию вашу… и ему солянки велел подать… и выпили-с! Для хозяйского антиресу-с. А квартальный велел в девять часов горы закрыть, по закону, под Великий пост, чтобы было тихо и благородно… все веселения, чтобы для тишины.

— Антошка с Глухим как, лежат?

— Уж в бане парились, целы. Иван Иваныч, фершал, смотрел, велел тертого хрену под затылок. Уж капустки просят. Напужался было я, без памяти оба вчерась лежали, от… сотрясения-с! А я все уладил, поехал домой, да… голову мне поранило о дилижан, память пропала… один мешочек мелочи и забыл-с… да свой ведь извозчик-то, сорок лет ваше семейство знает!

— Ступай… — упавшим голосом говорит отец. — Для такого дня расстроил… Говей тут с вами!.. Постой… Нарядов сегодня нет, прикажешь снег от сараев принять… двадцать возов льда после обеда пригнать с Москва-реки, по особому наряду, дашь по три гривенника. Мошенники! Вчера прощенья просил, а ни слова не доложил

про скандал! Ступай с глаз долой.

Василь-Василич видит меня, смотрит сонно и показывает руками, словно хочет сказать: «Ну, ни за что!» Мне его жалко и стыдно за отца: в такой-то великий день, грех!

Я долго стою и не решаюсь — войти? Скриплю дверью. Отец, в сером халате, скучный, — я вижу его нахмуренные брови, — считает деньги. Считает быстро и ставит столбиками. Весь стол в серебре и меди. И окна в столбиках. Постукивают счеты, почокивают медяки и — звонко — серебро.

— Тебе чего? — спрашивает он строго. — Не мешай. Возьми молитвенник, почитай. Ах, мошенники… Нечего тебе слонов продавать, учи молитвы!

Так его все расстроило, что и не ущипнул за щечку.

В мастерской лежат на стружках, у самой печки, Петр Глухой и Антон Кудрявый. Головы у них обложены листьями кислой капусты, — «от угара». Плотники, сходившие в баню, отдыхают, починяют полушубки и армяки. У окошка читает Горкин Евангелие, кричит на всю мастерскую, как дьячок. По складам читает. Слушают молча и не курят: запрещено на весь пост, от Горкина;

могут идти на двор. Стряпуха, стараясь не шуметь и слушать, наминает в огромных чашках мурцовку-тюрю. Крепко воняет редькой и капустой. Полупудовые ковриги дымящегося хлеба лежат горой. Стоят ведерки с квасом и с огурцами. Черные часики стучат скучно. Горкин читает-плачет:

— …и вси… свя-тии… ангелы с Ним.

Поднимается шершавая голова Антона, глядит на меня мутными глазами, глядит на ведро огурцов на лавке, прислушивается к напевному чтению святых слов… — и тихим, просящим, жалобным голосом говорит стряпухе:

— Ох, кваску бы… огурчика бы…

А Горкин, качая пальцем, читает уже строго:

«Идите от Меня… в огонь вечный… уготованный диаволу и аггелам его!..»

А часики, в тишине, — чи-чи-чи…

Я тихо сижу и слушаю.

После унылого обеда, в общем молчании, отец все еще расстроен, — я тоскливо хожу во дворе и ковыряю снег. На грибной рынок поедем только завтра, а к ефимонам рано. Василь-Василич тоже уныло ходит, расстроенный. Поковыряет снег, постоит. Говорят, и обедать не садился. Дрова поколет, сосульки метелкой посбивает…

А то стоит и ломает ногти. Мне его очень жалко. Видит меня, берет лопаточку, смотрит на нее чего-то и отдает — ни слова.

— А за что изругали! — уныло говорит он мне, смотря на крыши. — Расчет, говорят, бери… за тридцать-то лет! Я у Иван Иваныча еще служил, у дедушки… с мальчишек… Другие дома нажили, трактиры пооткрывали с ваших денег, а я вот… расчет! Ну, прощусь, в деревню поеду, служить ни у кого не стану. Ну, пусть им Господь простит…

У меня перехватывает в горле от этих слов. За что?! и в такой-то день! Велено всех прощать, и вчера всех простили и Василь-Василича.

— Василь-Василич! — слышу я крик отца и вижу, как отец, в пиджаке и шапке, быстро идет к сараю, где мы беседуем. — Так как же это, по билетным книжкам выходит выручки к тысяче, а денег на триста рублей больше? Что за чудеса?..

— Какие есть — все ваши, а чудесов тут нет, — говорит в сторону и строго Василь-Василич. — Мне ваши деньги… у меня еще крест на шее!

— А ты не серчай, чучело… Ты меня знаешь. Мало ли у человека неприятностей.

— А так, что вчера ломились на горы, масле-

ная… и задорные, не желают ждать… швыряли деньгами в кассью, а билета не хотят… не воры мы, говорят! Ну, сбирали, кто где. Я изо всех сумок повытряс. Ребята наши надежные… ну, пятерку пропили, может… только и всего. А я… я вашего добра… Вот у меня, вот вашего всего!.. — уже кричит Василь-Василич и враз вывертывает карманы куртки.

Из одного кармана вылетает на снег надкусанный кусок черного хлеба, а из другого огрызок соленого огурца. Должно быть, не ожидал этого и сам Василь-Василич. Он нагибается, конфузливо подбирает и принимается сгребать снег. Я смотрю на отца. Лицо его как-то осветилось, глаза блеснули. Он быстро идет к Василь-Василичу, берет его за плечи и трясет сильно, очень сильно. А Василь-Василич, выпустив лопату, стоит спиной и молчит. Так и кончилось. Не сказали они ни слова. Отец быстро уходит. А Василь-Василич, помаргивая, кричит, как всегда, лихо:

— Нечего проклажаться! Эй, робята… забирай лопаты, снег убирать… лед подвалят — некуда складывать!

Выходят отдохнувшие после обеда плотники. Вышел Горкин, вышли и Антон с Глухим, потерлись снежком. И пошла ловкая работа.

А Василь-Василич смотрел и медленно, очень довольный чем-то, дожевывал огурец и хлеб.

— Постишься, Вася? — посмеиваясь, говорит Горкин. — Ну-ка покажи себя, лопаточкой-то… блинки-то повытрясем.

Я смотрю, как взлетает снег, как отвозят его в корзинах к саду. Хрустят лопаты, слышится рыканье, пахнет острою редькой и капустой.

Начинают печально благовестить — помни… помни… — к ефимонам.

— Пойдем-ка в церкву, Васильевские у нас сегодня поют, — говорит мне Горкин.

Уходит приодеться. Иду и я. И слышу, как из окна сеней отец весело кличет:

— Василь-Василич… зайди-ка на минутку, братец.

Когда мы уходим со двора под призывающий благовест, Горкин мне говорит взволнованно, — дрожит у него голос:

— Так и поступай, с папашеньки пример бери… не обижай никогда людей. А особливо, когда о душе надо… пещи. Василь-Василичу четвертной билет выдал для говенья… мне тоже четвертной, ни за что… десятникам по пятишне, а робятам по полтиннику, за снег. Так вот и обходись с людьми. Наши робята хорошие, они ценют…

Сумеречное небо, тающий липкий снег, призывающий благовест… Как это давно было! Теплый, словно весенний, ветерок… — я и теперь его слышу в сердце.

На святой дороге

С треском встряхивают меня, страшные голоса кричат: «Тпру!.. тпру!..» — и я, как впросонках, слышу:

— Понеслась-то как!.. Это она Яузу признала, пить желает.

— Да нешто Яуза это?

— Самая Яуза, только чистая тут она.

Какая Яуза? Я ничего не понимаю.

— Вставай, милой… ишь разоспался как! — узнаю я ласковый голос Горкина. — Щеки-те нажгло… Хуже так-то жарой сморит, в головку напекет. Вставай, к Мытищам уж подходим, донес Господь.

Во рту у меня все ссохлось, словно песок насыпан, и такая истома в теле — косточки все поют. Мытищи?.. И вспоминаю радостное: вода из горы бежит! Узнаю голосок Анюты:

— Какой же это, бабушка, богомольщик… в тележке все!

И теперь начинаю понимать: мы идем к Преподобному, и сейчас лето, солнышко, всякие цветы, травки… а я в тележке. Вижу кучу травы у глаза, слышу вялый и теплый запах, как на

Троицын день в церкви, — и ласкающий холодок освежает мое лицо: сыплются на меня травинки, и через них все — зеленое. Так хорошо, что я притворяюсь спящим и вижу, жмурясь, как Горкин посыпает меня травой и смеется его бородка.

— Мы его, постой, кропивкой… Онюта, да-кося мне кропивку-то!..

Вижу обвисшие от жары орешины, воткнутые надо мной от солнца, и за ними — слепящий блеск. Солнце прямо над головой, палит. У самого моего лица — крупные белые ромашки в траве, синие колокольчики и — радость такая! — листики земляники с зародышками ягод. Я вскакиваю в тележке, хватаю траву и начинаю тереть лицо. И теперь вижу все.

Весело, зелено, чудесно! И луга, и поля, и лес. Он еще далеко отсюда, угрюмый, темный. Называют его — боры. В этих борах — Угодник, и там — медведи. Близко сереется деревня, словно дрожит на воздухе. Так бывает в жары, от пара. Сияет-дрожит над ней белая, как из снега, колокольня с блистающим золотым крестом. Это и есть Мытищи. Воздух — густой, горячий, совсем медовый, с согревшихся на лугах цветов. Слышно жужжанье пчелок.

Мы стоим на лужку, у речки. Вся она в колком

блеске из серебра, и чудится мне: на струйках — играют-сверкают крестики. Я кричу:

— Крестики, крестики на воде!..

И все говорят на речку:

— А и вправду… с солнышка крестики играют словно!

Речка кажется мне святой. И кругом все — святое.

Богомольцы лежат у воды, крестятся, пьют из речки пригоршнями, мочат сухие корочки. Бедный народ все больше: в сермягах, в кафтанишках, есть даже в полушубках, с заплатками, — захватила жара в дороге, — в лаптях и в чунях, есть и совсем босые. Перематывают онучи, чистятся, спят в лопухах у моста, настегивают крапивой ноги, чтобы пошли ходчей. На мосту сидят с деревянными чашками убогие и причитают:

— Благоде-тели… ми-лостивцы, подайте святую милостинку… убогому-безногому… родителев-сродников… для-ради Угодника, во телоздравие, во душиспасение…

Анюта говорит, что видела страшенного убогого, который утюгами загребал-полз на коже, без ног вовсе, когда я спал. И поющих слепцов видали. Мне горько, что я не видел, но Горкин

утешает — всего увидим у Троицы, со всей Росеи туда сползаются. Говорят — вон там какой болезный!

На низенькой тележке, на дощатых катках-колесках, лежит под дерюжиной паренек, ни рукой, ни ногой не может. Везут его старуха с девчонкой из-под Орла. Горкин кладет на дерюжину пятак и просит старуху показать — душу пожалобить. Старуха велит девчонке поднять дерюжку. Подымаются с гулом мухи и опять садятся сосать у глаз. От больного ужасный запах. Девчонка веткой сгоняет мух. Мне делается страшно, но Горкин велит смотреть.

— От горя не отворачивайся… грех это!

В ногах у меня звенит, так бы и убежал, а глядеть хочется. Лицо у парня костлявое, как у мертвеца, все черное, мутные глаза гноятся. Он все щурится и моргает, силится прогнать мух, но мухи не слетают. Стонет тихо и шепчет засохшими губами: «Дунька… помочи-и…» Девчонка вытирает ему рот мокрой тряпкой, на которой присохли мухи. Руки у него тонкие, лежат, как плети. В одной вложен деревянный крестик, из лучинок. Я смотрю на крестик, и хочется мне заплакать почему-то. На холщовой рубахе парня лежат копейки. Федя кладет ему гривенничек на грудь

и крестится. Парень глядит на Федю жалобно так, как будто думает, какой Федя здоровый и красивый, а он вот и рукой не может. Федя глядит тоже жалобно, жалеет парня. Старуха рассказывает так жалобно, все трясет головой и тычет в глаза черным, костлявым кулачком, по которому сбегают слезы:

— Уж такая беда лихая с нами… Сено, кормилец, вез да заспал на возу-то… на колдобоине упал с воза, с того и попритчилось, кормилец… третий год вот все сохнет и сохнет. А хороший-то был какой, бе-э-лый да румяный… табе не хуже!

Мы смотрим на Федю и на парня. Два месяца везут, сам запросился к Угоднику, во сне видал. Можно бы по чугунке, телушку бы продали, Господь с ней, да потрудиться надо.

— И все-то во снях видит… — жалостно говорит старуха, — все говорит-говорит: «Все-то я на ногах бегаю да сено на воз кидаю!»

Горкин в утешение говорит, что по вере и дается, а у Господа нет конца милосердию. Спрашивает, как имя: просвирку вынет за здравие.

— Михайлой звать-то, — радостно говорит старушка. — Мишенькой зовем.

— Выходит — тезка мне. Ну, Миша, молись — встанешь! — говорит Горкин как-то особенно,

кричит словно, будто ему известно, что парень встанет.

Около нас толпятся богомольцы, шепотом говорят:

— Этот вот старичок сказал, уж ему известно… обязательно, говорит, встанет на ноги… уж ему известно!

Горкин отмахивается от них и строго говорит, что Богу только известно, а нам, грешным, веровать только надо и молиться. Но за ним ходят неотступно и слушают-ждут, не скажет ли им еще чего, — «такой-то ласковый старичок, все знает!».

Федя тащит ведерко с речки — поит Кривую. Она долго сосет — не оторвется, а в нее овода впиваются, прямо в глаз, — только помаргивает — сосет. Видно, как у ней раздуваются бока и на них вздрагивают жилы. Я кричу — вижу на шее кровь:

— Кровь из нее идет, жила лопнула!..

Алой струйкой, густой, растекается на шее у Кривой кровь. Антипушка стирает лопушком и сердится:

— А, сте-рва какая, прокусил, гад!.. Вон и еще… гляди, как искровянили-то лошадку оводишки… а она пьет и пьет, не чует!..

Говорят — это ничего, в такую жарынь пользительно, лошадка-то больно сытая, — «им и сладко». А Кривая все пьет и пьет, другое ведерко просит. Антипушка говорит, что так не пила давно, — пользительная вода тут, стало быть. И все мы пьем, тоже из ведерка. Вода ключевая, сладкая: Яуза тут родится, от родников, с-под горок. И Горкин хвалит: прямо чисто с гвоздей вода, ржавчиной отзывает, с пузыриками даже, — верно, через железо бьет. А в Москве Яуза черная да вонючая, не подойдешь, — потому и зовется — Яуза-Гряуза! И начинает громко рассказывать, будто из священного читает, а все богомольцы слушают. И подводчики с моста слушают — кипы везут на фабрику и приостановились.

— Так и человек. Родится дите чистое, хорошее, андельская душка. А потом и обгрязнится, черная станет да вонючая, до смрада. У Бога все хорошее, все-то новенькое да чистенькое, как те досточка строгана… а сами себя поганим! Всякая душа, ну… как цветик полевой-духовитый. Ну, она, понятно, и чует — поганая она стала, — и тошно ей. Вот и потянет ее в баньку духовную, во глагольную, как в Писаниях писано: «В баню водную, во глагольную»! Потому и идем к Преподобному — пообмыться, обчиститься, совлечься

от грязи-вони…

Все вздыхают и говорят:

— Верно говоришь, отец… ох, верно!

А Горкин еще из священного говорит, и мне кажется, что его считают за батюшку: в белом казакинчике он, будто в подряснике, — и так мне приятно это. Просят и просят:

— Еще поговори чего, батюшка… слушать-то тебя хорошо, разумно!..

На берегу, в сторонке, сидят двое, в ситцевых рубахах, пьют из бутылки и закусывают зеленым луком. Это, я знаю, плохие люди. Когда мы глядели парня, они кричали:

— Он вот водочки вечерком хватит на пятаки-то ваши… сразу исцелится, разделает комаря… таких тут много!

Горкин плюнул на них и крикнул, что нехорошо так охальничать, тут горе человеческое. А они все смеялись. И вот когда он говорил из священного, про душу, они опять стали насмехаться:

— Ври-ври, седая крыса! Чисть ее, душу, кирпичом с водочкой, чище твоей лысины заблестит!

Так все и ахнули. А подводчики кричат с моста:

— Кнутьями их, чертей! такие вот намедни у нас две кипы товару срезали!..

А те смеются. Горкин их укоряет, что нельзя над душой охальничать. И Федя даже за Горкина заступился — а он всегда очень скромный. Горкин его зовет — «красная девица ты прямо!». И он даже укорять стал:

— Нехорошо так! не наводите на грех!..

А они ему:

— Молчи, монах! в триковых штанах!..

Ну что с таких взять: охальники!

Один божественный старичок, с длинными волосами, мочит ноги в речке и рассказывает, какие язвы у него на ногах были, черви до кости проточили, а он летось помыл тут ноги с молитвой, и все-то затянуло — одни рубцы. Мы смотрим на его коричневые ноги: верно, одни рубцы.

— А наперед я из купели у Троицы мочил, а тут доправилось. Будете у Преподобного, от Златого Креста с молитвою испейте. И ты, мать, болящего сына из-под Креста помой, с верой! — говорит он старушке, которая тоже слушает. — Преподобный кладезь тот копал, где Успенский собор, — и выбило струю, под небо! Опосля ее крестом накрыли. Так она скрозь тот крест проелась, прыщет во все концы, — чудо-расчудо.

Все мы радостно крестимся, а те охальники и кричат:

— Надувают дураков! Водопровод-напор это, нам все, сресалям, видно… дураки степные!

Старичок им прямо:

— Сам ты водопровод-напор!

И все мы им грозимся и посошками машем:

— Не охальничайте! веру не шатайте, шатущие!..

И Горкин сказал — пусть хоть и распроводопровод, а через крест идет… и водопровод от Бога! А один из охальников допил бутылку, набулькал в нее из речки и на нас — плеск из горлышка, крест-накрест!

— Вот вам мое кропило! исцеляйся от меня по пятаку с рыла!..

Так все и ахнули. Горкин кричит:

— Анафема вам, охальники!..

И все богомольцы подняли посошки. И тут Федя — пиджак долой, плюнул в кулаки да как ахнет обоих в речку, — пятки мелькнули только. А те вынырнули по грудь и давай нас всякими-то словами!.. Анюта спряталась в лопухи, и я перепугался, а подводчики на мосту кричат:

— Ку-най их, ку-най!

Федя, как был, в лаковых сапогах, — к ним в реку и давай их за волосы трепать и окунать. А мы все смотрели и крестились. Горкин молит его:

— Федя, не утопи… смирись!..

А он прямо с плачем кричит, что не может дозволить Бога поносить, и все их окунал и по голове стукал. Тогда те стали молить — отпустить душу на покаяние. И все богомольцы принялись от радости бить посошками по воде, а одна старушка упала в речку, за мешок уж ее поймали — вытащили. А Федя выскочил из воды, весь бледный, — и в лопухи. Я смотрю — стягивает с себя сапоги и брюки и выходит в розовых панталонах. И все его хвалили. А те, охальники, выбрались на лужок и стали грозить, что сейчас приятелей позовут, мытищинцев, и всех нас перебьют ножами. Тут подводчики кинулись за ними, догнали на лужку и давай стегать кнутьями. А когда кончили, подошли к Горкину и говорят:

— Мы их дюже попарили, будут помнить. Их бы воротяжкой надоть, чем вот воза прикручиваем!.. Басловите нас, батюшка.

Горкин замахал руками, стал говорить, что он не сподоблен, а самый простой плотник и грешник. Но они не поверили ему и сказали:

— Это ты для простоты укрываешься, а мы знаем.

Тележка выезжает на дорогу. Федя несет сапоги

за ушки, останавливается у больного парня, кладет ему в ноги сапоги и говорит:

— Пусть носит за меня, когда исцелится.

Все ахают, говорят, что это уж указание ему такое, и парень беспременно исцелится, потому что сапоги эти не простые, а лаковые, не меньше как четвертной билет, — а не пожалел! Старуха плачет и крестится на Федю, причитает:

— Родимый ты мой, касатик-милостивец… хорошую невесту Господь те пошлет…

А он начинает всех оделять баранками и всем кланяется и говорит смиренно:

— Простите меня, грешного… самый я грешный.

И многие тут плакали от радости, и я заплакал. Ищем Домну Панферовну, а она храпит в лопухах, — так ничего и не видала. Горкин ей еще попенял:

— Здорова ты спать, Панферовна… так и царство небесное проспишь. А тут какие чудеса-то были!..

Очень она жалела, всех чудесов-то не видала.

Идем по тропкам к Мытищам. Я гляжу на Федины ноги, какие они белые, и думаю, как же он теперь без сапог-то будет. И Горкин говорит:

— Так, Федя, и пойдешь босо, в розовых? И что

это с тобой деется? То щеголем разрядился, а то… Будто и не подходит так… в тройке — и босой! Люди засмеют. Ты бы уж неприглядней как…

— Я теперь, Михаила Панкратыч, уж все скажу… — говорит Федя, опустив глаза. — Лаковые сапоги я нарочно взял — добивать, а новую тройку — тридцать рублей стоила! — дотрепать. Не нужно мне красивое одеяние и всякие радости. А тут и вышло мне указание. Пришлось стаскивать сапоги, а как увидал болящего, меня в сердце толкнуло: отдай ему! И я отдал, развязался с сапогами. Могу простые купить, а то и тройку продам для нищих или отдам кому. Я с тем, Михаила Панкратыч, и пошел, чтобы не ворочаться. Давно надумал в монастыре остаться, как еще Саня Юрцов в послушники поступил…

И вдруг подпрыгнул — на сосновую шишечку попал, — от непривычки. Горкин разахался:

— В монасты-ырь?! Да как же так… да меня твой старик загрызет теперь… ты, скажет, смутил его!

— Да нет, я ему письмо напишу, все скажу. По солдатчине льготный я, и у папаши Митя еще останется, да, может, еще и не примут, чего загадывать.

— Да Саня-то заика природный, а ты парень больно кудряв-красовит, — говорит Домна Пан-

феровна, — на соблазн только, в монахи-то! Ну, возьмут тебя в певчие, и будут на тебя глаза пялить… нашу-то сестру взять.

— И горяч ты, Федя, подивился я нонче на тебя… — говорит Горкин. — Ох, подумай-подумай, дело это нелегкое, в монастырь!..

Федя идет задумчиво, на свои ноги смотрит. Пыльные они стали, и Федя уже не прежний будто, а словно его обидели, наказали, — затрапезное на него надели.

— Благословлюсь у старца Варнавы, уж как он скажет. А то, может, в глухие места уйду, к валаамским старцам…

Он сворачивает в канавку у дороги и зовет нас с Анютой:

— Глядите, милые… земляничка-то божия, первенькая!

Мы подбегаем к нему, и он дает нам по веточке земляничек, красных, розовых и еще неспелых — зеленовато-белых. Мы встряхиваем их тихо, любуемся, как они шуршат, будто позванивают, не можем налюбоваться, и жалко съесть. Как они необыкновенно пахнут! Федя шурхает по траве, босой, и все собирает, собирает и дает нам. У нас уже по букетику всех цветов, ягодки так дрожат… Пахнет так сладко, свеже — радостным богомо-

льем пахнет, сосенками, смолой… И до сего дня помню радостные те ягодки, на солнце, — душистые огоньки, живые.

Мы далеко отстали, догоняем. Федя бежит, подкидывает пятки, совсем как мы. Кричит весело Горкину:

— Михаила Панкратыч… гостинчику! первая земляничка божья!..

И начинает оделять всех, по веточке, словно раздает свечки в церкви. Антипушка берет веточку, радуется, нюхает ягодки и ласково говорит Феде:

— Ах ты, душевный человек какой… простота ты. Такому в миру плохо, тебя всякий дурак обманет. Видать, так уж тебе назначено — в монахи спасаться, за нас Богу молиться. Чистое ты дите, вот.

Горкин невесел что-то, и всем нам грустно, словно Федя ушел от нас.

А вот и Мытищи, тянет дымком, навозом. По дороге навоз валяется: возят в поля, на пар. По деревне дымки синеют. Анюта кричит:

— Ма-тушки… самоварчики-то золотенькие по улице, как тумбочки!..

Далеко по деревне, по сторонам дороги, перед каждым как будто домом, стоят самоварчики

на солнце, играют блеском, и над каждым дымок синеет. И далеко так видно — по обе стороны — синие столбики дымков.

— Ну как тут чайку не попить!.. — говорит Горкин весело. — Уж больно парадно принимают… самоварчики-то стоят, будто солдатики. Домна Панферовна, как скажешь? Попьем, что ли, а? А уж серчать не будем.

— Ты у нас голова-то… а закусить самая пора… будто пирогами пахнет?..

— Самая пора чайку попить — закусить… — говорит и Антипушка. — Ах, благодать Господня… денек-то Господь послал!..

И уж выходят навстречу бабы, умильными голосками зазывают:

— Чайку-то, родимые, попейте… пристали, чай?..

— А у меня в садочке, в малинничке-то!..

— Родимые, ко мне, ко мне!.. летошний год у меня пивали… и смородинка для вас поспела, и…

— Из луженого-то моего, сударики, попейте… у меня и медок нагдышний, и хлебца тепленького откушайте, только из печи вынула!..

И еще, и еще бабы, и старухи, и девочки, и степенные мужики. Один мужик говорит уверенно, будто уж мы и порядились:

— В сарае у меня поотдохнете, попимши-то… жара спадет. Квасу со льду, огурцов, капустки, всего по постному делу есть. Чай на лужку наладим, на усадьбе, для апекиту… от духу задохнешься! Заворачивайте без разговору.

— Дом хороший, и мужик приятный… и квасок есть, на что уж лучше… — говорит Горкин весело. — Да ты не Соломяткин ли будешь, будто кирпич нам важивал?

— Как же не Соломяткин! — вскрикивает мужик. — Спокон веку все Соломяткин. Я и Василь Василича знаю, и тебя узнал. Ну, заворачивайте без разговору.

— Как Господь-то наводит! — вскрикивает и Горкин. — Мужик хороший, и квас у него хозяйственный. Вон и садик, смородинки пощипите, — говорит нам с Анютой, — он дозволит. Да как же тебя не помнить… царю родня! Во куда мы попали, как раз насупротив Карцовихи самой, дом вон двуяросный, цел все…

— А пощипите, зарозовела смородинка, — говорит мужик. — Верно, что сродни будто Лександре Миколаевичу… — смеется он, — братье, выходит.

— Как — братье?! — с удивлением говорит Антипушка; и я не верю, и все не верят.

— А вот так, братье! Вводи лошадку без раз-

говору.

Мужик распахивает ворота, откуда валит навозный дух. И мешается с ним медовый, с задов деревни, с лужков горячих, и духовито-горький, церковный будто, — от самоварчиков, с пылких сосновых шишек.

— Ах, хорошо в деревне!.. — воздыхает Антипушка, потягивая в себя теплый навозный дух. — Жить бы да жить… Нет, поеду в деревню помирать.

Пока отпрягают Кривую и ставят под ветлы в тень, мы лежим на прохладной травке-муравке и смотрим в небо, на котором заснули редкие облачка. Молчим, устали. Начинает клонить ко сну…

— А ну-ка кваску, порадуем Москву!.. — вскрикивает мужик над нами, и слышно, как пахнет квасом.

В руке у мужика запотевший каменный кувшин, красный; в другой — деревянный ковш.

— Этим кваском матушка, покойница, царевича поила… хвалил-то как!

Пенится квас в ковше, сладко шипят пузырики, — и кажется все мне сказкой.

— Хорош квасок, а проклажаться нечего, — торопит Горкин, — закусим — да и с Богом.

Пушкино пройдем, в Братовщине ночуем. Сколько до Братовщины, считаете?

— Поспеете, — рыгает мужик в кувшин. — Шибает-то как сердито! Чернослива припущаю. На цветочки пойдемте, на усадьбу. Пни там у меня, не хуже креслов.

Идем по стежке, в жарком, медовом духе. Гудят пчелы. Горит за плетнем красными огоньками смородина. В солнечной полосе под елкой, где чернеют грибами ульи, поблескивают пчелы. Антипушка радуется: сенцо-то — один цветок! Ромашка, кашка, бубенчики… Горкин показывает: морковник, купырники, свербика, белоголовничек. Мужик ерошит траву ногой — гуще каши! Идем в холодок, к сараю, где сереют большие пни.

— Французы на них сидели! — говорит мужик. — А сосна, может, и самого Преподобного видала.

Дымит самовар на травке. Антипушка с Горкиным делают мурцовку: мнут толкушкой в чашке зеленый лук, кладут кислой капусты, редьки, крошат хлеба, поливают конопляным маслом и заливают квасом. Острый запах мурцовки мешается с запахом цветов. Едим щербатыми ложками, а Федя грызет сухарик.

— Молодец-то чего же не хлебает? — спрашивает мужик.

Говорим — в монахи собирается, постится. Начинает хлебать и Федя.

— То-то, гляжу, чудной! Спинжак хороший, а в гульчиках и босой… а ноги белы. В монахи — а битюга повалит.

Горкин говорит: как кому на роду написано, такими-то и стоит земля. Мужик вздыхает: у Бога всего много. Федя просит, нет ли сапог поплоше, а то смеются. Идет за сарай и выходит в брюках, почесывает ноги: должно быть, крапивой обстрекался. Мужик говорит, что сапоги найдутся.

Пьем чай на траве, в цветах. Пчелки валятся в кипяток — столько их! От сарая длиннее тень. Домну Панферовну разморило, да и всем дремлется — не хочется и смородинки пощипать. Мужик говорит, что с квасу это.

— С квасу моего ноги снут. Старуха моя в Москву к дочке поехала, а то бы она вас «мартовским» попотчевала бы… в ледку у ней засечен. Давеча ты сказал — богато живу… — говорит мужик Горкину. — Бога не погневлю: есть чего пожевать, на чем полежать. Сыны в Питере, при дворцах, как гвардию отслужили, живут хорошо. Хлеба даром и я не ем. А богомольцев не из корысти

принимаю, а нельзя обижать Угодника. Спокон веков, от родителей. Дорога наша святая, по ней и цари к Преподобному ходили. В давни времена мы солому заготовляли под царей, с того и Соломяткины. У нас и Сбитневы есть, и Пироговы. Мной, может, и покончится, а закон додержу. Кака корысть! Зимой — метель на дворе, на печь давно пора, а тут старушку божию принесло, клюшкой стучит в окошко: «Пустите, кормильцы, заночевать!» Иди. Святое дело, от старины. Может, Господь заплатит.

Говорит он важно, бороду все поглаживает. Борода у него широкая. Лицом строгий, а глаза добрые. И такой чистый, в белой рубахе с крапинкой. Горкин спрашивает, как это он — «царев брат»?

— Дело это знаменитое. Сама Авдотья Гавриловна Карцева рассказывала, дом-то ее насупротив, в два яруса. Так началось. Как господа от француза из Москвы убегали на Ярославль, тут у нас гону было!.. Вот одна царская генеральша, вроде прынцесса, и поломайся. Карета ее, значит. Напротив дома Карцевых, оба колеса. Дуняше тогда семнадцатый год шел, а уже ребеночка кормила. Ну, помогла генеральше вылезть из кареты. Та ее сразу и полюбила, и пристала у них, пока карету

починяли. Писаная красавица была Дуняша, из наборов избор! А у генеральшиной дочки со страхов молоко пропало, дитё кричит. Дуняша и стань его кормить, молошная была. Высокая была, и все расположение ее было могущественное, троих выкормит. Генеральша и упросила ее с собой, мужу капитал выдала. Прихватила своего и поехала с царской генеральшей. Воротилась через год, в лисьей шубе, и повадка у ней уж благородная набилась. С матушкой моей подружки были. Я в шишнадцатом родился, а у матушки от горячки молоко сгорело… Дуняша и стала меня кормить со своим, в молоке была. Я ее так и звал — мама Дуня. А в восемнадцатом годе и случилось… Губернатор с казаками прискакал, и в бумаге приказ от царской генеральши — с молоком ли Дуня Карцева? А она две недели только родила. Прямо ее в Москву на досмотр помчали. А там уж царская генеральша ждет. Обласкала ее, обдарила… А царь тогда Лександр Первый был, а у него брат Миколай Павлыч. Вот у Миколай-то Павлыча сын родился, а что уж там — не знаю, а только кормилку надо достоверную искать по всему царству-государству. Царская генеральша и похвались: достану такую… из изборов избор. Значит, на какой она

высоте-то была, генеральша! Доктора ее обгляделиво всех статьях — говорят: лучше нельзя и требовать. И помчала ее та генеральша с дитей ее в карете меховой-золотой, с зеркальками… с энтими вот, на запятках-то… помчали стрелой без передыху, как птицы, и кругом казаки с пиками… В два дни в Питер к самому дворцу примчали. А Дуняша дрожит, Богу молит, как бы чего не вышло. Дите ее кормилку взяли… Ну, она тайком его кормила, ее генеральша под секретом по какой-то лестнице с винтом вываживала. Сперва в баню, промыли-прочесали, духами душили, одели в золото — в серебро, в каменья, кокошник огромадный… Как показали ее всей царской фамилии — шабаш, из изборов избор! Сам Миколай Павлыч ее по щеке поласкал, сказал: «Как Расея наша! корми Сашу моего, чтобы здоровый был». А царевич криком кричит, своего требует: молочка хочу! Как его припустили ко груди-то… к нашей, сталоть, мытищинской-деревенской, шабаш! Не оторвешь, что хошь. Сперва-то она дрожала с перепугу, а там обошлась. Три генеральши в шестеро глаз глядели, как она дитё кормила, а царская генеральша над ними главная. А целовать — ни-ни! «А я, — говорит, — наклонюсь, будто грудь выправить,

и приложусь!» Сама мне сказывала. Как херувинчик был, весь-то в кружевках. И корм ей шел отборный, и питье самое сладкое. И при ней служанки — на все. Вот и выкормила нам Лександру Миколаича, он всех крестьян-то и ослободил. Молочко-то… оно свое сказало! Задарили ее, понятно, наследники большую торговлю в Москве имеют. Царевич как к Троице поедет — к ней заезжал. Раз и захотись пить ему, жарко было. Она ему — миг! — «Я тебя, батюшка, кваском попотчую, у моей подружки больно хорош». А матушка моя квас творила… — всем квасам квас! И послала к матушке. Погнала меня матушка, побег я с кувшином через улицу, а один генерал, с бачками, у меня и выхвати кувшин-то! А царевич и увидь в окошко — и велел ему допустить меня с квасом. Она-то уж ему сказала, что я тоже ее выкормыш. А уж я парень был повыше его. Дошел к нему с квасом, он меня по плечу: «Богатырь ты!» И смеется: «Братец мне выходишь?» Я заробел, молчу. Велел выдать мне рубль серебра, крестовик. А генералы весь у меня кувшин роспили и цигарками заугощали. Во каким я вас квасом-то угостил! А как ей помирать, в сорок пятом годе было… за год, что ль, заехал к кормилке своей, а она ему на росстанях и передала

башмачки и шапочку, в каких его крестили. Припрятано у ней было. И покрестила его, чуяла, значит, свою кончину. Хоронили с альхереем, с певчими, в облачениях-разоблачениях… У нас и похоронена, памятник богатый, с золотыми словами: «Лежит погребено тело… Московской губернии крестьянки Авдокеи Гавриловны Карцовой… души праведные упокояются»…

Слушаю я — и кажется все мне сказкой. Горкин утирает глаза платочком. Пора и трогаться.

— Каки Мытищи-то, — говорит он растроганно, — и на святой дороге! Утешил ты нас. Будешь кирпич возить — заходи чайку попить.

Соломяткин дает мне с Анютой по пучочку смородины. Отдает Феде за целковый старые сапоги, жесткие, надеть больно. Федя говорит — потерплю. За угощение Соломяткин не берет и велит поклончик Василь Василичу. Провожает к дороге, показывает на дом царской кормилицы, пустой теперь, и хвалит нашу тележку: никто нонче такой не сделает! Горкин велит Феде записать — просвирку вынуть за упокой рабы божией Евдокеи и за здравие Антропа. Соломяткин благодарит и желает нам час добрый.

Солнце начинает клониться, но еще жжет. Темные боры придвинулись к дороге частой еловой

порослью. Пышет смолистым жаром. По убитым горячим тропкам движутся богомольцы — одни и те же. Горкин похрамывает, говорит — квас это на ноги садится, и зачем-то трясет ногой. На полянке, в елках, он приседает и говорит тревожно: «Что-то у меня с ногой неладно?» Велит Феде стащить сапог. Нога у него синяя, жилы вздулись. Он валится и тяжело вздыхает. Мы жалостливо стоим над ним. Антипушка говорит — не иначе, надо его в тележку. Горкин отмахивает — хоть ползком, а доберется, по обещанию. Антипушка говорит — кровь бы ему пустить, в Пушкине бабку найдем либо коновала. Горкин охает: «Не сподобляет Господь… за грех мой!» Мечется головой по иглам, жарко ему, должно быть. А от ельника — как из печи. И всё стонет:

— За ква-ас на сухариках обещался потрудиться, а мурцовки захотел, для мамону… квасом Господь покарал…

Домна Панферовна кричит:

— Кровь у тебя зёмкнуло, по жиле вижу! Какую еще там бабку… сейчас ему кровь спущу!..

И начинает ногтем строгать по жиле и разминать. Горкин стонет, а она на него кричит:

— Что-о?.. храбрился, а вот и пригодилась Панферовна! Ничего-о, я тебя сразу подыму, только

дайся!

И вынимает из саквояжа мозольный ножик и тряпочку. Горкин стонет:

— Цирульник… Иван Захарыч… без резу пользовал… пиявки, Домнушка, приставлял…

— Ну, иди к своему цирульнику, «без резу»!.. Ты меня слушай… я тебе сейчас черную кровь спущу, дурную… а то жила лопнет!..

Горкин все не дается, охает:

— Ой, погоди… ослабну, не дойду… не дамся нипочем, ослабну…

Домна Панферовна машет на него ножиком и кричит, что ни за что помрет, а она это дело знает — чикнет только разок! Горкин крестится, глядит на меня и просит:

— Маслицем святым… потрите из пузыречка, от Пантелеймона… сам Ераст Ерастыч без резу растирал…

А это доктор наш. Домна Панферовна кричит: «Ну, я не виновата, коли помрешь!» — берет пузырек и начинает тереть по жиле. Я припадаю к Горкину и начинаю плакать. Он меня гладит и говорит:

— А Господь-то… воля Господня… помолись за меня, косатик.

Я пробую молиться, а сам смотрю, как трет

и строгает ногтем Домна Панферовна, вся в поту. Кричит на Федю, который все крестится на елки:

— Ты, молельщик… лапы-то у тебя… три тужей!

Федя трет изо всей-то мочи, словно баранки крутит. Горкин постанывает и шепчет:

— У-ух… маленько поотпустило… у-ух… много легше… жила-то… словно на место встала… маслице-то как… роботает… Пантелемон-то… батюшка… что делает…

Все мы рады. Смотрим — нога краснеет. Домна Панферовна говорит:

— Кровь опять в свое место побегла… ногу-то бы задрать повыше.

Стаскивают мешки и подпирают ногу. Я убегаю в елки и плачу-плачу, уже от радости, Гляжу — и Анюта в елках ревет и щепчет:

— Помрет старик… не дойдем до Троицы… не увидим!..

— Я кричу ей, что Горкин уж водит пальцами и нога красная, настоящая. Бегу к Горкину, а слезы так и текут, не могу унять. Он поглаживает меня, говорит:

— Напугался, милок?.. Бог даст, ничего… дойдем к Угоднику.

Мне делается стыдно: будто и оттого я плачу,

что не дойдем.

А кругом уже много богомольцев, и все жалеют:

— Старичок-то лежит, никак отходит?..

Кто-то кладет на Горкина копейку; кто-то советует:

— Лик-то, лик-то ему закрыть бы… легше отойдет-то!

Горкин берет копеечку, целует ее и шепчет:

— Господня лепта… сподобил Господь принять… в гроб с собой скажу положить…

Шепчутся-крестятся:

— Гро-ба просит… душенька-то уж чует…

Антипушка плюется, машет на них:

— Чего вы каркаете, живого человека хороните?!

Горкин крестится и начинает приподыматься. Гудят-ахают:

— Гляди ты, восстал старик-то!..

Горкин уже сидит, подпирается кулаками сзади, — повеселел.

— Жгет маленько, а боли такой нет… и пальцами владаю… — говорит он, и я с радостью вижу, как кланяется у него большой палец. — Отдохну маленько — и пойдем. До Братовщины ноне не дойти, в Пушкине заночуем уж.

— Сядь на тележку, Горкин!.. — упрашиваю я. — Я грех на себя возьму!

То, что сейчас случилось, — вздохи, в которых боль, тревожно ищущий слабый взгляд, испуганные лица, Федя, крестящийся на елки, копеечка на груди… — все залегло во мне острой тоской, тревогой. И эти слова — «отходит… лик-то ему закрыть бы. Я держу его крепко за руку. Он спрашивает меня:

— Ну, чего дрожишь, а? жалко меня стало, а?..

И сухая, горячая рука его жмет мою.

Солнце невысоко над лесом, жара спадает. Вон уж и Пушкино. Надо перейти Учу и подняться: Горкин хочет заночевать у знакомого старика, на той стороне села. Федя поддерживает его и сам хромает — намяли сапоги ногу. Переходим Учу по смоляному мосту. В овраге засвежело, пахнет смолой, теплой водой и рыбой. Выше еще тепло, тянет сухим нагревом, еловым, пряным. Стадо вошло в деревню, носятся табунками овцы, стоит золотая пыль. Избы багряно золотятся. Ласково зазывают бабы.

— Чай, устали, родимые, ночуйте… свежего сенца постелим, ни клопика, ни мушки!.. Ночуйте, право?..

Знакомый старик — когда-то у нас работал —

встречает с самоваром. Нам уже не до чаю. Федя с Антипушкой устраивают Кривую под навесом и уходят в сарай на сено. Домна Панферовна с Анютой ложатся на летней половине, а Горкину потеплей надо. В избе жарко: сегодня пекли хлебы. Старик говорит:

— На полу уж лягте, на сенничке. Кровать у меня богатая, да беда… клопа сила, никак не отобьешься. А тут как в раю вам будет.

Он приносит бутылочку томленых муравейков и советует растереть, да покрепче, ногу. Домна Панферовна старательно растирает, потом заворачивает в сырое полотенце и кутает крепко войлоком. Остро пахнет от муравьев, даже глаза дерет. Горкин благодарит:

— Вот спасибо тебе, Домнушка, заботушка ты наша. Прости уж за утрешнее.

Она ласково говорит:

— Ну чего уж… все-то мы кипятки.

Старик затепливает лампадку, покрехтывает. Говорит:

— Вот и у меня тоже кровь запирает. Только муравейками и спасаюсь. Завтра, гляди, и хромать не будешь.

Они еще долго говорят о всяких делах. За окошками еще светло, от зари. Шумят мухи по потолку,

черным-то-черно от них.

Я просыпаюсь от жгучей боли, тело мое горит. Кусают мухи? В зеленоватом свете от лампадки я вижу Горкина: он стоит на коленях, в розовой рубахе, и молится. Я плачу и говорю ему:

— Горкин… мухи меня кусают, больно…

— Спи, косатик, — отвечает он шепотом, — каки там мухи, спят давно.

— Да нет, кусают!

— Не мухи… это те, должно, клопики кусают. Изба-то зимняя. С потолка, никак, валятся, ничего не поделаешь А ты себе спи — и ничего, заспишь. Ай к Панферовне те снести, а? Не хочешь… Ну, и спи, с Господом.

Но я не могу заснуть, А он все молится.

— Не спишь все… Ну иди ко мне, поддевочкой укрою. Согреешься — и заснешь. С головкой укрою, клопики и не подберутся. А что, испугался за меня давеча, а? А ноге-то моей совсем легше, согрелась с муравейков. Ну что… не кусают клопики?

— Нет. Ножки только кусают.

— А ты подожмись, они и не подберутся. А-ах, Господи… прости меня, грешного… — зевает он.

Я начинаю думать — какие же у него грехи? Он прижимает меня к себе, шепчет какую-то

молитву.

— Горкин, — спрашиваю я шепотом, — какие у тебя грехи? Грех, ты говорил… когда у тебя нога надулась?..

— Грех-то мой… Есть один грех, — шепчет он мне под одеялом, — его все знают, и по закону отбыл, а… С батюшкой Варнавой хочу на духу поговорить, пооблегчиться. И в суде судили, и в монастыре два месяца на покаянии был. Ну, скажу тебе… Младенец ты, душенька твоя чистая… Ну, работали мы на стройке, семь лет скоро. Гриша у меня под рукою был, годов пятнадцати, хороший такой. Его отец мне препоручил, в люди вывесть. А он, сказать тебе, высоты боялся. А какой плотник, кто высоты боится! Я его и приучал: ходи смелей, не бось! Раз понес он дощонку на второй ярусок — и стал. «Боюсь, — говорит, — дяденька, упаду… глаза не глядят!» А я его, сталоть, постращал: «Какой ты, дурачок, плотник будешь, такой высоты боишься? полезай!» Он ступанул — да и упади с подмостьев! Три аршинчика с пядью всей и высоты-то было. Да на кирпичи попал, ногу сломал. Да, главно дело, грудью об кирпичи-то… кровью стал плевать, через годок и помер. Вот мой грех-то какой. Отцу-матери его пятерку на месяц посылаю, да

папашенька красенькую дают. Живут хорошо. И простили они меня, сами на суду за меня просили. Ну, церковное покаяние мне вышло, а то сам суд простил. А покаяние для совести, так. А все что-то во мне томится. Как где услышу, Гришей кого покличут, — у меня сердце и похолодает. Будто я его сам убил… А? Ну, чего душенька твоя чует, а?.. — спрашивает он ласково и прижимает меня сильней. У меня слезы в горле. Я обнимаю его и едва шепчу:

— Нет, ты не убил… Горкин, милый… ты добра ему хотел…

Я прижимаюсь к нему и плачу, плачу. Усталость ли от волнений дня, жалко ли стало Горкина — не знаю. Неужели Бог не простит его и он не попадет в рай, где души праведных упокояются? Он зажигает огарок, вытирает рубахой мои слезы, дает водицы.

— Спи, с Господом, завтра рано вставать. Хочешь, к Антипушке снесу, на сено? — спрашивает он тревожно. Я не хочу к Антипушке.

В избе белеет; перекликаются петухи. Играет рожок, мычат коровы, щелкает крепко кнут. Под окном говорит Антипушка: «Пора бы и самоварчик ставить». Горкин спит на спине, спокойно дышит. На желтоватой его груди через раскрыв-

шуюся рубаху видно, как поднимается и опускается от дыхания медный, потемневший крестик. Я тихо подымаюсь и подхожу к окошку, по которому бьются с жужжаньем мухи. Антипушка моет Кривую и трет суконкой, как и в Москве. По той и по нашей стороне уже бредут ранние богомольцы, по холодку. Так тихо, что и через закрытое окошко слышно, как шлепают и шуршат их лапти. На зеленоватом небе — тонкие снежные полоски утренних облачков. На моих глазах они начинают розоветь и золотиться — и пропадать. Старик, не видя меня, пальцем стучит в окошко и кричит сипло: «Эй, Панкратыч, вставай!»

— Наказал будить, как скотину погонят, — говорит он Антипушке, зевая. — Зябнется по заре-то… а, гляди, опять нонче жарко будет.

Меня начинает клонить ко сну. Я хочу полежать еще, оборачиваюсь и вижу: Горкин сидит под лоскутным одеялом и улыбается, как всегда.

— Ах ты, ранняя пташка… — весело говорит он. — А нога-то моя совсем хорошая стала. Ну-ко, открой окошечко.

Я открываю — и красная искра солнца из-за избы напротив ударяет в мои глаза.

У Креста

Я сижу на завалинке и смотрю — какая красивая деревня!

Соломенные крыши и березы — розово-золотистые, и розовые куры ходят, и розоватое облачко катится по дороге за телегой. Раннее солнце кажется праздничным, словно на Светлый день. Идет мужик с вилами, рычит: «Ай закинуть купца на крышу?» — хочет меня пырнуть. Антипушка не дает: «К Преподобному мы, нельзя». Мужик говорит: «А-а-а… — глядит на нашу тележку и улыбается, — занятная-то какая!» Садится с нами и угощает подсолнушками.

— Та-ак… к Преподобному идете… та-ак.

Мне нравится и мужик, и глиняный рукомойник на крылечке, стукнувший меня по лбу, когда я умывался, и занавоженный двор, и запах, и колесо колодца, и все, что здесь. Я думаю — вот немножко бы здесь пожить.

Поджидаем Горкина, ему растирают ногу. Нога совсем хорошая у него, ни сининки, но Домна Панферовна хочет загнать кровь дальше, а то воротится. Прямо — чудо с его ногой. На Масленице тоже нога зашлась, за доктором посылали,

и пиявки черную кровь сосали, а больше недели провалялся. А тут — призрел Господь ради святой дороги, будто рукой сняло. В благодарение Горкин только кипяточку выпил с сухариком, а чай отложил до оттовенья, если Господь сподобит. И мы тоже отказались, из уважения: как-то неловко пить. Да и какие теперь чаи! Приготовляться надо, святые места пойдут. Братовщину пройдем — пять верст, половина пути до Троицы. А за Талицами — пещерки, где разбойники стан держали, а потом просветилось место. А там — Хотьково, родители Преподобного там, под спудом. А там и гора Поклонная, называется — «у Креста». В ясный день Троицу оттуда видно: стоит над борами колокольня, как розовая свеча пасхальная, и на ней огонечек — крестик. И Антипушка говорит — надо уж потерпеть, какие уж тут чаи. В египетской-то пустыне — Федя сказывал — старцы и воды никогда не пьют, а только росинки лижут.

Приходит Федя, говорит — церковь ходил глядеть и там шиповнику наломал — и дает нам с Анютой по кустику: «Будто от Плащаницы пахнет, священными ароматами!» Видал лохматого старика, и на нем железная цепь, собачья, а на цепи замки замкнуты, идет — гремит; а под

мышкой у него кирпич. Может, святой-юродивый, для плоти пострадания. Мужик говорит, что всякие тут проходят, есть и святые, попадаются. Один в трактире разувался, себя показывал, — на страшных гвоздях ходит, для пострадания, ноги в кровь. Ну, давали ему из благочестия, а он трактирщика и обокрал, ночевамши. Антипушка и говорит про Федю:

— Тоже спасается, ноги набил — и не разувается.

Мужик и спрашивает Федю, чего это у него на глазу, кровь, никак? Антипушка поднял с него картуз, а в картузе-то шиповник, натуго! И на лбу исцарапано. Федя застыдился и стал говорить, что для ароматов наклал да забыл. А это он нарочно. Рассказывал нам вчера, как святой на колючках молился, чтобы не спать. Мужик и говорит: «Ишь ты, какой бесчувственный!» Я сую веточку под картузик и жму до боли. Пробует и Анюта тоже. Мужик смеется и говорит:

— Пойдемте навоз возить, будет вам тела пострадание!

Мы все смеемся, и Федя тоже.

Куда ни гляди — все рожь, — нынче хлеба богатые. Рожь высокая, ничего-то за ней не видно. Федя сажает меня на плечи, и за светло-зеленой

гладью вижу я синий бор, далекий… — кажется, не дойти. Рожь расстилается волнами, льется, — больно глазам от блеска. Качаются синие боры, жаворонок журчит, спать хочется. Через слипшиеся ресницы вижу — туманятся синие боры, льется-мерцает поле, прыгает там Анюта… Горкин кричит: «Клади в тележку, совсем вареный… спать клопы не дали!..» Пахнет травой, качает, шуршит по колесам рожь, хлещет хвостом Кривая, стегает по передку — стег, стег… Я плыву на волнистом поле, к синим борам, куда-то.

— Ко крестику-то сворачивай, под березу!

Я поднимаю голову: темной стеною бор. Светлый лужок, в ромашках. Сидят богомольцы кучкой, едят ситный.

Под старой березой — крест. Большая дорога, белая. В жарком солнце скрипят воза, везут желтые бочки, с хрустом, — как будто сахар. К небу лицом лежат мужики на бочках, раскинув ноги. Солнце палит огнем. От скрипа-хруста кажется еще жарче. Парит, шея у меня вся мокрая. Висят неподвижно мушки над головой, в березе. Федя поит меня из чайника. Жесть нагрелась, вода невкусная. Говорят — потерпи маленько, скоро святой колодец, студеная там вода, как лед, — за Талицами, в овраге. Прыгает ко мне

Анюта, со страшными глазами, шепчет: «Человека зарезали, ей-Богу!..» Я кричу Горкину. Он сидит у креста, разувшись, глядит на свою ногу. Я кричу: «Зачем зарезали человека?!» И Анюта кричит: «Зарезали человека, щепетильщика!» Я не понимаю — какого «щепетильщика»? Горкин говорит:

— Чего, дурачок, кричишь?.. Никого не зарезали, а это крестик... Может, и помер кто. Всегда по дорогам крестики, где была какая кончина.

Анюта крестится и кричит, что, верно, зарезали человека — щепетильщика!

— Бабушка знает... в лавочку заходили квасок пить! Зарезали щепетильщика... вот ей-Богу!..

Горкин сердится. Какого такого щепетильщика? с жары сбесилась? К ней пристают Антипушка и Федя, а она все свое: зарезали щепетильщика! Подходит Домна Панферовна, еле передыхает, вся мокрая. Рассказывает, что зашли в Братовщине в лавочку кваску попить, вся душа истомилась, дышать нечем... а там прохожий и говорит — зарезали человека-щепетильщика, с коробами-то ходят, крестиками, иголками вот торгуют, пуговками... Впереди деревушка будет, Кащеевка, глухое место... будто вчера зарезали паренька, в кустиках лежит, и мухи всего обсели... такая

страсть!..

— Почитай каждый день кого-нибудь да зарежут, говорит. Опасайтесь…

— Во-он что-о… — тихо говорит Горкин и крестится. — Царство ему небесное.

Всем делается страшно. Богомольцы толпятся, ахают, поглядывают туда, вперед. Говорят, что теперь опасные все места, мосточки пойдут, овражки… — один лучше и не ходи. А Кащеевка эта уж известная, воровская. Вот и тут кого-то поубивали, крестик стоит, — ох, Господи! А за Талицами сейчас кресто-ов!.. Чуть поглуше где — крестик стоит.

Я хочу ближе к Горкину. Сажусь под крестик, жмется ко мне Анюта, в глаза глядит. Шепчет: «И нас зарежут, как щепетильщика…» Крестик совсем гнилой, в крапинках желтой плесени. Что тут было — никто не знает. Береза, может, видала, да не скажет. Федя говорит — давайте споем молитву, за упокой. И начинает, а мы за ним. На душе делается легче. Подходит старик с косой, слушает, как хорошо поем «Со святыми упокой». Горкин спрашивает, почему крестик, не убили ли тут кого.

— Никого не убивали, — говорит старик, — а купец помер своею смертью, ехал из Александрова,

стал закусывать под березой… ну, его и хватило, переел-перепил. Ну, сын его увез потом домой, а для памяти тут крест поставил, на помин души нам выдал… я тогда парнем был. Хорошо помянули. У нас этого не заведено, чтобы убивать. За Талицами… ну, там случается. Там один не ходи… А у нас этого не заведено, у нас тихо.

Все мы рады, что не зарезали, и кругом стало весело: и крестик, и береза повеселели будто.

— Там овражки пойдут, — говорит старик, — гляди и гляди. И лошадку могут отнять, и… Вы уж не отбивайтесь от дружки-то, поглядывайте.

И опять нам всем страшно.

Сильно парит, а только десятый час. За Талицами — овраг глубокий. Мы съезжаем — и сразу делается свежо и сумрачно. По той стороне оврага — старая березовая роща, кричат грачи. Место совсем глухое. Стоит, под шатром с крестиком, колодец. В горе — пещерки. Лежат у колодца богомольцы, говорят нам: «Повел монах народ под землю, маленько погодите, лошадку попоите». Федя глядит в колодец — дна, говорит, не видно. Спускает на колесе ведро. Колесо долго вертится. Долго дрожит веревка, втягивает ведро. От ведра веет холодом. Вода — как слеза, студеная, больно пить. Говорят — подземельная

тут река, во льду; бывает, что и льдышки вытягивают, а кому счастье — серебряные рубли находят, старинные. Тут разбойники клад держали, а потом просветилось место, какой-то монах их вывел.

— Глядите-ка, — говорит Федя, — старушка знакомая тут, с внучкой-то, в бусах-то… у заставы-то повстречали!

Старушка признает нас, рада. С ней на травке красавочка-молодка, которая на девочку похожа, в красной повязке рожками, в узорочной сорочке. Все мы рады, словно родные встретились. Молодка почему-то плачет, перебирает янтарные бусинки в коленях. Горкин расспрашивает, с чего это она плачет. Старушка жалуется, что вот, ни с чего обидел внучку старик один — вон лежит, боров, на кирпиче-то дрыхнет!

— Да что, родные… Подошел к нам, схватил бабочку за рукав, стал сопеть, затребовал ее… дай мне твой замочек, какой ни есть… я те замкну — отомкну, а грех на себя приму! Тьфу!.. Боров страшный!.. Про грех сказал-то чего, а? А это он от людей слыхал, что мальчика — анделькую душку — заспала, молчит-горюет с того. Она — от него, заголосила… Как бес, страшный, железами закручен, замки навешены! Он

ее за бусы и схватил, потянул к себе… пойдем со мной жить, я с тебя грех сыму-разомкну! И порвал бусы-то на ней. Чумовой! Все тут собирали, не собрали. До слез внучку довел. И плакать разучилась, а вот и заплакала!

Красавица-молодка смотрит на нас сквозь слезы. Горкин и говорит:

— А ведь к лучшему вышло-то! Она будто в себя пришла, по-умному глядит. Помню, шла — как водой облили… а ты гляди, мать, она хорошая стала! Может, себя найдет?..

— Дал бы Господь милосливый! Откликаться стала, а то все немая словно была. Как бусинки-то посыпались, она — ах!.. — как заголосит!.. Стала их подбирать, меня звать. Признала меня-то, родимые… Заплакала, жаться ко мне стала. «Баушка, — говорит, — да где мы с тобой, да пойдем, баушка, домой!»

Федя нашел бусинку и подает молодке. Она ничего, приняла от него, покосилась только и закрыла лицо ладошками. Домна Панферовна к ней подсела, по головке ее погладила и стала говорить что-то — ничего, слушает. На меня так весело посмотрела и далее улыбнулась. Совсем как святая на иконах, очень приятная. Горкин говорит: «Чудо совершилось!» Федя кричит нам:

«Идите сюда, тут старик замечательный!»

Старик страшный, в волосах репейки, лежит головой на кирпиче. Подходим, а он распахнул дерюжную кофту, а там голое тело, черное, в болячках, и ржавая цепь, собачья, кругом обернута, а на ней все замки: и мелкие, и большие, ржавые, и кубастые, а на животе самый большой, будто от ворот. Он как гаркнет на нас: «Пустословы ай богословы?» Горкин говорит ему ласково — мы не величаемся, а как Господь. Старик и давай молоть:

— Отмаливаю за всех! Замкну-отомкну, ношу грехи, во сколько! Этот пять лет ношу, кабатчиков, с Серпухова! на нем кровь, кро-овь. А это бабьи грехи, укладочные, все мелочь… походя отмыкаю-замыкаю… от духа прохода нет от ихнего, кошачьего. С вас мне нечего взять, сами свое донесете!

А на Домну Панферовну осерчал:

— Ты, толстуха, жрать да жрать? Давай твой замчище… замкну и отомкну! Поношу, дура, за тебя, осилю… пропащая без меня! Воротный давай, с лабаза!

Домна Панферовна заплевалась и давай старика отчитывать. Святые люди — смиренны, а он хвастун!

— Свою-то грязь посмой! На кирпиче спит на людях, а больную бабенку обидел, бусы порвал! Таких дармоедов палкой надо, в холодную бы…

Горкин успокаивает ее, а она еще пуще на старика, сердца унять не может. Старик как вскинется на нее, словно с цепи сорвался, гремит замками.

— Черт! — кричит. — Черт, бес!..

И давай плеваться. Тут и все поняли, что он совсем разум потерял. Приходит монах с пещерок и говорит: «Оставьте его в покое, это от Троицы, из посада, мещанин, замками торговал — и проторговался… а теперь грехи на себя принимает, с людей снимает, носит вериги-замки. Из сумасшедшего дома выпустили его, он невредный».

Смотрим пещерки, со свечками. Сыро, как в погребе, и скользко. И ничего не видно. Монах говорит, что жил в горе разбойник со своей шайкой, много людей губил. И пришел монашек Антоний, и велел уходить разбойнику. А тот ударил его ножом, а нож попал в камень и сломался по воле Господа. И испугался разбойник, и сказал: «Никогда не промахивался, по тебе только промахнулся». И оставил его в покое. А тот монашек стал вкапываться в гору, и ушел от раз-

бойника в глубину, и там пребывал в молитве и посте. А разбойник в тот же год растерял всю свою шайку и вернулся раз в вертеп свой, весь избитый. И узнал про сие тот монашек, и сказал разбойнику:

«Покайся, завтра помрешь». И тот покаялся. И замуровал его монашек в дальней келье, в горе, а где — неведомо. И с того просветилось место. Сорок лет прожил монашек Антоний один в горе и отошел в селения праведных. А копал девять лет, приняв такой труд для испытания плоти.

Выходим из пещерок, Горкин и говорит: «Что-то я не пойму, плохо монах рассказывает». Ну, Федя и объяснил нам, что все это для пострадания плоти, и все-таки монах и разбойников рассеял, а атамана к покаянию привел. Спрашиваем монаха: «А святой тот, кто гору копал?» Монах подумал и говорит, что это неизвестно и жития его нет, а только по слуху передают. Ну, нам это не совсем понравилось, что нет жития, а по слуху мало ли чего наскажут. Одно только хорошо, что гнездо разбойничье прекратилось.

Идем самыми страшными местами. Темные боры сдвинулись, стало глухо. Дорога совсем пустая, редко — проедет кто. И богомольцы реже. Где отходят боры — подступают березовые рощи

с оврагами. В перелесках кукушек слышно — наперебой.

— Кукушечки-то раскуковались… перед грозой, пожалуй?.. — говорит Горкин, оглядывая небо. — Да нет, чисто все. А парит.

— Уж коли парит — где-нибудь туча подпирает… — говорит Антипушка. — Кривая-то задотела! И березой как… чистые духи, банные. С овражков-то как тянет… это уж дождю быть.

И любками стало пахнуть. А до вечера далеко; а они больше к ночи пахнут, фиалочки ночные. А кукушки… — одна за другой, одна за другой — прямо наперебой спешат. Мы загадываем, сколько нам лет пожить. Горкину вышло тридцать, а мне — четыре, сбилась моя кукушечка. Говорят — она еще считать не выучилась.

С нами и старушка с внучкой, так привязались к нам. И нам с ними повеселей. Молодка тоже повеселела, стала чуть с Домной Панферовной говорить. Та ее окликнет: «Параша!» — а молодка ей: «А-я?» А то: «Аюшки?» Федя находит земляничку, дает Параше, а та ничего — скусит и улыбнется. Все смеются на Федю: какой кавалер хороший, а в монахи все трафится. И старушка очень удивилась — молодчик такой, красавчик, а под каблук под черный! А он все Параше земля-

ничку. Домна Панферовна ему и посмеялась:

— Найди такую себе кралечку в Москве — и женись, и будешь ее земляничкой кормить… а эта чужая, муж есть.

Федя как будто испугался и убежал от дороги в лес. Насилу мы его дозвались — страшно без него-то, места глухие… Кащеевка сейчас.

Проходим Кащеевкой, где зарезали щепетильщика. Спрашиваем у тамошних, как зарезали щепетильщика, поймали ли? Говорят — и не слыхали даже. Был, говорят, коробейник-щепетильщик намедни тут — на Посад пошел. А мужик вот проезжий сказывал… — на Посаде один мужчина зарезался в трактире, в больницу его свезли, — с того, может, слух и пошел. А тут место самое тихое.

И правда, совсем не страшно. Говорят, медведика видали в овсах, пошел — запрыгал-закосолапил. А мы и не видали. Ну, говорят, может, еще увидите, тут их сила.

Долго идем, а медведика все не видно. За Рахмановой сворачиваем с дороги — на Хотьково. Места тут уж самые глухие. Третий час дня: как раз к вечерням и попадем к родителям Преподобного. А дорога тяжелая, овраги. Сильно парит, все истомились, Кривая запинается,

и вот — будто за нами… гром?..

— Никак громком погромыхивает?.. — оглядывается Горкин. — Э-э… гляди-ка, чего делается-то… к Москве-то как замолаживает! О-о-о… гроза на нас гонит, братики, дойтить бы успеть только. Погоняй, погоняй Кривую, Антипушка!..

Мы с Анютой в тележке. Небо за нами темное, давит жаром. Вот парить-то начало с утра — к грозе. С оврагов тянет медовыми цветами.

— Гляди, Кривая чего разделывает… ушками как стригет! Это она громка боится… — нукая, говорит Антипушка. — А ты, дурашка, не бойся… дождичком-то помоет — будешь хорошая. Смокла как, запотела.

Гром теперь ясно слышен, раскатами. Синее к Москве, за нами, и черное из-за лесу, справа. Я вижу молнию, и Анюта видит, — будто огненная веревка, спуталась и ушла под тучу. Скорее бы до Хотькова дотянуться. Гром уж будто и впереди, — словно шары катают.

— Ка-ак раскатилось-то!.. — говорят. — Круговая гроза идет, страшная, не дай Бог!.. О-о-о, отовсюду нахлобучивает!..

И опять я вижу золотую веревочку на туче — мигнула только. Встречный мужик в телеге кричит:

— А вы поторапливайтесь! Покос вон монастырский, сено монашки убирают-спешат… к сарайчику добирайтесь! У, грозища идет, совсюду нахлобучивает как… не дай Бог, град!..

Он вытаскивает из-под себя рогожу и накрывается.

— Неужто с градом, холодом как подуло?.. — Антипушка снимает шапку и крестится. — Гляди-ка, туча-то с бородой… как бы не подмела.

Едем березами, чистой рощей. Кукушки и там, и там — кукуют, как очумелые, от грозы. Густо пахнет березой, сеном, какими-то горькими цветами. Кривая сама торопится, грозы боится. Вон и покос, лужайка. Монашки быстро мотают граблями, сгребают сено в валы и копны. Совсем стемнело: черная над нами туча, с белыми клочьями — «с бородой». С клочьев стегают молнии, бьют в березы. Анюта тычется головой, кричит:

— Ой, бабушка, боюсь!..

Совсем нависло, цепляет за березы, сухо трещит, словно ворох лучины бросили… и вот — оглушает громом, будто ударило в тележку. Все крестятся и шепчут: «Свят-свят-свят, Господь-Саваоф…» Катится долго гром, и опять вспыхивает-слепит, и опять грохает, до страху. Набегает за нами шорохом — это ливень. Нам машут с луга

монашки — скорей, скорей! Первые капли падают, крупные, как градины. На выкошенном лугу рядами темнеют копны, синеют-белеют трудницы: синие на них платья и белые платочки. Рысью мы доезжаем до навеса, бежим укрыться. Дождь припускает пуще. Старушка монахиня приветливо говорит:

— Перегодите дождичок-то, спаси вас Господи.

Горкин спохватывается: мешки-то в телеге смокнут! Федя бежит к телеге, схватывает мешки — весь мокрый. Кривая стоит под ливнем, развесив уши, вся склизкая. Будто болото под телегой. Антипушка доволен — ничего, поосвежит маленько, для Кривой это хорошо, погода теплая.

С веселым криком бегут трудницы по лугу, как будто в сетке.

— Сороки-то мои, глупые… ах, глупые!.. — смеется старушка монахиня.

Будто летят в дожде бело-синие птицы по лугу. Уж не ливень, а проливень — леса совсем не видно. Блещет, гремит и льет. Огромная лужа у навеса — зальет, пожалуй, и куда мы тогда все денемся, надо на крышу лезть, хочется, чтобы подольше лило. Трудницы выскакивают под ливень, умываются дождиком и крестятся. Грохает прямо над сараем. Монахиня говорит, крестясь:

— Свят-свят-свят… Ах, благодать Господня… хорошо-то как стало, свежо, дышать легко!.. Свят-свят…

Гром уже тише, глуше. Пахнет душистым сеном и теплым лугом, парок курится. Слышно под уходящий ливень, как благовестят в монастыре к вечерням.

— Уж заночуйте у родителей Преподобного, — говорит нам монахиня, — помолитесь, панихидку по родителям отслужите, схимонаху Кириллу и схимонахине Марии.

И услышит вашу молитву Преподобный. У нас хорошо, порядливо… под Покровом Владычицы обитаем. Родители-то у нас под спудом… кутьицей сытовой родителей помяните, спаси вас Господи. Рукодельница наши поглядите, кружевки, пояски… деткам мячики подарите лоскутные с вышивкой, нарядные какие…

В Хотькове мы ночуем.

Утро, тепло и пасмурно. Дали смутны. Мы — «у Креста», на взгорье. В часовне — великий крест. Монах рассказывает, что отсюда, за десять верст до Троицы, какой-то святой послал поклон и благословение Преподобному, а Преподобный духом услышал и возгласил: «Радуйся и ты, брате!» Потому и поставлен крест. Рассказывает

еще, что видят отсюда, кого сподобит, троицкую колокольню, будто розовую свечу, пасхальную.

Мы стоим «у Креста» и смотрим: синие, темные боры. Куда ни гляди — боры. Я ищу колоколенку — розовую свечу, пасхальную. Где она? Я всматриваюсь по дали, впиваюсь за темные боры и вижу… вижу, как вспыхивает искра, бьется-дрожит в глазах. Закрываю глаза — и вижу: золотой крест стоит над борами, в небе. Розовое я вижу, в золоте, — великую розовую свечу, пасхальную. Стоит над борами, в небе. Солнце на ней горит. Я так ее ясно вижу! Она живая, светит крестом — огнем.

— Вижу, вижу! — кричу я Горкину.

Он не видит. И никто не видит. Не видит и Анюта даже.

— Где ж увидать, пасмурь кака… — говорит Горкин из-под ладони, невесело, — да и глаза не те уж.

Монах говорит, что это — как сподобит. Бывает — видят. Да редко отсюда видно, поближе надо. А я-то видел. Говорю, что розовая свеча, до неба, и крест золотой на ней. Но мне не верят: помстилось так. Я стараюсь опять увидеть, закрываю глаза… — и слышу:

— Нагнал-таки!..

Отец!.. Скачет на нас, в белой своей кургузке, в верховке-шапочке, ловкий такой, веселый. Спрыгивает с Кавказки — и не может стоять, садится сразу на корточки, — так устал. Сидит все и разминает ноги. Я кидаюсь к нему, от радости. Он вскидывает меня, и я кричу ему в дочерна загоревшее лицо, что видел сейчас свечу… розовую свечу, пасхальную! Он ничего не понимает — какую еще свечу! Я рассказываю ему, что это кого сподобит… видят отсюда колоколенку — Троицу, — «как розовая свеча, пасхальная!» Он целует меня, называет выдумщиком и кому-то кричит, за нами:

— Эй, девчонка… земляника у тебя, что ли.

И покупает целое лукошко земляники, душистой, спелой. Мы сидим прямо на траве, хотя еще очень сыро, и все едим землянику из лукошка. Отец кормит меня из горсти, шлепает по щекам — играет. Пахнет от его рук поводьями, черным сапожным варом и спелой земляникой, — чудесно пахнет! Рассказывает, как проскакал-то лихо: в половине шестого из Москвы выехал, а сейчас девять только. Все удивляются. Покупает еще лукошко, угощает и ест горстями; катятся землянички по пиджаку. Говорит о Звенигороде, что успел побывать у Саввы Преподобного, застал

обедню… о рощах у Васильчиковых в Коралове: «Такие-то рощи взял!» Полтораста верст проскакал — устал.

— Ну, поскачу поспать. В монастырской гостинице найдете… — И скачет на взмыленной Кавказке.

Будто прошло виденьем.

— Огонь!.. — всплескивает руками Горкин. — И был, и нет!..

Я смотрю на грязную дорогу, на темнеющие боры по дали. Ни отца, ни розовой колоколенки, ни искры.

— Дай-ка, я те вытру… весь лик у те земляничный, папашенька как уважил… — смеется Горкин и вытирает меня ладонью. — И был, и не был!

Я смотрю на лукошко с земляникой… — будто прошло виденьем.

Под Троицей

Троица совсем близко. Встречные говорят:

— Вон на горку подняться — как на ладоньке вся Троица!

Невесело так плетутся: домой-то идти не хочется. Мы-то идем на радость, а они уж отрадовались, побывали-повидали, и от этакой благодати — опять в мурью. Что же, пожили три денька, святостью подышали, — надо и другим дать место. Сидят под елками — крестики, пояски разбирают, хлебца от Преподобного вкушают, — ломтем на дорожку благословил. На ребятках новые крестики надеты, на розовых тесемках, — серебрецом белеют.

Спрашиваем: ну, как… хорошо у Троицы, народу много? Уж так-то, говорят, хорошо… и надо бы быть лучше, да некуда. А какие поблаголепней — из духовного, причитают:

— Уж так-то благоуветливо, так-то все чинно-благоподатливо да сладкогласно… не ушел бы! А народу — полным-полнехочко.

— Да вы, — говорят, — не тревожьтесь, про всех достанет. А чуть нестача какая — похлебочки ли, кашки, — благословит отец настоятель в медном

горшке варить, что от Преподобного остался, — черпай-неочерпаемо!

Радостная во мне тревога. Троица сейчас… какая она, Троица? Золотая и вся в цветах? Будто дремучий бор, и большая-большая церковь, и над нею, на облачке, золотая икона — Троица. Спрашиваю у Горкина, а он только и говорит: «А вот увидишь».

Погода разгулялась, синее небо видно. Воздух после дождя благоуханный, свежий. От мокрого можжевельника пахнет душистым ладаном. Домна Панферовна говорит — в Ерусалиме словно, кипарисовым духом пахнет. Там кипарис-древо, черное, мохнатое, как наша можжевелка, только выше домов растет. Иконки на нем пишут, кресты из него режут, гробики для святых изготовляют. А у нас духовное дерево можжевелка, под иконы да под покойников стелют.

Веселые луговинки полны цветов — самая-то пора расцвета, июнь месяц. В мокрой траве, на солнце, золотятся крупные бубенцы, никлые от дождя, пушистые, потрясешь над ухом — брызгают-звенят. Стоят по лесным лужайкам, как тонкие восковые свечки, ночнушки-любки, будто дымком курятся, — ладанный аромат от них. И ромашки, и колокольчики… А к Ви-

фании, говорят, ромашки… — прямо в ладонь ромашки!..

Анюта ползает по лужкам в росе, так и хватает любки. Кричит, за травой не видно:

— Эти, бабушка, какие в любовь присушивают, в запазушку кладут-то?..

А Домна Панферовна грозится:

— Я тебя, мокрохвостая, присушу!

Не время рвать-то, Троица сейчас, за горкой. Кривая все на лужки воротит. И Горкин нет-нет — и остановится, подышит:

— Ведь это что ж такое… какое же растворение! Прямо-те не надышишься… природа-то Господня. Все тут исхожено Преподобным, огляжено. На всех-то лужках стоял, для обители место избирал.

Федя говорит, как Преподобный, отроком когда был, лошадку потерял-искал, а ему старец святой явился и указал: «Вон пасется твоя лошадка!» — и просвиркой благословил. Антипушка и говорит:

— Ишь, с лошадкой тоже хозяйствовал, не гнушался.

— Как можно гнушаться, — говорит Горкин радостно, — он и с топориком трудился, плотничал, как и мы вот. Поставит мужичку клеть там,

сенцы ли — денег нипочем не возьмет! «Дай, — скажет, — хлебца кусочек, огрызочков каких лишних, сухих… с меня и будет». Бедных как облегчал, сердешный был. С того все и почитают, за труды-молитвы да за смирение. Ну до чего ж хорошо-то, Господи!..

Федя идет босой, сапоги за спиной, на палочке. Совсем обезножел, говорит. И скучный. И сапоги у него разладились — подметки с дождя, что ли, отлетели. Поутру в Хотькове Горкину говорил, что у Троицы сапоги покупать придется, босого-то к архимандриту, пожалуй, не допустят — в послушники проситься. Горкин и пошутил:

— А ну-ка скажет архимандрит — ай сапоги-то пропил?

А Домна Панферовна и говорит тут:

— С чего ты это по сапогам соскучился? Ай есть кому на тебя смотреть, пощеголять перед кем?

А это она — потом уж сама сказала — над Федей пошутила, что внучке старушкиной земляничку все набирал. Вот он и заскучал от утра, что сапоги-то, не миновать, надо покупать. А старушка с молодкой в Хотькове поотстали, иеромонах там взялся отчитывать над внучкой, для поправки. За дорогу-то попривыкли к ним, очень они приятные, — ну и скучно. Смотрит на лужок Фе-

дя — и говорит:

— Эх, поставить бы тут келейку да жить!

А Домна Панферовна ему, в шутку:

— Вот и спасайся, и сапог лаковых не надо. А поодаль еще кому поставишь, земляничку будешь носить, ради души спасения.

Федя даже остановился и сапоги уронил.

— Грех вам, Домна Панферовна, — говорит, — так про меня думать. Я как сестрице братец… а вы мысли мои смущаете.

А она на язык вострая, не дай Бог:

— Нонче сестрица, а завтра — в глазах от нее пестрится! Я тебя от греха отвела, бабушке пошептала, чтоб отстали. И кралечка-то заглядываться стала… на твои сапоги!

Горкин тут рассердился, что не по этому месту такие разговоры неподобные, и скажи:

— Это ты в свахах в Москве ходила — и набралась слов, нехорошо.

И стали ссориться. Антипушка и говорит, что отощали мы от пощенья, на одних сухариках другой день, вот и расстроились. А на Домну Панферовну бес накатил, кричит на Антипушку:

— Ты еще тут встреваешься! На меня командеров нет!.. Я сто дней на одних сухариках была, как в Ерусалим ходила… и в Хотькове от грибной

похлебки отказалась, не как другие… во святые-то просятся!

Горкин ей говорит, что тут во святые никто не просится, а это уж как Господь соизволит… и что и он от похлебки отказался, а копченой селедки в уголку не грыз, как люди спать полегли.

Ну, тут Домна Панферовна и приутихла.

— И нечего спориться, — Горкин-то говорит, — кто может — тот и вместит, в Писаниях так сказано. А поговеем, Господь сподобит, — в «блинных» у Троицы заправимся, теперь недолго.

И все мы повеселели, и Федя даже. Мы с Анютой рвем для Кривой цветочки, и она тоже рада, помаргивает — жует. А то бросит жевать и дремлет, висят на губе цветочки. А то присядем — и слушаем, как тихо, пчелки только жужжат-жужжат. Шишечка упадет, кукушка покукует — послушает. И вот будто далёко… — звон?..

— Благовестят, никак… слыхал?.. — прислушивается Горкин и крестится. — А ведь это у Троицы, к «Достойно» звонят… горкой-то приглушает?.. У Троицы. Самый ее звон, хороший такой, ва-жный…

Нет, только кукушку слышно, голосок ей дождем обмыло, — такая гулкая. А будто и звон?.. За горкой сейчас откроется.

Федя уже на горке, крестится… — Троицу увидал? Я взбегаю и вижу… — Троица?.. Блеск, голубое небо — и в этом блеске, в голубизне, высокая розовая колокольня с сияющей золотой верхушкой! Верхушка дрожит от блеска, словно там льется золото. Дальше — боры темнеют. Ровный, сонный как будто, звон.

Я слышу за собой тяжелое дыханье, вздохи. Горкин, без картуза, торопливо взбирается, весь мокрый, падает на колени, шепчет:

— Троица… матушка… дошли… сподобил Господь…

Потирает у сердца, крестится, с дрожью вжимая пальцы. Я спрашиваю его, где Троица? Его голова трясется, блестит от поту; надавка от картуза на лбу кажется темной ниткой.

— Крестись, голубок… — говорит он устало, слабо, — вон Троица-то наша…

Я крещусь на розовую колокольню, на блистающую верхушку с крестиком, маленьким, как на мне, на вспыхивающие пониже искры. Я вижу синие куполки, розовые стены, зеленые колпачки башенок, домики, сады… Дальше — боры темнеют.

Все вздыхают и ахают — Господи, красота какая! Все поминают Троицу. А я не вижу, где

Троица. Эта колокольня — Троица? Блистающая ее верхушка?

Я спрашиваю — да где же Троица?! Горкин не слышит, крестится. Антипушка говорит:

— Да вон она, вся тут и есть Троица!

Я тяну Горкина за рукав. Он утирает слезы, прихватывает меня, радуется, плачет и говорит-шепчет:

— Дошли мы с тобой до Троицы, соколик… довел Господь. Троица… вон она… вся тут и Троица, округ колокольни-то, за стенами… владение большое, самая Лавра-Троица. Во-он, гляди… от колокольни-то в левой руке-то будет, одна главка золотенька… самая Троица тут Живоначальная наша… соборик самый, мощи там Преподобного Сергия Радонежского, его соборик. А поправей колокольни, повыше-то соборика, главки сини… это собор Успенья. А это — посад, домики-то под Лаврой… Сергиев посад зовется. А звон-то, звон-то какой, косатик… покойный, ва-жный… Ах, красота Господня!..

Я слышу ровный, сонный как будто, звон.

Подбегает мальчик с оладушком, кричит нам:

— Папаша вас зовет в гости!.. на дачу!.. — И убежал.

Какой папаша? Смотрим — а это от Спаса-в-

Наливках дьякон, со всей своей оравой. Машет красным платком из елок, кричит, как в трубу, зычно-зычно:

— Эй, на-ши, замоскворецкие!.. в гости ко мне, на дачу!..

Надо бы торопиться, а отказаться никак нельзя: знакомый человек, а главное — что лицо духовное. Смотрим — сидят под елками, как цыганы, и костерок дымится, и телега, огромная, как барка. И всякое изобилие закусок, и квас бутылочный, и даже самоварчик! Отец дьякон — веселый, красный, из бани словно, в летнем подряснике нараспашку, волосы копной, и на нем ребятишки виснут, жуют оладушки. Девочки все в веночках, сидят при матери. Дьяконица такая ласковая, дает мне оладушек с вареньем, велит девочкам угощать меня. Так у них хорошо, богато, белорыбицей и земляникой пахнет, жарятся грибы на сковородке — сами набрали по дороге, — и жареный лещ на сахарной бумаге. Дьякон рассказывает, что это сами поймали в Уче, с пушкинским батюшкой, по старой памяти бредешком прошлись. Лошадь у них белая, тяжелая, ломовая, у булочника для богомолья взяли. Едут уж третий день, с прохладцей, в лесу ночуют, хоть и страшно разбойников. А на слу-

чай и лом в телеге.

Дьякон всех приглашает закусить, предлагает «лютой перцовки», от живота, — всегда уж прихватывает в дорогу, от холеры, — но Горкин покорно благодарит:

— Говеем, отец дьякон… никак нельзя-с!

И ни лещика, ничего. Дьякон жмет-трясет Горкина, смеется:

— А-а, подстароста святой… прежде отца дьякона в рай хочешь? Вре-ошь!

И показывает за елки:

— Вон грешники-то самые отчаянные, как их пораскидало… любимые-то твои! Ну-ка, пробери их, Панкратыч. В Пушкине мужики за песнопения так заугощали. На телегах помчали, а тут и свалили, я уж позадержал. А то прямо к Троице везти хотели, из уважения.

А это наши васильевские певчие в елках спят, кто куда головой, — под Мытищами их видали: Ломшаков и Батырин с Костиковым. Дьякон шутит:

— На тропарях — на ирмосах[1] так и катятся

---

[1] Сноски: 1

Ирмос (греч. — связь, сплетение, ряд) — первая поэтическая строфа песни канона, вступительный стих, являющийся смысловой связкой между библейской песнью и тропарями, музыкальная связка и образец для последующих тропарей канона данной песни. Ирмосы собраны в богослужебной книге «Ирмологий»

всю дорогу, в рай прямо угодят!

Дьяконица все головой качает и отнимает у дьякона графинчик:

— Сам-то не угоди!

Пожалели мы их, поохали. Конечно, не нам судить, а все-таки бы посдержаться надо. Ломшачок только-только из больницы выписался — прямо у смерти вырвался дьякон Горкину белорыбицы в рот сует, кричит:

— Нипочем без угощенья не отпущу!

Уж дьяконица его смирила:

— Да отец… да народ ведь смотрит! да постыдись!..

Только бы уйти впору, а она расспрашивает, не случилось ли чего в дороге, — вон, говорят, у Рахманова щепетильщик купца зарезал, и место они видали, трава замята, — лавочник говорил. Ну, мы ей рассказали, что это неправда все, а в Посаде один зарезался. А она все боялась, как в лесу-то заночевали, да дождик еще пошел. Дьякон-то хоть и очень сильный, а спит, как мертвый: за ноги уволокут — и не услышит. И что же еще, оказывается. Говорит — двух воров в Яузе парень один топил, лаковы сапоги с сонного с него сняли… ну, нагнал, отбил сапоги, а их в Яузу покидал, насилу выплыли. Народ по дороге

говорил — видали сами.

Ну, мы ей рассказали, как было дело, что это самый вот этот Федя богохульников в речке наказал, а лаковы сапоги расслабному пареньку пожертвовал. Дьяконица стала его хвалить, стала им любоваться, а Федя ни словечка не выговорит. Дьякон его расцеловал, сказал:

— Быть тебе великим подвижником!

Будто печать на лице такая, как у подвижников. А тут и певчие пробудились, узнали нас, ухватились за Горкина и не отпускают: выпей да выпей с ними!

— Ты, — говорят, — самый наш драгоценный, тебе цены нет… выпьем все за твое здоровье, да за отца дьякона, да за матушку дьяконицу и тебе любимое пропоем: «Ныне отпущаеши раба Твоего»… и тогда отпустим!

Никак не вырвешься. И отец дьякон за Горкина уцепился, на колени к себе голову его прижал — не отпускает. Дьяконица уж за нас вступилась, заплакала, а за ней девочки в веночках заплакали.

— Что же это такое… погибать мне с детьми-то здесь?!

Ну, стали мы ее утешать, Горкин уж листик белорыбицы за щеку положил, съел будто, и пер-

цовки для виду отпил — зубы пополоскал и выплюнул. Очень они обрадовались и спели нам «Ныне отпущаеши». И так-то трогательно, что у всех у нас слезы стали, отец дьякон разрыдался. И много народу плакало из богомольцев, и даже копеечек наклали. А которые самые убогие… — им отец дьякон сухариков отпускал по горсти, «из бедного запасца»: целый мешок на телеге был у него для нищих. Хотели еще свежими грибками угощать и самовар ставить — насилу-то вырвались мы от них, чтобы от греха подальше.

Горкин и говорит, как вырвались да отошли подальше:

— Ах, хороший человек отец дьякон, душа человек. Знаю его, ни одного-то нищего не пропустит, последнее отдаст. Ну, тут, на воздухе отдыхает, маленько разрешает… да Господь простит.

А Домна Панферовна стала говорить: как же это так, лицо духовное, да еще и на богомолье… — напротив Горкину. А Горкин ей объясняет, через чего бывает спасение: грех не в уста, а из уст!

— Грех — это осудить человека, не разобрамши. И Христос с грешниками пировал, не отказывал. А дьякон богадельню при церкви завел, мясника Лощенова подбил на доброе дело. И певчие люди хорошие, наянливы маленько только… а утеше-

ние-то какое, народ-то как плакал, радовался! Прости Ты им, Господи. А мы не судьи. Ты вон и женский пол, а на Рождестве как наклюкалась… я те не в осуду говорю, а к примеру.

Сказал от души, а он-то уж тут как тут.

Домна Панферовна закипела и давай, давай все припоминать, что было. То, да то, да это, да вот как на свадьбе гробовщика Базыкина, годов пятнадцать тому, кого-то с лестницы волокли… Горкин задрожал было на нее так руками — потом затряс головой и закрылся, не видеть чтобы. И так его жалко стало, и Домна Панферовна стала махать и плакаться, и богомольцы стали подходить. И тут Федя заплакал и упал на коленки перед нами — и всех тут перепугал. Говорит, в слезах:

— Это от меня пошел грех, я вас смутил-расстроил… земляничку собирал, с того и разговор был давеча… а у меня греха в мыслях не было… простите меня, грешного, а то тяжело мне!..

И — бух! — Горкину в ноги. Стали его подымать, а он и показывает рукой вперед:

— Вот какой пример жизни!..

Глядим — а меж лесочками, как раз где белая дорога идет, колокольня-Троица стоит, наполовину видно, — будто в лесу игрушка. И говорит

Федя:

— Вот, перед Преподобным, простите меня, грешного!

Так это нас растрогало — как чудо! Будто из лесу-то сам Преподобный на нас глядит, Троица-то его. И стали все тут креститься на колоколенку, и просить прощенья у всех, и в ноги друг дружке кланяться, перед говеньем. А тут еще богомольцы поодаль были. Узнали потом, почему мы друг дружке кланялись, и говорят:

— Правильные вы, глядеть на вас радостно. А то думалось, как парень-то упал, — вора, никак, поймали, старичка, что ли, обокрал, босой-то, ишь как прощенья просит! А вы вон какие правильные.

Позадержались так-то, а Кривая пошла себе, насилу-то мы ее догнали.

А тут уж и Посад виден, и Лавра вся открывается со всеми куполами и стенами. А на розовой колокольне и столбики стали обозначаться, и колокола в пролетах. И не купол на колокольне, а большая золотая чаша, и течет в нее будто золото от креста, и видно уже часы и стрелки. И городом уж запахло, дымком от кузниц.

Горкин говорит — сейчас первым делом Аксенова надо разыскать, свой дом у него в Поса-

де — Трифоныч Юрцов на записке записал, — игрушечное заведение у него, все его тут знают, из старины. У него и пристанем по знакомству, строение у него богатое, Кривую есть где поставить, и от Лавры недалеко. А главное — человек редкостный, раздушевный.

Идем по белой дороге, домики уж пошли, в садочках, и огороды с канавами, стали извощики попадаться и подводы. Извощики особенные, не в пролетках, а троицкие, широкие, с пристяжкой. Едет возчик, везет лубяные короба. Спрашиваем — дом Аксенова в какой стороне будет? А возчик на нас смеется:

— Ну, счастливы вы… я от Аксенова как раз!

Спрашивает еще, какого нам Аксенова, двое их: игрушечника Аксенова или сундучника? Сказали мы. Оказывается, в коробах-то у него игрушки, везет в Москву. Показывает нам, как поближе. Такая во мне радость: и Троица, и игрушки, и там-то мы будем жить!

А колокольня все вырастает, вырастает, яснеет. Видно уже на черных часах время, указывает золотая стрелка. И вот мы слышим, как начинают играть часы — грустными переливами, два раза.

К вечерням и добрались как раз.

У Троицы

Слышится мне впросонках прыгающий трезвон, будто звонят на Пасхе. Открываю глаза — и вижу зеленую картинку: елки и келейки, и Преподобный Сергий, в золотом венчике, подает толстому медведю хлебец. У Троицы я, и это Троица так звонит, и оттого такой свет от неба, радостно-голубой и чистый Утренний ветерок колышет занавеску, и вижу я розовую башню с зеленым верхом. Вся она в солнце, слепит окошками.

— Проспал обедню-то, — говорит Горкин из другой комнаты, — а я уж и приобщался, поздравь меня!

— Душе на спасение! — кричу я.

Он подходит, целует меня и поправляет:

— Телу на здравие, душе на спасение — вот как надо.

Он в крахмальной рубашке и в жилетке с серебряной цепочкой, такой парадный. Пахнет от него праздником — кагорчиком, просвиркой и особенным мылом, из какой-то «травы-зари», архиерейским, которым он умывается только в Пасху и в Рождество, — кто-то ему принес с Афо-

на. Я спрашиваю:

— Ты зарей умылся?

— А как же, — говорит, — я нонче приобщался, великой день.

Говорит — в Лавру сейчас пойдем, папашенька вот вернется: Кавказку пошел взглянуть; молебен отслужим Преподобному, позднюю отстоим, а там папашенька к Аксенову побывает — и в Москву поскачет, а мы при себе останемся — поглядим все, не торопясь. Рассказывает мне, как ходили к Черниговской, к утрени поспели, по зорьке три версты прошли — и не видали, а служба была подземная, в припещерной церкви, и служил сам батюшка-отец Варнава.

— Сказал батюшке про тебя… хороший, мол, богомольщик ты, дотошный до святости. «Приведи его, — говорит, — погляжу». Не скажет понапрасну… душеньку, может, твою чует. Да опять мне: «Непременно приведи!» Вот как.

Я рад, и немного страшно, что чует душеньку. Спрашиваю — он святой?

— Как те сказать… Святой — это после кончины открывается. Начнут стекаться, панихидки служат, и пойдет в народе разговор, что, мол, святой, чудеса-исцеления пойдут. Алхеереи и скажут: «Много народу почитает, надо образ ему писать

и службу править». Ну, мощи и открываются, для прославления. Так народ тоже не заставишь за святого-то почитать, а когда сами уж учувствуют, по совести. Вот Сергий Преподобный… весь народ его почитает, Угодник Божий! Стало быть, заслужил, познал хорошо народ, сам познал, совесть ему сказала. А батюшка Варнава — подвижник-прозорливец, всех утешает… не такой, как мы, грешные, а превысокой жизни. Стечение-то к нему какое… Завтра вот и пойдем, за радостью.

Приходит отец, велит поскорее собираться — у гостиницы ждут все наши. Сердится, почему Горкин ни сайки, ни белорыбицы не поел, ветром его шатает. Горкин просит — уж не невольте, с просвиркой теплотцы выпил, а после поздней обедни и разговеется.

— Живым во святые хочешь? — шутит отец и дает ему большую просфору со Святой Троицей на вскрышке. — Вынул вот за твое здоровье.

Горкин целует просфору и потом целуется с отцом три раза, словно они христосуются. Отец смеется на мою новую рубашку, вышитую большими петухами по рукавам и вороту: «Эк тебя расписали!» — и велит примочить вихры. Я приглаживаюсь у зеркала, стоя на бархатном диване,

и смеюсь, как у меня вытянулось ухо, а Горкин с двумя будто головами, — и все смеемся. Извощики весело кричат: «В Вифанию-то на свеженьких!.. к Черниговской прикажите!» — нас будто приглашают. И розовая, утренняя Лавра весело блестит крестами. Отец рад, что махнул с нами к Троице:

— Так отдохнул… давно так не отдыхал, как здесь.

— Как же можно, Сергей Иваныч… нигде так духовно не отдохнешь, как во святой обители… — говорит Горкин и взмахивает руками, словно летит на крыльях. — Духовное облегчение… как можно! Да вот… как вчера заслабел! А после исповеди и про ногу свою забыл, чисто вот на крылах летел! А это мне батюшка Варнава так сподобил… пошутил будто. «Молитовкой подгоняйся, и про ногу свою забудешь». И забыл! И спал-то не боле часу, а и спать не хочется… душа-то воспаряется!..

У гостиницы, в холодке, поджидают наши богомольцы, праздничные, нарядные. Домна Панферовна — не узнать: похожа на толстую купчиху, в шелковой белой шали с бахромками и в косынке из кружевцов, и платье у ней сиреневое, широкое. Сидит — помахивает пла-

точком. И Антипушка вырядился: пикейный на нем пиджак с большими пуговицами, будто из перламутра, и сапоги наваксены, — совсем старичок из лавки, а не Антипушка И Федя щеголем, в крахмальном даже воротничке, в котором ему, должно быть, тесно — все-то он вертит шеей и надувается, — новые сапоги горят. На Анюте кисейное розовое платье, на шейке черная бархотка с золотеньким медальончиком, — бабушка подарила! — На руках белые митенки, которые она стягивает, и надевает, и опять снимает, — и все оглядывает себя. Намазала волосы помадой, даже на лоб течет. Я спрашиваю, — что у ней, зуб болит… морщится-то? Она мне шепчет:

— Новые полсапожки жгут, мочи нет… бабушке только не скажи, а то рассердится, велит скинуть.

Извощики тащат к своим коляскам, суют медные бляхи — порядиться. С грибами и земляникой бабы и девчонки, упрашивают купить. Суднышко из соломы на земле, с подберезничками и подосиновичками. Гостинник с послушником сваливают грибы в корзину. Домна Панферовна вздыхает:

— Ах, лисичек бы я взяла, пожарить… смерть, люблю. Да теперь некогда, в Лавру сейчас идем.

Лисичек и Горкин съел бы: жареных нет вкусней! Ну да в блинных закажем и лисичек.

Уже благовестят к поздней. Валит народ из Лавры, валит и в Лавру, в воротах давка. В убогом ряду отчаянный крик и драка. Кто-то бросил целую горсть — «на всех!» — и все возятся по земле, пыль летит. Лежит на спине старушка, лаптями сучит, а через нее рыжий лезет, цапает с земли денежку. Мотается головою в ноги лохматый нищий, плачет, что не досталось. Кто жалеет, а кто кричит:

— Вот бы водой-то их, чисто собаки скучились!..

Грех такой — и у самых Святых Ворот! Подкатывается какой-то на утюгах, широкий, головастый, скрипит-рычит:

— Сорок годов без ног, третий день маковой росинки не было!..

Раздутое лицо, красное, как огонь, борода черная-расчерная, жесткая, будто прутья, глаза — как угли. Горкин сердито машет:

— Господь с тобой… от тебя, как от кабака… стыда нету!..

Говорят кругом:

— Этот известен, ноги пропил! Мошенства много, а убогому и не попадет ничего.

Поют слепцы, смотрят свинцовыми глазами в солнце, блестит на высоких лбах. Поют про Лазаря. Мы слушаем и даем пятак. Пролазмальчишка дразнит слепцов стишком:

Ла-зарь ты, Ла-зарь,
Слепой, лупогла-зай,
Отдай мои де-ньги,
Четыре копей-ки!

Жалуются кругом, что слепцам только и подают, а у главного старика вон — «лысина во всю плешь-то!» — каменный дом в деревне. Старик слышит — и говорит:

— Был, да послезавтра сгорел!

Кричат убогие на слепцов:

— Тянут-поют, а опосля пиво в садочке пьют!

А народ дает и дает копейки. Горкин дает особо, «за стих», и говорит, что не нам судить, а обманутая копейка — и кошель, и душу прожгет — воротится. Подаем слабому старичку, который сидит в сторонке: выгнали его из убогого ряда сильные, богатые.

В Святых Воротах, с Угодниками, заходим в монастырскую лавку купить из святостей.

Блестят по стенам иконки в фольге и в ризах. Под стеклами на прилавке насыпаны серебря-

ные и золотые крестики и образочки — больно смотреть от блеска. Висят четки и пояски с молитвой, большие кипарисовые кресты и складни, и пахнет приятно-кисло — священным кипарисом. Стоят в грудках посошки из можжевелки, с выжженными по ним полосками и мазками. Я вижу священные картинки: «Видение птиц», «Труды Преподобного Сергия», «Страшный суд». Все покупают крестики, образочки и пояски с молитвой — положим для освящения на мощи. Отец покупает мне образ Святыя Троицы в серебряной ризе и говорит:

— Это тебе мое благословление будет.

Я не совсем это понимаю — благословение… для чего? Горкин мне говорит, что великое это дело…

— Отца-матери благословение — опора, без нее ни шагу… как можно! Будешь на него молиться, папеньку вспомянешь — помолишься.

Покупаем еще колечки с молитвой, серебряные, с синей и голубой прокладочкой, по которой светятся буковки молитвы: «Преп. отче Сергие, моли Бога о нас» Покупаем костяные и кипарисовые крестики с панорамкой Лавры и «жития».

Красивый чернобровый монах с румяными щеками выкладывает пухлыми белыми руками

редкости на стекло: крестики из коралла, ложки точенные из кипариса, с благословляющей ручкой, с написанной на горбушке Лаврой; поминанья кожаные и бархатные с крестиками из золотца на вскрышке, бархатные мешочки для просвирок, ларчики из березы, крестовые цепочки, салфеточные кольца с молитвою, вышитые подушечки — сердечком, молитвеннички, браслетки с крестиками, нагрудные образки в бархате… — всякие редкостные штучки. Говорит мягко-мягко, молитвенным голоском, напевно:

— На память о Лавре Сергия Преподобного… приобретите для обиходца вашего, что позрится… мальчику ложечку с вилочкой возьмите, благословение святой обители, для телесного укрепления… висячий кармашек для платочка, носик утирать, синелью вышит…

Не хочется уходить от святостей.

Отец покупает Горкину складень из кипариса — Святая Троица, Черниговская и Преподобный Сергий. Горкин всплескивает: «Цена-то… четыре рубли серебром!» И Антипушке покупает образок Преподобного на финифти. И Анюте с Домной Панферовной — серебряное колечко и сумочку для просвирок. А Феде — картинку

«Труды Преподобного Сергия в хлебной»:

— В бараночной у себя повесишь — слаще баранки будут.

И еще покупает многое — всем домашним.

— Маслица благовонного возьмите, освященного, в сосудцах с образом Преподобного, от немощей… — выкладывает монах из-под прилавка зеленоватые пузыречки с маслом.

Пахнет священно кипарисом, и красками, и новенькими книжками в тонких цветных обложках; и можжевелкой пахнет — дремучим бором — от груды высыпанных точеных рюмочек, баульчиков, кубариков и грибков, от крошечных ведерок, от бирюлек…

— Ерусалимского ладанцу возьмите, покурите в горнице для ароматов…

Монах укладывает все в корзину, на которой выплетены кресты. Все потом заберем, на выходе.

Еще прохладно, пахнет из садиков цветами. От колокольни-Троицы сильный свет — видится все мне в розовом: кресты, подрагивающие блеском, церковки, главки, стены, блистающие стекла. И воздух кажется розовым, и призывающий звон, и небо. Или — это теперь мне видится… розовый свет от Лавры?.. — розовый свет далеко-

го?.. Розовая на мне рубашка, розоватый пиджак отца… просфора на железной вывеске, розовато-пшеничная — на розовом длинном доме, на просфорной; чистые длинные столы, вытертые до блеска белыми рукавами служек, груды пышных просфор на них, золотистых и розовато-бледных… белые узелки, в белых платочках девушки, вереницы гусиных перьев, которыми пишут на исподцах за упокой и за здравие, шорох и шелест их, теплый и пряный воздух, веющий от душистых квашней в просфорной… — все и доныне вижу, слышу и чувствую. Розовые сучки на лавках и на столах, светлых, как просфоры; теплые доски пола, чистые, как холсты, с пятнами утреннего солнца, с отсветом колокольни-Троицы, с бледными крестовинами окошек; свежие лица девушек, тихих и ласковых, в ссунутых на глаза платочках, вымытые до лоска к празднику; чистые руки их, несущие бережно просвирки… добрые, робкие старушки, в лаптях, в дерюжке, бредущие ко святыням за сотни верст, чующие святое сердцем… — все и доныне вижу.

У Золотого Креста пьют воду богомольцы, звякают кружками на цепочках, мочат глаза и головы. Пьем и мы. Смотрим — везут расслабленного, самого того парня, которому отдал свои

сапоги Федя. У парня руки лежат крестом, и на них, на чистой рубахе из холстины, как у покойника, — новенький образок Угодника. И сапоги Федины в ногах! Приехали, целым-целы.

Старуха узнает нас и ахает, словно мы ей родные. Парень глядит на Федю и говорит чуть слышно:

— Сапоги твои… вот надену…

Глаза у него чистые, не гноятся. В народе кричат:

— Пустите, болящего привезли!

Старухе дают кружку с оборванной цепочкой. Она крестится ею на струящийся блеск креста, отпивает и прыскает на парня. Он тоже крестится. Все кричат:

— Глядите, расслабный-то ручку поднял, перекрестился!..

Велят поливать на ноги, и все принимаются поливать. Парень дергается и морщится и вдруг — начинает подниматься! Все кричат радостно:

— Гляди-ка, уж поднялся!.. ножками шевелит… здо-ро-вый!..

Приподнимают парня, подсовывают под спину сено, хватают под руки, крестятся. И парень крестится и сидит! Плачет над ним старуха. Все

кричат, что чудо живое совершилось. Парень просит девчонку:

— Дунька, водицы испить…

Попить-то и не дали! Суют кружки, торопят:

— Пей, голубчик… три кружки зараз выпей!.. сейчас подымешься!..

Иные остерегают:

— Много-то не пей, не жадничай… вода дюже студеная, как бы не застудиться!..

Другие кричат настойчиво:

— Больше пей!.. святая вода, не простужает, кровь располирует!..

Горкин советует старухе:

— К мощам, мать, приложи… и будет тебе по вере.

И все говорят, что — будет! Помогают везти тележку, за нею идет народ, слышится визг колёсков. У колокольни кто-то кричит под благовест:

— Эй, на-ши… замоскворецкие!..

Оказывается — от Спаса-в-Наливках дьякон, которого встретили мы под Троицей. Теперь он благообразный, в лиловой рясе. И девочки все нарядные, как цветы. И певчие наши тут же. Все обнимаемся. Дьякон машет на колокольню и восторгается:

— Что за глас! Сижу и слушаю, не могу ото-

рваться… от младости так, когда еще в семинарии учился.

Говорят про колокола и певчие — все-то знают:

— Сейчас это «Корноухий» благовестит, маленький, тыща пудов всего. А по двунадесятым «Царь-Колокол» ударяет, и на ногах тут не устоишь.

Дьякон рассказывает, что после обедни и «Переспор» услышим: и колоколишка-то маленький, а все вот колокола забьет-накроет. Певчие хвалят «Лебедя»:

— За «Славословием»-то вчера слыхали? Чистое серебро!

Дьякон обещает сводить нас на колокольню — вот посвободней будет, — отец звонарь у него приятель, по всем-то ярусам проведет, покажет.

Надо спешить в собор.

Народу еще немного, за ранними отмолились. В соборе полутемно; только в узенькие оконца верха светят полоски солнца и вспыхивают в них крыльями голубки. Кажется мне, что там небо, а здесь земля. В темных рядах иконостаса проблескивают искры, светятся золотые венчики. По стенам — древние святые, с строгими ликами. На крылосе вычитывают часы, чистый молодой голос сливается с пением у мощей:

Преподобный отче Се-ргие…

Моли Бога о на-ас!..

Под сенью из серебра на четырех подпорах, похожих на часовню, теплятся разноцветные лампады-звезды, над ракой Преподобного Сергия. Пригробный иеромонах стоит недвижимо-строго, как и вчера. Непрестанно поют молебны. Горкин просит монаха положить на мощи образочки и крестики. Желтые огоньки от свечек играют на серебре и золоте. Отец берет меня на руки. Я рассматриваю лампады на золотых цепях, большие и поменьше, уходящие в глубину, под сень. На поднятой створе раки из серебра я вижу образ Угодника: Преподобный благословляет нас. Прикладывается народ: входит в серебряные засторонки, поднимается по ступенькам, склоняется над ракой. И непрестанно поют-поют:

Преподобный отче Се-ргие…

Моли Бога о на-ас!..

Поет и отец, и я напеваю внутренним голоском, в себе. Слышится позади:

— Пустите… болящего пустите!..

Пригробный иеромонах показывает пальцем: сюда несите. Несут мужики расслабного, которого обливали у креста. Испуганные его глаза смотрят

под купол, в свет.

Иеромонах указывает — внести за засторонку. Спрашивает — как имя? Старуха кричит, в слезах:

— Михайлой, батюшка… Михайлой!.. помолись за сыночка… батюшка Преподобный!..

Иеромонах говорит знакомую молитву — Горкин меня учил:

«…скорое свыше покажи посещение…

страждущему рабу Михаилу, с верою притекающему…»

Горкин горячо молится. Молюсь и я. Старушка плачет:

— Родимый наш… прибега, и скорая помога… помоли Господа!..

Иеромонах смотрит в гроб Преподобного и скорбным, зовущим голосом молится:

«…и воздвигни его во еже пети Тя…»

— Подымите болящего…

Болящего подымают над ракой, поворачивают лицом, прикладывают. Иеромонах берет розовый «воздух», возлагает на голову болящего и трижды крестит. Старуха колотится головой об раку. Мне делается страшно. Громко поют-кричат:

«Преподобный отче Се-ргие…

Моли Бога о на-ас!..»

Все поют. Текут огоньки лампад, дрожит золотыми огоньками рака, движется розовый покров во гробе… — живое все! Я вижу благословляющую руку из серебра на поднятой накрышке раки.

Прикладываемся к мощам. Иеромонах и меня накрывает чем-то, и трижды крестит:

«…во еже пети Тя… и славити непрестанно…»

Эти слова я помню. Много раз повторял их Горкин, напоминал. Чудесными они мне казались и непонятными. Теперь — и чудесны, и понятны.

Тянется долгая обедня. Выходим, дышим у цветника, слушаем колокольный звон, смотрим на ласточек, на голубое небо. Входим опять в собор. Тянет меня под тихие огоньки лампад, к Святому.

Отец привозит меня к Аксенову на Кавказке и передает на руки молодцу. Встречает сам Аксенов, говорит: «Оченно приятно познакомиться», — и ведет на парадное крыльцо. Расшитая по рисункам барышня, в разноцветных бусах, уводит меня за ручку в залу и начинает показывать редкости, накрытые стеклянными колпаками: вырезанную из белого дерева лошадку и тележку, совсем как наша, — игрушечную только, — мужиков в шляпах, как в старину носили, которые косят сено, и бабу с ведрами

на коромысле. И все спрашивает меня: «Ну что… нравится?» Мне очень нравится. Молодчик, который вчера нас гнал, ласково говорит мне:

— Знаю теперь, кто ты… московский купец ты, знаю! А фамилия твоя — Петухов… видишь, сколько на тебе петухов-то!..

И все смеется. Показывают мне органчик, который играет зубчиками: «Вот мчится тройка удалая», угощают за большим столом пирогом с рыбой и поят чаем. Я слышу из другой комнаты голоса отца, Аксенова и Горкина. И он там. В комнатах очень чисто и богато, полы паркетные, в звездочку, богатые образа везде. Молодчик обещается подарить мне самую большую лошадь.

Потом барышня ведет меня в сад и угощает викторийкой. В беседке пьют чай наши, едят длинные пироги с кашей. Прибегает Савка и требует меня к папаше: «Папаша уезжает!» Барышня сама ведет меня за руку, от собак.

На дворе стоит наша тележка, совсем пустая. Около нее ходят отец с Аксеновым, Горкин и молодчик, и стоит в стороне народ. Толстый кучер держит под уздцы Кавказку. Похлопывают по тележке, качают головами и улыбаются. Горкин присаживается на корточки и тычет пальцем — я знаю, куда — в «аз». Отец говорит Аксенову:

— Да, удивительное дело… а я и не знал, не слыхивал. Очень, очень приятно, старую старину напомнили. Слыхал, как же, торговал дедушка посудой, после французов в Москву навез, слыхал. Оказывается, друзья-компаньоны были старики-то наши. Вот откуда мастера-то пошли, откуда зачалось-то, от Троицы… резная-то работка!..

— От нас, от нас, батюшка… от Троицы… — говорит Аксенов. — Ребятенкам игрушки резали, и самим было утешительно, вспомнишь-то!..

Отец приглашает его к нам в гости, Москву проведать. Аксенов обещается побывать:

— Ваши гости, приведет Господь побывать. Вот и родные будто, как все-то вспомнили. Да ведь, надо принять во внимание… все мы у Господа да у Преподобного родные. Оченно рад. Хорошо-то как вышло, само открылось… у Преподобного! Будто вот так и надо было.

Он говорит растроганно, ласково так и все похлопывает тележку.

— Дозвольте, уж расцелуемся, по-родному… — говорит отец, и я по его лицу вижу, как он взволнован: в глазах у него как будто слезы.

— Дедушку моего знавали!.. Я-то его не помню…

— А я помню, как же-с… — говорит Аксенов. —

Повыше вас был и поплотней, веселый был человек, душа. Да-с… надо принять во внимание… Мне годов… да, пожалуй, годов семнадцать было, а ему, похоже, уж под ваши годы, уж под сорок. Ну-с, счастливо ехать, увидимся еще, Господь даст.

И они обнимаются по-родному. Отец вскакивает лихо на Кавказку, целует меня с рук Горкина, прощается за руку с молодчиком, кланяется красивой барышне в бусах, дает целковый на чай кучеру, который все держит лошадь, наказывает мне вести себя молодцом — «а то дедушка вот накажет» — и лихо скачет в ворота.

— Вот и старину вспомнили… — говорит Горкину Аксенов, — как вышло-то хорошо. А вы, милые, поживите, помолитесь, не торопясь. Будто родные отыскались.

Я еще хорошо не понимаю, почему — родные. Горкин утирает глаза платочком. Аксенов глядит куда-то, над тележкой, — и у него слезы на глазах.

— Вкатывай… — говорит он людям на тележку и задумчиво идет в дом.

Все спят в беседке: после причастия так уж и полагается — отдыхать. Даже и Федя спит. После чая пойдем к вечерням, а завтра всего посмотрим.

Денька два поживем еще — так и сказал папашенька: поживите, торопиться вам некуда.

Барышня показывает нам сад с Анютой. Молодчик с пареньками играет на длинной дорожке в кегли. Приходят другие барышни и куда-то уводят нашу. Барышня говорит нам:

— Поиграйте сами, побегайте… красной вот смородинки поешьте.

И мы начинаем есть, сколько душе угодно. Анюта рвет и викторийку и рассказывает мне про батюшку Варнаву, как ее исповедовал.

— Бабушка говорит — от него не укроешься, наскрозь все видит. Вот, я тебе расскажу, сама бабушка мне рассказывала, она все знает… Вот, одна барыня приезжает, а в Бога не верила… ну, ее умные люди уговорили приехать, поглядеть, какой угодный человек, наскрозь видит. Вот она, приехамши, говорит… села у столика: «И чего я не видала, и чего я не слыхала! — А она все видала и все слыхала, богатая была. — Чегой-то он мне наболтает!» — про святого так старца! Ну, он бы мог, бабушка говорит, час ей смертный послать за такие богохульные слова. Только он жалостливый до грешников. А она сидит у столика и ломается из себя: «И чегой-то он не идет, я никогда не могу ждать!» А он все не идет и не

идет. И вот тут будет самое страшное… только ты не бойся, будет хорошо в конец. Вот, она сидела, и выходит старец… и несет ей стакан пустого чаю, даже без сахару. Поздоровался с ней и говорит: «И вот вам чай, и пейте на здоровье». А барыня рассерчалась и говорит: «И чтой-то вы такое, я чаю не желаю», — от святого-то человека! Как бы радоваться-то должна, бабушка говорит, а она так, как бес в ней: «Не желаю чаю!» А он смиренно ей поклонился… — святые ведь смиренные… бабушка говорит, — поклонился ей и приговаривает еще: «А вы не пейте-с, вы не пейте-с… а так только ложечкой поболтайте-с, поболтайте-с!..» И ушел. Вон что сказал-то! — поболтайте ложечкой. Ушел и не пришел. А она сидела и болтала ложечкой. Понимаешь, к чему он так? Все наскрозь знал. Вот она и болтала. Тутто и поняла-а… и проняло ее. Потом покаялась со слезьми и стала богомольной, уважительной… бабушка сама ее видала!..

Она много еще рассказывает. Говорит, что, может, и сама в монашки уйдет, коли бабушка загодя помрет… «А то что ж так, зря-то мытариться!»

Так мы сидим под смородинным кустом, играем. Савка приносит самовар — чай пить время,

к вечерням ударят скоро. За чайком Горкин рассказывает всем нам, почему с тележкой такое вышло.

— Словно вот и родными оказались. А вот как было, Аксенов сам нам с папашенькой доложил. Твой прадедушка деревянной посудой торговал, рухлядью. Французы Москву пожгли, ушли, все в разор разорили, ни у кого ничего не стало. Вот он загодя и смекнул — всем обиходец нужен, посуда-то… ни ложки, ни плошки ни у кого. Собрал, сколько мог, деньжонок, поехал в эти края и дале, где посуду точили. И встретил-повстречал в Переяславле Аксенова этого папашу. А тот мастер-резчик, всякие штуковинки точил-резал, поделочное, игрушки. А тут не до игрушек, на разоренье-то! Бедно тот жил. И пондравились они друг дружке. «Давай, — говорит прадедушка-то твой, — сбирать посудный товар, на Москву гнать, поправишься!» А Аксенов тот знаменитый был мастер, от него, может, и овечки-коровки эти пошли, у Троицы здесь продают-то, ребяткам в утеху покупают… и с самим митрополитом Платоном знался, и тому резал-полировал… и горку в Вифании, Фавор-то, увидим завтра с тобой, устраивал. Только митрополит-то помер уж, только вот ушли фран-

цузы… — поддержка ему и кончилась. А он ему, Платону-то, уж тележку сделал, точь-в-точь такую же, как наша, с резьбой с тонкой, со всякими украсами. И еще у него была такая же тележка, с сыном они работали, с теперешним вот Аксеновым нашим, дом-то чей, у него-то мы и гостим теперь. Ну, хорошо. И все дивились на ихние тележки. А тогда, понятно дело, все разорены, не до балушек этих. Вот твой прадедушка и говорит тому: «Дам я тебе на разживу полтысячки, скупай для меня посуду по всем местам, и будем, значит, с тобой в конпании орудовать». И зачали они таким делом посуду на Москву гнать. А там — только подавай, все нехватка. Люди-то с умом были… Аксенов и разбогател, опять игрушкой занялся, в гору пошел. И игрушка потом понадобилась, жисть-то как поутихла-посветлела. Теперь они, Аксенов-то, как работают! Ну, хорошо. Вот и приходит некоторое время, и привозит Аксенов тот долг твоему прадедушке. И в подарок — тележку новенькую… не свою, а третью сделали, с сыном работали, на совесть. С того и завелась у нас тележка, вон откуда она пошла-то! А потом и тот помер вскорости, и другой… старики-то. И позабыли друг дружку молодые-то. А тележка… ну, ездил дедушка твой на ней,

красным товаром торговал… а потом тележка в хлам и попала. И забыли про нее все: тележка и тележка, а антересу к ней нет, и к чему такая — неизвестно. Маленькая… ее и завалили хламом. А вот, привел Господь, мы ее и раскопали, мы-то ее и вывели на свет Божий, как пришло время к Троице-Сергию нам пойти… так вот и толкнуло меня что-то, на ум-то мне: возьмем тележку, легонькая, по нам! Ее вот и привело… к своему хозяину воротилась. Добро-то как отозвалось! Потому и в гостях теперь, и уважение нам с тобой какое. И опять друг дружку признали, родные будто. Вот нас за то так-то и приняли, и обласкали, в благодати какой живем! Старик-то заплакал вон, старое свое вспомнил, батюшку. Как оно обернулось… И ведь где же… у самого Преподобного! А те тележки давно пропали, другие две-то. Одна в пожаре сгорела, у митрополита Платона… и другая, у Аксеновых, тоже сгорела в большой пожар, давно еще. Больше они и не забавлялись. Старик-то помер, с игрушек шибко разбогатели. Последки вон на полках от старика остались. Рукомесло-то это неприбыльное, на хорошего любителя, кто понимает, чего тут есть… для своей радости-забавы делали… а кто покупать-то станет! Единая наша и осталась.

Я спрашиваю: а теперь как, возьмет Аксенов тележку нашу?

— Нет, дареное не берут назад. У нас останется, поедем на ней домой. Прибрали ее, почистили здешние мастера… промыть хотели, да старик не дозволил… Господним дождем пусть моет — так и сказал. Каждый день на нее любуется — не наглядится. И молодчик-то его залюбовался. Только такой уж не сделают, на нее работы-то уйдет сколько! И терпенья такого нет… ты погляди-ка, как резана-а!.. Одной рукой да глазом не сделаешь, тут душой радоваться надо… Пасошницы вот покойный Мартын резал, попробуй-ка так одним топориком порезать… виноградыкакие!.. Это дело особое, непростое.

Мы слушаем, как сказку. Птичка поет в кустах. Говорят, — барышня Домне Панферовне сказала, — соловьи к вечеру поют здесь, в самом конце, поглуше. И Федя слыхал — ночью не мог заснуть. Горкин выходит на крылечко и радостно говорит, вздыхая:

— А как тихо-то, хорошо-то как здесь… и Троица глядит! Свете Тихий… святыя славы…

Высвистывает птичка. В Лавре благовестят к вечерням.

Благословение

Только еще заря, сад золотисто-розовый, и роса, — свежо, не хочется подыматься. А все уже на ногах. Анюта заплетает коску, Антипушка молится на небо, Горкин расчесывается перед окошком, как в зеркальце. Говорят — соловей все на зорьке пел. В дверь беседки вижу я куст жасмина, осыпанный цветами — беленькими, с золотым сердечком. Домна Панферовна ахает над кустом:

— А-ах, жасминчик… люблю до страсти!

И на столе у нас, в кувшине, жасминчик и желтые бубенцы — Федя вчера нарвал, — и целый веник шиповнику.

Федя шиповник больше уважает — аромат у него духовный. И Горкин тоже шиповник уважает, и я. Савка несет самовар с дымком и ставит на порожке — пусть прогорит немножко. Все говорят: «Ах, хорошо… шишечкой-то сосновой пахнет!» Савка доволен, ставит самоварчик на стол в беседке. Говорит:

— Мы всегда самовар шишечками ставим. А сейчас горячие вам колобашки будут, вот притащу.

Анюта визжит от радости:

— Бабушка, горячие колобашки будут!..

А Домна Панферовна на нее:

— Ори еще, не видала сроду колобашек?..

По-царски нас прямо принимают: вчера пироги с кашей и с морковью, нынче горячие колобашки, — и родных так не принимают.

Пьем чай с горячими колобашками, птички поют в саду. Федя чем свет поднялся, просвирный леестрик правит: всех надо расписать — кого за упокой, кого за здравие, кому просвирку за сколько, — дело нелегкое.

— Соломяткина-то забыли, в Мытищах-то угощал… — припоминает Горкин, — припиши, Федя: раба божия Евтропия, за пятачок.

Приписываем еще Прокопия со чады — трактирщика Брехунова, — супруги-то имя позабыли. Вспомнили, хорошо, раба божия Никодима, Аксенова самого, и при нем девицу Марию, — ласковая какая барышня! — и молодчика, погнал-то который нас: Савка сказал, что Васильем Никитичем зовут, — просфору за полтинник надо. И болящего Михаила приписали, расслабного, за три копейки хоть. Увидим — отдадим, а то и сами съедим за его здоровье. Упаси Бог, живых бы с покойниками не спутали, неприят-

ности не избыть. Напутали раз монахи, записали за здравие Федосью, а Федосея за упокой, а надо наоборот было; хорошо — дома доглядели, выправили чернилками, и то боялись, не вредные ли: тут чернилки из орешков монахи сотворяют, а в Москве, в лавочке, кто их знает.

Идем в Лавру с большой корзиной, ягодной-пудовой, — покупали в игрушечном ряду, об столбик били: крепок ли скрип у ней. Отец просфорник велит Сане-заике понаблюсти — выпросили мы его у отца квасника помочь-походить с нами, святыни поглядеть, нам показать, — а нам говорит:

— Он с писцами просфорки все проверит и к вам подойдет… а вы покуда идите, наши соборы-святыни поглядите, а тут ноги все простоите, ждамши.

Горкин указывает Сане, как понимать леестрик: первая мета — цена, крестик за ней — за упокой, а колечко — за здравие. За долгими чистыми столами в просторных сенцах служки пишут гусиными перьями: оскребают с исподцев мучку и четко наводят по-церковному.

Ходим из церкви в церковь, прикладываемся и ставим свечи. В большом соборе смотрим на Страшный суд — написано во всю стену.

И страшно, а не оторвешься. Монах рассказывает, за какие грехи что будет. Толстый зеленый змей извивается к огненной геенне, и на нем все грехи прописаны, и голые грешники, раскаленные докрасна, терзаются в страшных муках; а эти, с песьими мордами и с рогами, наскакивают отовсюду с вилами, — зеленые, как трава. А наверху, у Бога, светлые сонмы ангелов вешают на златых весах злые дела и добрые — что потянет? — а души взирают и трепещут. Антипушка вздыхает:

— Господи… и царей-королей в ад тащут, и к ним не снисходят, из уважения!..

Монах говорит, что небесная правда — не земная, взыщется и с малых, и с великих. Спрашиваем: а толстые кто, в бархатных кафтанах, за царями идут, цепью окручены, в самую адову пучину?

— А которые злато приобретали и зла-то всякого натворили, самые богачи купцы. Ишь, сколько за ними бесы рукописаний тащут!

Горкин говорит со вздохом:

— Мы тоже из купцов…

Но монах утешает нас, что и праведные купцы бывают, милостыню творят, святые обители не забывают — украшают, и милосердный Господь снисходит.

Я спрашиваю, зачем раскаленная грешница лежит у «главного» на коленях, а на волосах у ней висят маленькие зеленые. Монах говорит, что это бесстыдная блудница. Я спрашиваю, какие у ней грехи, но Горкин велит идти, а то ночью бояться будешь — насмотришься.

— Вон, — говорит, — рыжий-то, с мешочком, у самого! Иуда Искариот это, Христа продал, с денежками теперь терзается… ишь скосился!

Монах говорит, что Иуде муки уготованы без конца: других, может, праведников молитвы выкупят, а Искариоту не вызволяться во веки веков, аминь. И все говорят — этому нипочем не вырваться.

Смотрим еще трапезную церковь, где стены расписаны картинками, и видим грешников, у которых сучок и бревно в глазу. Сучок маленький и кривой, а бревно толстое, как балка. Монах говорит:

— Для понимания писано: видишь сучец в глазе брата твоего, а бревна-то в своем не чувствуешь!

Я спрашиваю, зачем воткнули ему бревно… ведь больно? Монах говорит:

— Для понимания, не больно.

Еще мы видим жирного богача, в золотых одеждах и в бархате, за богатой трапезой, где жареный

телец, и золотые сосуды-кувшины с питиями, и большие хлебы, и под столом псы глотают куски тельца; а на пороге лежит на одной ноге убогий Лазарь, весь в болячках, и подбирает крошки, а псы облизывают его. Монах говорит нам, что так утешается в сей жизни немилостивый богач, и вот что уготовано ему на том свете!

И видим: стоит он в геенне-прорве и высовывает кверху единый перст, а высоко-высоко, у старого Авраама на коленях, под розанами и яблочками, пирует у речки Лазарь в блистающих одеждах, и ангелы подносят ему блюда и напитки.

— «Лазарь-Лазарь! омочи хоть единый перст и прохлади язык мой!» — взывает немилостивый богач из пламени, — рассказывает монах, — но Лазарь не слышит и утешается… не может суда Божьего преступить.

В соборе Троицы мы молимся на старенькую ризу Преподобного, простую, синюю, без золотца, и на деревянную ложечку его за стеклышком у мощей. Я спрашиваю — а где же келейка? Но никто не знает.

Лезем на колокольню. Высота-а… — кружится голова кругом, куда ни глянешь, только боры и видно. Говорят, что там и теперь медведи;

водятся и отшельники. Внизу люди кажутся мошками, а собор Преподобного — совсем игрушечный. Под нами летают ласточки, падают на кресты. Горкин стучит пятачком по колоколу — гул такой! Говорят, как начнут звонить, рот надо разевать, а то голову разорвет от духа, такое шевеленье будет.

Отец-просфорник выдает нам корзину с просфорами:

— Бог милости прислал! По леестрику все вписали и вынули… благослови вас Преподобный за ваше усердие.

Саня-заика упрашивает нас зайти в квасную, холодненького выпить, — такого нигде не делают:

— На… на-на… ме-местниковский ква-ква… сок! Отец Власий благословил попотчевать вас.

Сам отец квасник подносит нам деревянный ковшик с пенящимся розоватым квасом. Мы выпиваем много, ковшиков пять, не можем нахвалиться: не то малинкой, не то розаном отзывается, и сладкий-сладкий. Горкин низко кланяется отцу-кваснику — и отец-квасник тоже низко кланяется — и говорит:

— Пили мы надысь в Мытищах у Соломяткина царский квас… каким царя угощали, от старины…

хорош квасок! А ваш квас, батюшка… в раю такой квас праведники пить будут… райский прямо!

— Благодарствуйте, очень рады, что понравился наш квасок… — говорит квасник и кланяется низко-низко. — А в раю, Господь кому приведет, Господень квасок пить будут… пиво новое — радость вкушать Господню, от лицезрения Его. А квасы здесь останутся.

Федя несет тяжелую корзину с просфорами, скрипит корзина.

Катим в Вифанию на тройке, коляска звенит-гремит. Горкин с Домной Панферовной на главном месте, я у них на коленях, на передней скамеечке Антипушка с Анютой, а Федя с извозчиком на козлах. Едем в березах, кругом благодать Господня — богатые луга с цветами, такие-то крупные ромашки и колокольчики! Просим извощика остановиться, надо нарвать цветочков. Он говорит: «Ну что ж, можно дитев потешить», — и припускает к траве лошадок:

— И лошадок повеселим. Сено тут преподобное, с него каждая лошадка крепнет… монахи как бы не увидали только!

Все радуются: трава-то какая сильная. И цветы по-особенному пахнут. Я нюхаю цветочки — священным пахнут.

В Вифанском монастыре, в церкви, — гора Фавор! Стоит вместо иконостаса, а на ней — Преображение Господне. Всходим по лесенке и смотрим: пасутся игрушечные овечки, течет голубой ручеек в камушках, зайчик сидит во мху, тоже игрушечный, на кусточках ягоды и розы… — такое чудо! А в горе — Лазарев гроб-пещера.

Смотрим гроб Преподобного, из сосны, — Горкин признал по дереву. Монах говорит:

— Не грызите смотрите! Потому и в укрытии содержим, а то бы начисто источили.

И открывает дверцу, за которой я вижу гроб.

— А приложиться можно, зубами не трожьте только!

Горкин наклоняет меня и шепчет:

— Зубками поточи маленько… не бойся, Угодник с тебя не взыщет.

Но я боюсь, стукаюсь только зубками. Домна Панферовна после и говорит:

— Прости, батюшка Преподобный Сергий… угрызла, с занозцу будет.

И показывает в платочке, так, с занозцу. И Горкин тоже хотел угрызть, да нечем, зубы шатаются. Обещала ему Домна Панферовна половинку дать, в крестик вправить. Горкин благодарит и обещается отказать мне святыньку, когда помрет.

Едем прудами, по плотине на пещерки к Черниговской — благословиться у батюшки Зарнавы, Горкин и говорит:

— Сказал я батюшке, больно ты мастер молитвы петь, может, пропеть скажет… получше пропой смотри.

А мне и без того страшно — увидеть святого человека! Все, думаю: душеньку мою чует, все-то грехи узнает.

Тишина святая, кукушку слышно. Анюта жмется и шепчет мне:

— Семитку со свечек утаила у бабушки… он-то узнает, ну-ка?

Я говорю Анюте:

— Узнает беспременно, святой человек… отдай лучше бабушке, от греха.

Она вынимает из кармашка комочек моха — сорвала на горе Фаворе! — подсолнушки и ясную в них семитку и сует бабушке, когда мы слезаем у пещерок; губы у ней дрожат, и она говорит чуть слышно:

— Вот… смотрю — семитка от свечек замоталась…

Домна Панферовна — шлеп ее!

— Знаю, как замоталась!.. скажу вот батюшке, он те!..

И такой на нас страх напал!..

Монах водит нас по пещеркам, светит жгутом свечей. Ничего любопытного, сырые одни стены из кирпича, и не до этого мне, все думаю: душеньку мою чует, все-то грехи узнает! Потом мы служим молебен Черниговской в подземельной церкви, но я не могу молиться — все думаю, как я пойду к святому человеку. Выходим из-под земли, так и слепит от солнца.

У серого домика на дворе полным-то полно народу. Говорят — выходил батюшка Варнава, больше и не покажется, притомился. Показывают под дерево:

— Вон болящий, болезнь его положил батюшка в карман, через годок, сказал, здоровый будет!

А это наш паренек, расслабный, сидит на своей каталке и образок целует! Старуха нам говорит:

— Уж как же я вам, родимые мои, рада! Радость-то у нас какая, скажу-то вам… Ласковый какой, спросил — откулешные вы? Присел на возилочку к сыночку, по ножкам погладил, пожалел: «Земляки мы, сынок… ты, мол, орловский, а я, мол, туляк». Будто и земляки мы. Благословил Угодничком… «Я, — говорит, — сыночек, болесть-то твою в карман себе положу и унесу, а ты придешь через годок к нам на своих ноженьках!»

Истинный Бог… — «на своих, мол, ноженьках придешь», — сказал-то. Так обрадовал — осветил… как солнышко Господне.

Все говорят: «Так и будет, парень-то, гляди-ка, повеселел как!» А Миша образок целует и все говорит: «Приду на своих ногах!» Ему говорят:

— А вестимо, придешь, доброе-то слово лучше мягкого пирога!

Кругом разговор про батюшку Варнаву: сколько народу утешает, всякого-то в душу примет, обнадежит… хоть самый-то распропащий к нему приди.

— А вчера, — рассказывает нам баба, — молодку-то как обрадовал. Ребеночка заспала, первенького… и помутилось у ней, полоумная будто стала. Пала ему в ножки со старушкой, а он и не спросил ничего, все уж его душеньке известно. Стал утешать: «А, бойкоглазая какая, а плачешь! На, дочка, крестик, окрести его!» А они и понять не поймут, кого — его?! А он им опять то ж: «Окрести новенького-то, и приходите ко мне через годок, все вместе». Тут-то они и поняли… радостные пошли.

И мы рады: ведь это молодка с бусинками, Параша, земляничку ей Федя набирал!

А батюшка не выходит и не выходит. Ждали

мы, ждали — выходит монашек и говорит:

— Батюшка Варнава по делу отъезжает, монастырь далекий устрояет… нонче не выйдет больше, не трудитесь, не ждите уж.

Стали мы горевать. Горкин поахал-поахал…

— Что ж делать, — говорит, — не привел Господь благословиться тебе, косатик… — мне-то сказал.

И стало мне грустно-грустно. И радостно немножко — страшного-то не будет. Идем к воротам и слышим — зовет нас кто-то:

— Московские, постойте!

Горкин и говорит: «А ведь это батюшка нас кличет!» Бежим к нему, а он и говорит Горкину:

— А, голубь сизокрылый… благословляю вас, московские.

Ну прямо на наше слово: благословиться, мол, не привел Господь. Так мы все удивились! Ласковый такой, и совсем мне его не страшно. Горкин тянет меня за руку на ступеньку и говорит:

— Вот, батюшка родной, младенчик-то… привести-то его сказали.

Батюшка Варнава и говорит, ласково:

— Молитвы поешь… пой, пой.

И кажется мне, что из глаз его светит свет. Вижу его серенькую бородку, острую шапоч-

ку — скуфейку, светлое, доброе лицо, подрясник, закапанный густо воском. Мне хорошо от ласки, глаза мои наливаются слезами, и я, не помня себя, трогаю пальцем воск, царапаю ноготком подрясник. Он кладет мне на голову руку и говорит:

— А это… ишь любопытный какой… пчелки со мной молились, слезки их это светлые… — И показывает на восковники. — Звать-то тебя как, милый?

Я не могу сказать, все колупаю капельки. Горкин уж говорит, как звать. Батюшка крестит меня, голову мою, три раза и говорит звонким голосом:

— Во имя Отца… и Сына… и Святаго Духа!

Горкин шепчет мне на ухо:

— Ручку-то, ручку-то поцелуй у батюшки.

Я целую бледную батюшкину ручку, и слезы сжимают горло. Вижу — бледная рука шарит в кармане ряски, и слышу торопливый голос:

— А моему… — ласково называет мое имя, — крестик, крестик…

Смотрит и ласково, и как-то грустно в мое лицо и опять торопливо повторяет:

— А моему… крестик, крестик…

И дает мне маленький кипарисовый крестик — благословение. Сквозь невольные слезы — что

вызвало их? — вижу я светлое, ласковое лицо, целую крестик, который он прикладывает к моим губам, целую бледную руку, прижимаюсь губами к ней.

Горкин ведет меня, вытирает мне слезы пальцем и говорит радостно и тревожно будто:

— Да что ты, благословил тебя… да хорошо-то как, Господи… а ты плачешь, косатик! На батюшку-то погляди, порадуйся.

Я гляжу через наплывающие слезы, сквозь стеклянные струйки в воздухе, которые растекаются на пленки, лопаются, сквозят, сверкают. Там, где крылечко, ярко сияет солнце, и в нем, как в слепящем свете, — благословляет батюшка Варнава. Я вижу Федю. Батюшка тихо-тихо отстраняет его ладошкой, отмахивается от него как будто, а Федя не уходит, мнется. Слышится звонкий голос:

— И помни, помни! Ишь ты какой… а кто ж, сынок, баранками-то кормить нас будет?..

Федя кланяется и что-то шепчет, только не слышно нам.

— Бог простит, Бог благословит… и Господь с тобой, в миру хорошие-то нужней!..

И кончилось.

Мы собираемся уходить. Домна Панферовна скучная: ничего не сказал ей батюшка, Анюту

только погладил по головке. А Антипушке сказал только:

— А, простачок… порадоваться пришел!

Антипушка рад и тоже, как и я, плачет. И все мы рады. И Горкин — опять его батюшка назвал: «Голубь мой сизокрылый». А Домну Панферовну не назвал никак, только благословил.

Собираемся уходить — и слышим:

— А, соловьи-певуны, гостинчика принесли!

И видим поодаль — наших, от Казанской, певчих, васильевских: толстого Ломшакова, Батырина-октаву и Костикова-тенора. Горкин им говорит:

— Что же вы, вас это батюшка, вы у нас певуны-то-соловьи!

А батюшка их манит. Они жмутся, потрогивают себя у горла, по привычке, и не подходят. А он и говорит им:

— Угостили вчера меня гостинчиком… вечерком-то! У пруда-то, из скиту я шел?.. Господа благословляли-пели. А теперь и деток моих гостинчиком накормите… ишь их у меня сколько!

И рукой на народ так, на крылечке даже повернулся, — полон-то двор народу. Тут Ломшаков и говорит, рычит словно:

— Го…споди!.. Не знали, батюшка… пели мы

вчера у пруда… так это вы шли по бережку и приостановились под березкой!..

А батюшка и говорит, ласково так — с улыбкой:

— Хорошо славили. Прославьте и деткам моим на радость.

И вот они подходят, робко, прокашливаются, крестятся на небо и начинают. Так они никогда не пели — Горкин потом рассказывал: «Ангели так поют на небеси!»

Они поют молитву-благословение, хорошо мне зна-комую молитву, которая зачинает всенощную:

Благослови, душе моя, Господа,

Господи Боже мой, возвеличился еси зело,

Вся премудростию сотворил еси…

Подходят благословиться. Батюшка благословляет их, каждого. Они отходят и утираются красными платками. Батюшка благословляет с крылечка всех широким благословением и уходит в домик. Ломшаков сидит на траве, обмахивается платком и говорит-хрипит:

— Недостоин я, пьяница я… и такая радость!..

Мне его почему-то жалко. И Горкин его жа-

леет:

— Не расстраивайся, косатик… одному Господу известно, кто достоин. Ах, Сеня, Сеня… да как же вы пели, братики!..

Ломшаков дышит тяжело, со свистом, все потирает трудь. Говорит, будто его кто душит:

— Отпе-то… больше так не споем.

Лицо у него желтое, запухшее. Говорят, долго ему не протянуть.

Сегодня последний день, после обеда тронемся.

Ранним утром идем прикладываться к мощам — прощаться. Свежо по заре, солнце только что подымается, хрипло кричат грачи. От невидного еще солнца Лавра весело золотится и нежно розовеет, кажется новенькой, в новеньких золотых крестах. Розовато блестят на ней мокрые от росы кровли. В Святых Воротах совсем еще пустынно, гулко; гремя ключами, румяный монах отпирает святую лавочку. От росистого цветника тянет душистой свежестью — петуньями, резедой, землей. Небо над Лаврой — святое, голубое. Носятся в нем стрижи, взвизгивают от радости. И нам всем радостно, денек-то послал Господь! Только немного скучно: сегодня домой идти.

После ранней обедни прикладываемся к мощам, просим благословения Преподобного,

ставим свечу дорожную. Пригробный иеромонах все так же стоит у возглавия, словно и никогда не сходит. Идет и идет народ, поют непрестанные молебны, теплятся негасимые лампады. Грустно выходим из собора, слышим в последний раз:

Преподобный отче Се-ргие,

Моли Бога о на-ас!..

А теперь с Саней проститься надо, к отцу-квасснику зайти. Саня сливает квас, носит ушатами куда-то. Ему грустно, что мы уходим, смотрит на нас так жалобно, говорит:

— Ка-ка…ка-васку-то, на до-дорожку!..

И мы смеемся, и Саня улыбается: как ни увидит нас — все кваском хочет угостить. Горкин и говорит:

— Ах ты, косатик ласковый… все кваском угощаешь, совсем заквасились мы.

— Да не-нечем бо-больше… у-у-у-у…го-го-стить-то… — отвечает смиренно Саня.

Федя нам шепчет, что Саня такой обет положил: на одном хлебце да на кваску живет, и весь Петров пост так будет. Горкин говорит — надо уж сделать уважение, попить кваску на дорожку. Мы садимся на лавку в квасной палате. Пахнет прохладно мяткой и молодым, сладковатым квасом.

Выпиваем по ковшичку натощак. Отец-квасник говорит, что это для здоровья пользительно — молодой квасок натощак — и спрашивает нас, благословились ли хлебцем на дорожку. Мы ему говорим, что как раз сейчас и пойдем благословиться хлебцем.

— Вот и хорошо, — говорит квасник, — благословитесь хлебцем, для здоровья, так всегда полагается.

Сане с нами нельзя: квас сливать, четыре огромных кади. Он нас провожает до порожка, показывает на хлебную. Мы уже дорогу знаем, да можно найти по духу, и всегда там народ толпится — благословиться хлебцем.

Отец-хлебник, уже знакомый нам, проводит нас в низкую длинную палату. От хлебного духа будто кружится голова, и хочется тепленького хлебца. По стенам, на полках, тянутся бурые ковриги — не сосчитать. В двери видно еще палату, с великими квашнями-кадями, с вздувшейся доверху опарой. На длинном выскобленном столе лежат рядами горячие ковриги-плашки с темною сверху коркой — простывают. Воздух густой, тягучий, хлебно-квасной и теплый. Горкин потягивает носом и говорит:

— Господи, хлебушко-то святой-насучный…

с духу одного сыт будешь!

И мне так кажется: дух-то какой-то… сытный. Отец-хлебник, высокий старик, весь в белом, с вымазанными в муке руками, ласково говорит:

— Как же, как же… благословитесь хлебцем. Преподобный всех провождает хлебцем, отказа никому нет.

Здоровые молодцы-послушники режут ковригу за ковригой, отхватывают ломтями, ровно. Горкин радуется работке:

— Отхватывают-то как чисто, один в один!

Ломти укладывают в корзину, уносят к двери и раздают чинно богомольцам. И здесь я вижу знакомую картинку: Преподобный Сергий подает толстому медведю хлебец. Отец хлебник починает для нас ковригу и говорит:

— Примите благословение обители Преподобного на дорожку, для укрепления.

И раздает по ломтю. Мы кланяемся низко — Горкин велит мне кланяться пониже — и принимаем, сложив ладошки. Домна Панферовна просит еще добавить. Отец-хлебник глядит на нее и говорит шутливо:

— Правда, матушка… кому так, а тебе и два пая мало.

И еще добавил. Вышли мы, Горкин ей попенял:

нехорошо, не для жадности, а для благословения положено, нельзя нахрапом. Ну, она оправдалась: не для себя просила, а знакомые наказали, освятиться. Так мы монаху и сказали. Горкин потом вернулся и доложил. Доволен монах остался.

Выходим из палаты — богомольцы и богомольцы, чинно идут за дружкой, принимают «благословение хлебное». И все говорят:

— И про всех хватает, и Господь подает!..

Даже смотреть приятно: идут и идут все с хлебцем; одни обертывают ломти в чистую холстинку, другие тут же, на камушках, вкушают Мы складываем благословение в особую корзинку с крышечкой, Горкин купил нарочно: в пути будем вкушать кусочками, а половинку домой снесем — гостинчик от Преподобного добрым людям. Опускаем посильную лепту в кружку, на которой написано по-церковному: «На пропитание странным» И другие за нами опускали — бедные и прокормятся. Вкусили по кусочку, и стало весело — будто Преподобный нас угостил гостинчиком. И, веселые, мы пошли.

Из Лавры идем к маленькому Аксенову, к сундучнику, у овражка.

Он нам ужасно рад, не знает, куда нас и посадить, расспрашивает о Трифоныче, угощает

чайком и пышками. Показывает потом все обзаведение — мастерскую, где всякие сундучки — и большие, и маленькие. Сундучки — со всякими звонками: запрешь, отопрешь — дринь-дрон! Обиты блестящей жестью, и золотой, и серебряной, с морозцем, с отделкой в луженую полоску, оклеены изнутри розовой бумагой — под Троицу — и называются — троицкими. Таких будто больше нигде не делают. Аксенов всем нам дарит по сундучку, мне — особенный, золотой, с морозцем. Мы стесняемся принимать такие богатые подарки, говорим — чем же мы отдарим, помилуйте… А он руками на нас:

— Да уж вы меня отдарили лаской, в гости ко мне зашли!

Правду Трифоныч говорил: нарадоваться на него не могли, какой он ласковый оказался, родней родного.

Расспрашивает про Трифоныча и про Федосью Федоровну, супругу Трифоныча, — здоровы ли и хорошо ли идет торговля. Говорим, что здоровы и торговля ничего идет, хорошо, да вот дело какое вышло. Поставила намедни Федосья Федоровна самовар в сенях, и зашумел самовар, Федосья Федоровна слышала… пошла самовар-то взять, а его жулики унесли, с огнем! Она и затосковала:

не к добру это, помереть кому-то из семейства, — такое бывало, примечали. К Успеньеву дню к Троице собираются. Аксенов говорит, что все от Бога… бывает, что и знак посылается, на случай смерти.

— Ну, у них хороший молитвенник есть, Саня… — говорит, — им беспокоиться нечего, и хорошие они люди, на редкость правильные.

Узнает, почему не у него остановились, Горкин просит его не обижаться.

— Помилуйте, какая же обида… — говорит Аксенов, — сам Преподобный к Никодиму-то вас привел! И достославный он человек, не мне чета.

Просит снести поклончик Трифонычу и зовет в другой раз к себе:

— Теперь уж найдете сразу маленького Аксенова.

Потом ходим в игрушечном ряду, у стен, под Лаврой глаза разбегаются — смотреть.

Игрушечное самое гнездо у Троицы, от Преподобного повелось: и тогда с ребятенками стекались. Большим — от святого радость, а несмысленным — игрушечка: каждому своя радость.

Всякое тут деревянное точенье: коровки и овеч-

ки, вырезные лесочки и избушки, и кующие кузнецы, и кубарики, и медведь с мужиком, и точеные яйца, дюжина в одном: все разноцветные, вложенные друг в дружку, с красной горошинкой в последней — не больше кедрового орешка. И крылатые мельнички-вертушки, и волчки-пузанки из дерева, на высокой ножке; и волчки заводные, на пружинке, с головкой-винтиком, раскрашенные под радугу, поющие; и свистульки, и оловянные петушки, и дудочки жестяные, розанами расписанные, царапающие закраинками губы; и барабанчики в золоченой жести, радостно пахнущие клеем и крепкой краской, и всякие лошадки, и тележки, и куколки, и саночки лубяные, и… И сама Лавра-Троица, высокая розовая колокольня, со всеми церквами, стенами, башнями, — разборная И вырезные закуски на тарелках; кукольные, с пятак, сочно блестят, пахнут чудесной краской: и спелая клубника, и пупырчатая малинка, совсем живая; и красная, в зелени, морковка, и зеленые огурцы; и раки, и икорка зернистая, и семужий хвост, и румяный калач, и арбуз алый-сахарный, с черными зернышками на взрезе, и кулебяка, и блины стопочкой, в сметане. Тут и точеные шкатулки, с прокладкой из уголков и крестиков, с подпала-

ми и со слезой морскою, называемой — перламут; и корзиночки, и корзины — на всякую потребу. И веселые палатки с сундучками, блистающие, как ризы в церкви. И образа, образа, образа — такое небесное сиянье! — на всякого Святого. И все, что ни вижу я, кажется мне святым.

— А как же, — говорит Горкин, — просвящённо все тут, благословлено. То стояли боры-дрема, а теперь-то, гляди, — блистанье! И радуется народ, и кормится. Все Господь.

Покупаем самые пустяки: оловянного петушка-свистульку, свистульку-кнутик, губную гармошку и звонницу с монашком, на полный звон, — от Горкина мне на память; да Анюте куколку без головки, тулово набито сенной трухой, чтобы ей шить учиться, — головка в Москве имеется. А мне потому мало покупают, что сказала сегодня барышня Манюша, чтобы не покупать: дедушка целый короб игрушек даст, приказал молодцам набрать.

Встречаем и наших певчих, игрушки детишкам покупают. У Ломшакова — пушка, стрелять горохом, а у Батырина-октавы — зайчик из бумазеи, в травке. Костиков пустой только, у него ребятишек нет, не обзавелся, все думает. Ломшаков жалуется на грудь: душит и душит вот,

после вчерашнего спать не мог. Поедут отсюда по машине — к Боголюбской в Москву спешат: петь надо, подрядились.

Сходим по лесенке в овражек, заходим в «блинные» Смотрим по всем палаткам: везде-то едят-едят, чад облаками ходит. Стряпухи зазывают:

— Блинков-то, милые!.. Троицкие-заварные, на постном маслице!..

— Щец не покушаете ли с головизной, с сомовинкой?..

— Снеточков жареных, господа хорошие, с лучком пожарю… за три копейки сковородка! Пирожков с кашей, с грибками прикажите!..

— А карасиков-то не покушаете? Соляночка грибная, и с севрюжкой, и с белужкой… белужины с хренком, горячей?.. И сидеть мягко, понежьтесь после трудов-то, поманежьтесь, милые… и квасок самый монастырский!.

Едим блинки со снеточками, и с лучком, и кашнички заварные, совсем сквозные, видно, как каша пузырится. Пробуем и карасиков, и грибки, и — Антипушка упросил уважить — редечку с конопляным маслом, на заедку. Домна Панферовна целую сковородку лисичек съела, а мы другую. И еще бы чего поели, да Аксенов обидится, обед на отход готовит. Анюта большую рыбину там

видала, и из соленого судака ботвинья будет — Савка нам говорил, — и картофельные котлеты со гладким соусом, с черносливом и шепталой, и пирог с изюмом, на горчичном масле, и кисель клюквенный, и что-то еще… — загодя наедаться неуважительно.

Во всех палатках и под навесами плещут на сковородки душистую блинную опару — шипит-скворчит! — подмазывают «кошачьей лапкой», — Домна Панферовна смеется. А кто говорит — что заячьей. А нам перышками подмазывали, Горкин доглядывал, а то заячьей лапкой — грех. И блинные будто от Преподобного повелись: стечение большое, надо народ кормить-то. Глядим — и певчие наши тут: щи с головизной хвалят и пироги с солеными груздями. Завидели нас — и накрыли бумажкой что-то. Горкин тут и сказал:

— Эх, Ломшачок… не жалеешь ты себя, братец!

И Домна Панферовна повздыхала:

— И во что только наливаются… диви бы какое горе, а то кондрашке одному на радость.

Ну, пожалели-потужили, да тужилом-то не поможешь, только себя расстроишь.

Тележка наша готова, помахивает хвостом Кривая. Короб с игрушками весело стоит на сене,

корзина с просфорами увязана в чистую простыньку. Все провожают нас, желают нам доброго пути, Горкин подносит Аксенову большую просфору, за полтинник, и покорно благодарит за ласку и за хлеб-соль: «Оченно вами благодарны!» Аксенов тоже благодарит, что радость ему привезли такую: не ждал — не гадал.

— Ну, путь вам добрый, милые… — говорит он, оглядывая тележку, — приведет Бог, опять заезжайте, всегда вам рад. Василий на ярмарку поедет скоро, буду в Москве с ним, к Сергею Ивановичу побываю, так и скажите хозяину. Ну, вот и хорошо, надо принять во внимание… овсеца положили вам и сенца… отдохнула ваша лошадка.

И все любуется на тележку, поглаживает по грядке.

— Да, — говорит он задумчиво, — надо принять во внимание… да, тележка… таких уж не будет больше. Отворяй ворота! — кричит он дворнику, натягивает картуз и уходит в дом.

— Расстроился… — говорит нам Горкин шепотом, чтобы не слыхали. — Ну, Господи, благослови, пошли.

Мы крестимся. Все желают нам доброго пути. Из-за двора смотрит на нас розовая колокольня-Троица. Молча выходим за ворота.

— Крестись на Троицу, — говорит мне Горкин, — когда-то еще увидим!..

Видно всю Лавру-Троицу: светит на нас крестами. Мы крестимся на синие купола, на подымающийся из чаши крест:

Пресвятая Троица, помилуй нас!

Преподобный отче Сергие, моли Бога о нас!..

Вот и тихие улочки Посада, и колокольня смотрит из-за садов. Вот и ее не видно. Выезжаем на белую дорогу. Навстречу — богомольцы, идут на радость. А мы отрадовались — и скучно нам. Оглядываемся, не видно ли. Нет, не видно. А вот и перелески с лужайками, и тропки. Мягко потукивает тележка, попыливает за ней. А вот и место, откуда видно — между лесочками. Видно между лесочками, позади, в самом конце дороги: стоит колокольня-Троица, золотая верхушка только, будто в лесу игрушка. Прощай!..

— Вот мы и помолились, привел Господь… благодати сподобились… — говорит Горкин молитвенно. — Будто теперь и скушно, без Преподобного… а он, батюшка, незримый, с нами. Скушно и тебе, милый, а? Ну ничего, косатик, обойдется… А мы молитовкой подгоняться ста-

нем, батюшка-то сказал, Варнава… нам и не будет скушно. Зачни-ка тропарек, Федя: «Стопы моя направи», душе помягче.

Федя нетвердо зачинает, и все поем:

Стопы моя направи по словеси Твоему,

И да не облада-ет мно-о-ю-у…

Вся-ко-е… безза-ко-ни-и-е-э!..

Потукивает тележка. Мы тихо идем за ней.